

ISSN 0130-3600

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ 7

1981

10335 /
1981 / 2



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Издается с июня 1957 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

- ГИВИ ГЕГЕЧКОРИ. Стихи. Перевод Юнны Мориц 3
- КАМИЛЛА КОРИНТЭЛИ. Стихи 71

ПРОЗА

- ГУРАМ ДОЧАНАШВИЛИ. Большой аме-
тист. Роман. Перевод Элисо Джа-
лиашвили. Окончание. 13
- ТЕНГИЗ ГОГОЛАДЗЕ. Русские ребята. Рас-
сказ. Перевод Камиллы Коринтэли 78
- ФРАНСУАЗА САГАН. Смутная улыб-
ка. Повесть. Перевод с французского
Аллы Борисовой. Окончание. 87

ОЧЕРК

- ИЯ МЕСХИ. Наша маленькая необъятная
Грузия. Наброски к портрету 114

К 200-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЕВСКОГО ТРАКТАТА

- БОРИС АНДРОНИКАШВИЛИ. Памятни-
ки прошлого 130

7

1981



ПУБЛИЦИСТИКА

- МИХАИЛ БУЯНОВ. К истории двух путешествий 152

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ЗАЗА АБЗИАНИДЗЕ. После затишья... 164
 НИКО КЕЦХОВЕЛИ. Утро над горами 170
 ТЕДО БЕКИШВИЛИ. Слеза счастья 175

РЕЦЕНЗИИ

- ДМИТРИЙ ТУХАРЕЛИ. Книга, которую ждали 180
 ГЕОРГИЙ НАДАРЕИШВИЛИ, ОТАР КАЦИТАДЗЕ. Законы Вахтанга VI в новом переводе 182
 А. ГЕРШТЕНБЛИТ. «Дворец Посейдона» на польском языке 186

НАУКА

- ШОТА ДЗИДЗИГУРИ, ЮРИЙ ЗЫЦАРЬ. Бильбао — Тбилиси. Новый шаг в развитии баскско-грузинской дружбы 188
 ДАВИД ДЖАНЕЛИДЗЕ. Клод Савари о мамлюках грузинского происхождения 204

ИСКУССТВО

- МИХАИЛ БАРАНОВ. Художник и время 218
 ХРОНИКА 223

ГОРОДСКОЙ ВОРОБЕЙ

Из птиц никого не люблю я так нежно, до
 слез,
 как люблю воробья городского. Это — птица
 города
 моего и птичка, на душу мою похожая.

Не соловей. И не легкая ласточка, резвая
 ласточка,
 вешняя вестница. И не утренний жаворонок,
 поющий
 о рассвете над городом и над миром. Я
 воробей —
 городская птица.

И осенью я не смогу никуда улететь, и
 зимой
 не смогу никуда улететь, и тем более — я
 не смогу
 никуда улететь ни весной, ни летом. Я уже
 никогда
 не покину мой город,
 мой древний, склонивший лицо над Курой.

Я — не певчая, не беззаботная птица. Я —
 воробышек,
 птица лучистого города, мглистого города,
 дымного
 города и воробышком должен бродить по
 его мостовым
 и выискивать крошки нечаянной радости.

То съежившись грустно, то бодро чирикая,
 должен
 воробышком жить в этом городе, изредка в
 небо

120081

საქ. ბიბ. ე. ბაგდაშვილი
 ბაბ. ბაბ. გიგეჩკორი



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕДЕНЕЮЩИЙ

срываться воробышком,
пока мое сердце не разорвется и я,
не разобьюсь о мостовую родимого города,
падая с неба
на землю, воробышком — без единого крика.

НОВЕЛЛА

Ты погиб!
Они узнали, что ребенок
тайно в женщину влюблен...
Теперь в гостиную
Всех заставит хохотать остряк отменный,
над любовью пошутив твоей невинной.

Всем продаст,
и Ей продаст,
не пожалеет —
хоть валяйся перед ним, как перед богом,
Только, только бы —
не здесь, в разгар застолья,
он казнил тебя
жестоким, пошлым слогом!

Нет! Он выследит,
когда к тебе подсядет
эта женщина с гравюры...
Шелк прохладный,
вырез, плечи, ухо в прядке шоколадной.
И на блюде торт разрежут
шоколадный.

Эта женщина,
сошедшая с гравюры,
со старинной,
из твоей глубокой жизни!..

И супруг Ее
прокисшим анекдотом
разразится на твоей кошмарной
тризне.

С тихой грустью
и с предчувствием щемящим,
с тихим-тихим торжеством и тихой
болью

Ты, пропащий,
ты присядешь с нею рядом,
опьяненный Ее близостью с тобою.

И когда в кругу лучистом, в ореоле,
в нимбе, в свете, золотистом и зеленом,
Голова Ее склонится над ребенком,
над ребенком, в эту женщину
влюбленным,

И когда стакан воды
Она попросит,
И протянешь ей стакан,
туманный, зыбкий,
И Она за эту рыцарскую верность
наградит ребенка
Орденом Улыбки, —

Вот тогда
тупой, безжалостный предатель
Всем расскажет о любви твоей глубокой,
а мольбу твою, вопящую во взоре,
Он раздавит, о дитя, душой жестокой.

Рухнет мир,
и нежный мозг замрет от страха —
что сегодня, в это самое мгновенье
Неразлучные душа твоя и тело
разлучатся, как разорванные звенья.

И в костре неимоверном запылают
щеки, шея твоя, втянутая в плечи.
И любовь твоя,
убийственная тайна,
за которую ты умер в этот вечер,

Будет долго и залиvisto смеяться,
упоительно,
взахлеб,
неумолимо,

Обнимая и целуя твои слезы
и от смеха задыхаясь, как от дыма,



И от плача твоего
в твоей тарелке
набок свалится
несчастный ломтик торта,

И на стенах
красный смех Ее подхватит
зерна треснувших гранатов
с натюрморта...

УТРО

Ходит по комнате и говорит,
рука ее тянется к полному чайнику,
И наливает полную чашку,
и дрожит всю дорогу, пока на балкон
Чашку чая несет, я иду за спиной,
стул беру и к столу придвигаю, сажусь.
(«Хочешь ломтик лимона?»)

Бескровные губы лимонного цвета,
короткая стрижка
лицо ее сделала более жестким.

(«Что же все-таки, что же случилось,
почему же
Весь город читает
этот пошлый, дурацкий роман?..
Масло, видимо, там, в холодильнике...»)

Я встаю.
Стул ужасно скрипит.

Стулья старятся раньше всего.
На меня эта женщина смотрит с улыбкой.
Так сквозь трещину — солнечный луч.

(«Ты же занят,
и в кино я хожу совершенно одна...»)

И она занавеску одернула в спальне.
(«Кто сейчас еще носит такое пальто,
Как на мне?!»)

Я глоток отпиваю из чашки.
(«Может, взял бы сегодня билеты на вечер...
Ставят Брехта...»)

Она приближается, смотрит:

(«Кто такой он и что он собой представляет,
Что едва здороваётся?..»)

Стоит надо мной.

Чайной ложкой опять я мешаю рассеянно
чай без сахара,

в чашку гляжу я рассеянно.

И на чашку и мимо гляжу я рассеянно.

Дождь.

На улице пасмурно.

Мебель тоскует.

(«Человеку величие всегда придает простота...

Простота — это признак особой

культуры...»)

Я встаю.

(«Не забудь свою шапку...»)

И тепло выношу я из грустного дома
на мокрую улицу.

И под носом у мокрых машин, словно
мальчик-шалун,

скачет дождь и дурачится, перебегая
дорогу...

ЭЛЕГИЯ

Как заговорщики, молчащие о многом,
в автомобиле оба ехали так тихо,
подкрадываясь к городу морскому.

Лежали крыши на домах, как будто книги —
раскрытые как раз посередине и
брошенные навзничь.

Помнишь?.. — почту, и двор, и тело пальмы
волосатой
у окон комнаты, которую вы сняли

в конце концов!

Изменчивую, помнишь, мозаику, рассыпанную
солнцем
на потолке и на полу дощатом?

И помнишь, как взглянул он на тебя
в гудящей духоте приморской почты,

Когда, по-детски высунув язык,
ты облизнула уголок конверта?



В то лето люди в темном кинозале
ворчали, помогая вам пробраться.
Собор Сан-Пьетро колокольным звоном
будил в то лето Рим (в кинотеатре),
И королева крошечной державы в то лето
(Одри Хэпберн)
целовала какого-то красавца репортера
(Грегори Пек).

И помнишь, как потом
кричал тоскливо в парке пеликан,
Как чудно прыгал по зеленому столу
и цокал мячик целлулоидный,
А после — тебя из парка на руках
он нес домой?
Как дочь индейца, ты сняла с себя ракушки,
надетые на шею рано утром.
И помнишь, как был в августе горяч
тюфяк овечий?
Как при лунном свете поблескивал
Брокгауз и Ефрон,
И ты увидела сухую ветку вербы
в стакане...

Рядом паровоз кричал.
И ваши головы лежали — как на рельсах,
и поезда по ним катились друг за другом.
И бились друг о друга в темноте
ночные бархатные бабочки...

Так сильно в тебя вонзила когти эта память,
что сердце разрывается на части.

А во дворе играют дети.
Выйди спокойно на балкон, в глазах —
туман,
И собери просохшее белье,
так собери, чтоб маечка одна
упала вниз.

И кто-нибудь подхватит ее
и вверх по лестнице взлетит,
И встретить на лестнице, и заведи беседу,

И может быть, спокойствие вернется
хотя бы ненадолго,
если глянут две вишни на тебя
из-под ресниц...



СЕЛЬСКИЙ АВТОБУС

Из мрака мы вышли ночного,
Наш сельский автобус светился —
Как если бы свет золотился
Из крепости мрака ночного.

Мы носом клевали в дороге,
Но стоп! — и развеяна дрема,
И землю почуяли ноги,
И брезжило у окоема.

Автобус ушел, оставляя
Нас в поле, где словно впервые —
Трава, и цветы полевые,
И птичка поет полевая.

А это ведь не было утро
Ни первой любви, ни последней,
Ни заново начатой жизни...
Всего лишь на пахоте летней —

Короткая нам передышка,
А завтра мы будем далече...
И мы расстелились на травах,
Пьянящих нутро человечье.

Давай поддадимся соблазну —
По свежим лугам разбредемся,
Как дети детей — расшалимся,
Расплачемся и рассмеемся!

Ведь скоро автобус прикатит,
И нас позовет из кабины
Водитель, в окошко машины
Проснувшись до половины.

И снова средь мрака ночного
Автобус наш будет светиться,
Мерцать и в пути золотиться
Из крепости мрака ночного.



Короткая нам передышка:
Из тьмы — на рассветное поле.
Как жадно чернеет дорога!
И нас поглотит она вскоре.

Мерцать во вселенском просторе,
Светиться — иначе нам крышка!
Из тьмы на рассветное поле —
Короткая нам передышка.

ПОЙТИ В КИНО

Дитя уговорит, и в день воскресный
ведешь его по улице воскресной
за ручку в интересное кино.
А во дворе висит его рубашка,
пришпиленная рожками к веревке,
как белый козлик, скачущий смешно.

Пока дойдешь ты с ним до перекрестка,
пока вольетесь капельками воска
в людской поток, в плывущую толпу,
он вырвет руку, он помчится серной,
сто раз ногой по банке даст консервной,
чтоб раззвенеть пустую скорлупу.

Такой прозрачный и такой он нежный,
как мальва... И пока билет желанный
ты покупаешь, двигаясь вперед,
он вертится и вьется где-то рядом,
он в воздухе, где пахнет виноградом,
он под ногами, он звенит, поет!

Вот кинозал открылся, как духовка,
и ты его протискаиваешь ловко,
снимаешь куртку, расстегнув крючок, —

и он из куртки лезет на свободу,
как лезет колбаса из бутерброда,
высовывая красный язычок.



И гаснет свет... И вот гусенок Дональд
на скрипке уморительно долдонит
и «дарлинг!» уморительно вопит.
Потом вбегает человечек с тростью —
и наша радость вместе с нашей грустью
зывается Чарли, обретая вид.

Потом кино кончается. И хохот
и слезы прекращаются под грохот
складных скамеек и нескладных ног.
А на дворе вовсю шуршат дождевики,
и ты, склонясь, на маленьком ботинке
завязываешь мальчику шнурок...

Два зуба, чуть раздвинутые косо,
и две коленки (тощих два вопроса)
мерцают в полумгле перед тобой,
когда он что-то говорит, смущенный,
ребенок твой, с таким трудом
взращенный!..

И вы идете из кино домой.

О, сколько неотвязных опасений,
угроз разнообразных, потрясений
рассеять предстоит — им нет числа!

И тень твоя ложится под машины.
И с краю тротуара — тень мужчины,
чтоб тень ребенка посередке шла.

Словарь дождя шуршит во мгле вечерней
все достоверней, все невероятней...

Такси не остановится — не жди!
Ох, наконец!.. Шофер отхлопнул дверку,
и мальчик, словно чертик — в табакерку,
вскочил и счастлив ехать впереди.

Он едет, он смеется, он утешен,
в живом глазу живой вопрос подвешен,
живое любопытство, интерес.

Да, истина играет с нами в прятки
и ставит интересные загадки,
проглядывая из-за всех завес!



А он так смел — одно очарованье,
и хорошо ведет себя на людях!
И не похож пока его ответ
на лязг дверей купейного вагона...
Он судит обо всем одушевленно —
и тем на вещи проливает свет.

Его душа твоей защите рада,
пока не встала на ноги как надо,
и не нашли пока ее впотьмах,
и к ней пока вишневыми ветвями
не протянулись, не окрепнув сами,
запястья хрупкие в туманных кружевах...

И он пока не знает, как суровы,
как тяжелы железные засовы,
как ржавы... Он сидит с тобой, с царем,
и для него дождливый шум осенний
пока далек от грустных песнопений,
не выразимых нашим словарем.

Потом, потом — снежинкой голубою,
глубоким старцем с белой головою,
он спросит сам себя, как тишина:
действительно ли жил с тобою рядом
или тебя однажды в детстве раннем
увидел из вагонного окна?

Перевод Юнны МОРИЦ

БОЛЬШОЙ АМЕТИСТ


Роман

ЗИМНИЕ УВЕСЕЛЕНИЯ

Из закрытых окон часто доносился смех краса-горожан, но в этот вечер с набрякшим тучами небом все были почему-то подавлены, сидели по своим домам, никто ни к кому не пошел в гости. Ужинали нехотя, раздраженные, не находили себе места... Раздражал даже тусклый свет фонарей, и спать легли рано, но не скоро уснули, крутясь и ворочаясь в постели, а если б потом, когда все утихло, заглянул кто-нибудь в умолкшие дома краса-горожан, был бы поражен — все спали лицом вниз.

А страж ночи Леопольдино шел по первому снегу. Повалил, наконец, уже за полночь, настоящий, прибывая тепло мостовой, и в лучах фонаря переливался неуловимо. Чистый здоровый воздух вдыхал ночной страж, съезженный, сгорбленный. Падал снег — у ног его явный, белизну излучающий, синий во мраке, сине-лиловый, а вдали — темнотой приглушенный, и все-таки белый и чистый был снегопад. Снегопад был в Краса-городе, о, как снежило, невесомо ложился на крыши, падал снег тут и там, высветляя деревья, спали люди, прижимаясь щекою к ладони, и только страж ночи Леопольдино брел по извилистым улицам, и воздух таким был прозрачным, вольным и чистым — нет, не мог он воскликнуть привычно: «Два часа ночи и...» Беззвучен был даже дом человека с затаенной улыбкой, не звучал инструмент — в этот снег, снегопад, притаились, попрятались пти-

Окончание. Начало см. в №№ 4, 5 и 6.



цы — снежило, снег падал обильно, весома и так невесома. Все было безмолвно, объято безмолвием первого снега, и лишь шелестели, казалось, снежинки, засветлев и разросшись в скупом лившемся свете из какого-то дома, — снежило. Падал снег, молча шел ночи страж. Настоящее было вокруг, трепетала непривычная правда, белая правда первого снега, и Леопольдино, ночной обманщик, хотя и вовремя глянул на часы, не проронил ни звука. Эх, чудесен был снег, но и в нем была своя грусть, свитая хлопьями, белая, невыразимая... В нарядном городе один был Леопольдино и опустил фонарь, всмотрелся в свой след, крепко вдавленный в пепельно-белый пушистый снег, а когда распрявился, расправил и плечи; один бродил он среди красоты, и исполнился гордости. Откинул голову, на лицо опускались снежинки. Вольно, смело ходил до рассвета, выбелилось, высветилось все вокруг, и, словно желая разметать дробившийся сумрак, отбросил фонарь, полной грудью втянул вольный воздух и, зажмурясь, неожиданно крикнул: «Рассвело-о уже... выпал снег!»

Непривычную отраду ощущали вырвавшиеся из белых оков краса-горожане; открыв глаза, сразу тянулись взглядом к окнам — странным светом полны были комнаты. Босые, сонные кидались к окошкам — снег выпал, снег! Разом просыпались, и снег тысячекратно вспыхивал белыми искрами в изумленных глазах краса-горожан, а матери даже младенцев, потеплее укутав, подносили к окнам, и они глазели на незнакомую белизну. Спешили на улицу, кто наспех поев, кто забыв про еду... В ясном свете дня весело кружились легкие ажурные хлопья, и полетели снежинки: весело, озорно кидали, не разбирая в кого, никого не жалея...

Потом все отправились к горкам, на высоких соснах пышно лежал снег, и стар и мал съезжали на санках, и так радостно, так залиvisto смеялись угондившие в сугроб с перевернутых санок. Встряхивали невысокие деревца, осыпая снегом друг друга, по макушку счастливые этим белым счастьем, и только Уго, выведенный на прогулку юный безумец, смотрел на всех ненавистно, бормоча: «Красная кровь... красная, на снегу». Но его и не слышали в шуме веселья...

Завидев Доменико, Уго стусевался, торопливо скрылся из глаз, а Доменико, запахнув синий плащ, высокий и тонкий шел, упоенный чистым воздухом, совсем таким, как в деревне, шел по первому снегу, по городу чуждому. «Полюбуйтесь, полюбуйтесь, как очаровательно нисходят снежинки! — воскликнул Дуилио. — Поистине достойно сожаления, что они не экспонируются в музее красоты! — и добавил: — Не уносите стакан с родника!» «У-ух, не может не испортить все!» — помрачнел Александро, а юный краснощекий Джанджакомо, еще более подрумяненный морозом, возбужденно смотрел куда-то, и туда же нацелен был взгляд Цилио — алчный, жадный. По склону поднималась Тереза.

Она поднималась уверенно, смело, явно затаив на уме озорство, — лукаво искрились ее зеленые глаза. Шла по оснеженной горке, чуть подавшись вперед, в бок оперевшись рукой и мерно раскачивая другую — в лад шагам. И хотя была в длинной шубе и отцовских сапогах — взбиралась по склону легко, без усилий, грациозно. Теплый платок тугим узлом завязан на шее, сжатые губы едва сдерживали улыбку, упрямо западала ямочка на розовой от мороза щеке и, казалось, трепетали тонкие ноздри.

Поднималась по склону Тереза, женщина с головы до пят — своевольная и излучавшая женственность. По снежному склону, сквозь снег шла Тереза, ни о чем не печалась, молодая вдова, счастливая. Добравшись до верха, остановилась, и ее обступили, окружили. А она развязала платок, распахнула шубу, с силой топнула сапогом и вскинула руку. Все смотрели на нее удивленно, а она перебрала по снегу ногами и замерла... А потом вдруг, ударив себя по бедру, подтянула плечо до щеки и раскинула руки, поднялась на носки, завертелась и так же внезапно застыла, прижимая руки к груди. И не успели красавцы ошалело захлопать глазами, как Тереза легонько подпрыгнула, и тут догадались — плясала женщина. Плясала на первом снегу, счастливая одной ей ведомым счастьем, исполняла на ходу придуманный танец, и развевались длинные волосы, сотрясались плечи, и вся она трепетала в вихре движений и улыбалась, закрытоглазая, горькой улыбкой, и кру-

жились, летели снежные хлопья. Приминала и топтала снег женщина в пляске, и странные взмахи руками, для другой бы нелепые, украшали ее, придавали особую строгость — необоримую, среди круга плясала Тереза, возбуждая и восхищая, и возмущая безмерно — да кто б ее тронул хоть пальцем — любима была и притом ненавистна, ставшая в пляске недоступно возвышенной, а она остановилась, откинулась чуть и, словно с усилием подняв руку, устремила к Доменико гибкие тонкие пальцы, но даже не взглянув, так промолвила в тишине своим красивым, низким голосом:

— Нравится он мне, этот юноша...

А позже, днем, за городом состязались в беге, перетягивании каната и других шумных веселых играх.

Тереза... Тереза. Доменико лежал на кровати, уткнувшись лицом в подушку, вцепившись руками в одеяло. Женщина... Тереза — как покачивалась при ходьбе, как ступала, казалось, несла высокую грудь... Чуть склоненная вбок голова и текучие, сухо-сыпучие волосы, как развевались они на ветру... Шея, высокая белая шея, и точеные скулы, выпукло резкие и все-таки нежные... И ямочка, на одной только щечке, когда, подбоченясь, улыбнется лукаво. Полные, пухлые губы ее, налитые, грозящие лопнуть, губы ее — коварно манящие, ждущие, а нижняя, словно набухшая, вызывающе, дерзко влекущая... И хрупкие нежные кости — ключицы, почти неприметные, а выше над ними мягкая впадинка — утоленья источник, Тереза, женщина. И рука, рука ее гибкая, гибко-змеистая, узкие длинные пальцы, опасность и нежность таящие, пять прекрасных душителей, голодных, по-разному алчных, и грудь, тонкой женщины груди, налитые угрозой, с недоверием в него нацеленные. Голос женщины — низкий, вкрадчивый, нежный голос Терезы — вкуса черешни и духа медвяного... Эх, соты, соты медовые... И глаза ее, взгляд ее ласковый, отраду дарящий, высекающий искры сомнения. Тереза, женщина...

К дому Терезы шел Доменико.

— Истину всегда можно четко определить, истина — подобна границе, — говорил Дуилио.
— Всегда, в любом случае?
— Безусловно.
— Задам вам один вопрос — не отступите от своих слов?

— Ни в коем случае. Нет.

— Прекрасно. Скажем... поссорились двое — блондин и брюнет, который из них виноват? — спросил Александро и неожиданно гаркнул: «Гоп!», отчего Дуилио вздрогнул и выронил бокал, а в клетке встrepенулись все пять попугаев тетушки Ариадны, Александро же вежливо пояснил: — Извините, но дешевый эффект — залог внимания. Так кто из споривших виноват?

— Брюнет — очень темный?

— Темнее темного.

— Следовательно — брюнет. Само собой ясно.

— Почему?

У дома Терезы было безлюдно. На высокую веранду, на закрытые окна и зеленую штору устремлен был взор Доменико. Украдкой обошел дом — простодушный, наивный грабитель...

— Потому.

— Почему — потому? Почему?

— Потому что брюнет — темный, а блондин — светлый.

— А что, блондин обязательно бывает хорошим? — удивился Александро.

— В сравнении с брюнетом, разумеется... Кроме того, у всего и во всем имеется нечто хорошее, лишь бы внимание было настороже, а мои ясные слова делают сложную психологическую историю еще более выразительно впечатляющей, легко постижимой.

— Ах, какая ясность речи, какая простота! — покачал головой Александро. — А вообще, к твоему сведению, оба виноваты, мой лопухий пострел...

Терезы не было, не видно было женщины, истинной женщины. На высокое узкое окно неотрывно смотрел Доменико и упорно, упрямо молил: «Ну открой же, открой...» Временами, казалось, раздвигалась тяжелая штора, но нет, нет, просто мерещилось...

ბაქ. ბსბ. ო. შიხიანი
ბაქ. ბსბ. გვამბაძე

И он снова шептал: «Открой же, впусти...» В отчаянии уронил голову, опустил глаза — на земле, под ногами, белел первый снег... На первом снегу Доменико, и склонился, коснулся вспотевшими пальцами, снег приятно студил, приложил горсть ко лбу... Набрал еще горсть, сбил в комок... Оглядел, попробовал вытянуть — распался комок, рассыпался снегом в ладони. Вновь слепил, сдвинул с двух сторон, провел вдоль фигурки большим пальцем, приминая, поправил и расправил ладонь — нет, никуда не годилась эта снежная кривая, нескладная женщина... Холодная, тоскливо-белая, ни цвета, ни света, ни тепла... Что-то вспомнилось, снова нагнулся...

— Я не пострел и не лопухий, позвольте вам заметить! — занегодовал Дуилио. — Не только поступки, и слова надо выбирать!

— Хорошо, Дуилио, хорошо, я же ласково сказал, мой сладкий, любезный, любимый, родной, благородный, дрянной, разумный, любящий, положительный...

— Кто это дрянной! Посмотрите-ка на него! — Дуилио вскочил. — Я! Я!.. Не уносите стакан с ронника!.. Где мой плащ!

— Ладно, Дуилио, не кипятись — восемь слов из девяти были приятными, одно примешалось обидное — дрянной, ну ошибся, что за беда.

— Он ошибся, сеньор Дуилио, ошибся, что особенно, извините его, простите великодушно, он мне такой чудесный подарок преподнес, — умиротворяюще вмешалась тетушка Ариадна и добавила, думая о своем: — Эх, не то что он, случалось, и Васко ошибался... по вечерам.

— А предмет моей мечты никогда не ошибается, — шепнула Кончетина Сильвии, своей подружке, — потому что он — естественный, непосредственный.

Доменико раскопал снег, опустившись на корточки, что-то искал замерзшими пальцами... Всю кисть запустил в снег, но желаемого не достиг, засучил рукав и добрался наконец, нащупал под снегом твердое, мерзлое... Поскреб пальцами, ссадил их. Снял с себя пояс и большой серебряной пряжкой ковырнул землю, еще и еще... Медленно встал, выпрямился с землею в руке. Но твердой была земля, и он

зажал с ней в ладонях и крохотную снежную женщину, кривую, нескладную. На снег закапали серые капли, а земля размокла, размякла и замкнутая в ладонях как будто даже потеплела...

— Извините, сеньор Дуилио, но я хотел бы заметить... Вы всегда говорите о том, каким должен быть хороший мужчина, что же касается хорошей женщины, вы никогда не говорили, какова настоящая, истинная женщина.

— Вы слышали?! Вы слышали, что он сказал? — Дуилио негодующе огляделся. — Вы только подумайте! Разве не я рассказал вам скорбную историю о бесподобной, безупречной женщине, которая великодушно оставила мужа в целях благополучия этого же мужа?..

— В ее истории нет правды, это ложь, сеньор Дуилио, не обижайтесь, но...

— Как так ложь! — взорвался Дуилио. — Выходит, лжец я! Где мои...

— Ладно, успокойся, — примирительно сказал Александро. — Успокойся и скажи, просвети, что должно быть прекрасным у женщины.

— У женщины? — Дуилио призадумался на миг и изрек: — У женщины три вещи должны быть прекрасными: характер, лицо и руконогое тулово.

— Что ты именно теперь решил быть кратким, поскупился на слова! — огорчился Александро. — Хотя и верно все, конечно...

Горсть влажной земли держал Доменико, пропитанную снегом, промокшую, теплую... Размял, раскатал, заляпанными грязью пальцами сначала вылепил тело — нелепое, безобразное, потом приделал ей ноги, закруглил плечи, выдавил два махоньких бугорочка — женщину ваял Доменико... Огладил бедра, осторожно пригладил две уродливые руки и головку, сгладил неровности, придал ей, сколько мог, красоты и, подняв ее бережно тремя пальцами — большим, указательным, средним, стал разглядывать... Даже эта неказистая, кривая, корявая женщина чем-то влекла, а Тереза, женщина, настоящая...

— Если уж хотелось блеснуть простотой и краткостью, мог бы и короче сказать: внешность — на семь

словов короче, «руконогое тулово», — сказал издавая Александро.

— В таком случае, будьте любезны, попытайтесь сами! Вы видите — я обращаюсь к нему на «вы»! — призвал общество в свидетели Дуилио.

— Мне попытаться? — обрадовался Александро. — Попытаться описать настоящую женщину?

— Да, да. А мы послушаем вас...

— У настоящей женщины, — Александро задумчиво улыбнулся. — У истинной женщины... Начну с ее появления, хорошо? Настоящая женщина появляется тихо, незаметно... Ненамеренно, понятно.

С глиняной женщиной в руке Доменико все взирал на окно и молил: «Ну открой же, открой...», молил, не сводил глаз с зеленой шторы, как вдруг плеча его легонько коснулись. Обернулся и обомлел — спрятал смущенно фигурку и стиснул так крепко, что глина растеклась между пальцами — перед ним стояла Тереза, настоящая женщина, Тереза, но сейчас без улыбки, пристально глядя, чуть откинувши голову, щурясь.

Вечерело.

— А когда появится, — едва слышно продолжал Александро, — когда появится и взглянет, сразу даст понять тебе что-нибудь, настоящая женщина, даже молчащая, всегда выражает что-нибудь.

— Это как же... — не понял Дуилио.

— Даже если со спины на нее взглянешь, все равно сумеешь понять ее — в настоящей женщине все выразительно — говорят — руки, плечи, затылок, спина...

— Что говорят...

— То, что тебе не понять... А уж если станет лицом... о, тогда...

Вечерело.

Темно-зеленые глаза смотрели спокойно. В руках у нее было лекарство — тоже зеленое, цвета глаз... Внезапно неслышно, неторопливо обошла окаменевшего Доменико, глаз не сводила. И снова стала лицом, задумчивая, прямая, и заглянула ему в глаза глубоко, в самую глубь, и растерялась, направилась к двери. Поднялась по трем невысоким ступеням, тронула ручку и, прежде чем открыть, оглянулась. Но

глаза ее стали другими, совсем по-иному смотрели. Оробело, со страхом как будто и все же просили вой- ти за ней следом...



Оробела — и эта минута настала.

— Истинная женщина все умеет сказать глазами, Дуилно, мой благоречивый сеньор. Все даст понять глазами, и прежде всего — нужен ли ты ей.

И оставила настежь распахнутой дверь. Там, внутри, в темноте, была лестница, узкокрутая... Потянувшись к стене, к фонарю — занесла над собой, а рукою, державшей лекарство, подхватила подол, подобрала мизинцем к коленям. По высоким ступеням, напряженная, боком поднималась Тереза, и качался над нею фонарь, а за нею тянулся, разливаясь волной по ступеням, темный плащ, и в неясно-таинственном свете, трепеща и колеблясь, на стене повторялась тень женщины, и тень ее тоже была грациозной и стройной. Доменико припомнился взор оробелой Терезы, и, миг одолев три ступени, он вскинул глаза — обернувшись к нему, вниз смотрела Тереза, но лица ее не было видно, и он растерялся, смешался, не зная, подниматься ли дальше по лестнице—трудной, мучительной, иль бежать без оглядки. Поняла его женщина — осветила себя фонарем, и Доменико сразу заметил ее озорную, шальную улыбку — совсем по-иному, как-то по-новому улыбалась сейчас ему женщина. Быстро взойдя по последним ступеням, она опустила фонарь возле лестницы на пол. Податливо мягкими стали ступени, уводя Доменико наверх, и, во тьму погруженный, он выплыл на свет. Взял свободной рукою фонарь — другая все так же сжимала и мяла женщину-глину, огляделся пытливо. В самом дальнем углу длинной и низкой комнаты темнела женщина... Тереза.

— И тени лица... — продолжал Александро. — У всего своя тень — у лба, у волос, у носа и губ...

Хоть и стояла очень прямая, глаза ее были потуплены, и на них, притемняя зелень, падала тень ресниц — поднеся фонарь к лицу женщины, Доменико напряженно разглядывал опустившую взор... Но Тереза подняла глаза и, глянув в упор, устремила взгляд куда-то в сторону. Туда же посмотрел Доменико, увидел незнакомые вещи, стол со стулом, сундук и тахту... ка-

кую-то куклу на полке... стаканы, кувшины, кувшинчик. Она ж увидала знакомые вещи и осмелела.

Доменико, юный скиталец, вконец растерялся. А в руке у него все так же лежала женщина-глина, потеплевшая, влажными пальцами снова смятая в глину... Обронил ее, бросил и, когда она глухо ударилась об пол, повернулся к Терезе решительно, словно требуя что-то взамен вместо брошенной, и живая, настоящая женщина как будто сломилась, как будто поникла, но тут же опять распрямилась, опустила глаза ожидая... И Доменико ожесточенно потер друг об друга два пальца — указательный и большой, торопливо счищая налипшую глину, и, счистив, снял ими с Терезы накидку, отшвырнул на сундук... Что делать дальше — не ведал... А женщина не открывала глаз, ожидала... И внезапно встряхнула высокой прической, выпустила ее, и волосы медленно, тяжело, черной смолою поплыли по шее, как если бы кто-то медленно, тихо провел большим пальцем по семи нежным струнам — так плавно по шее стекали волосы... Что делать дальше — не ведал, не знал... Снова поднял фонарь и, увидев томительно ждавшие губы, чуть раскрытые, разом все понял... А женщина, не открывая глаз, откинув чуть голову, стояла, ждала... И припал к роднику Доменико, юный скиталец... С фонарем в руках пил и пил, и казались уста ее источником мудрости — все больше и больше познавал Доменико... На миг оторвался, повесил на гвоздь досаждавший фонарь, и теперь потянуло обнять, но вспомнил — в земле были руки, и, выгнув запястья, обхватил ими женщину и, припав, снова пил и пил... Женщина замерла, закрывши глаза, откинувши голову, и Доменико открылся новый родник — нежная впадинка выше ключицы — вождеденный источник утоления жажды, неиссякаемый... И он пил из нее, пальцами в глине неумело, не смело ища на спине у Терезы застежку или пуговку, а женщина, не размыкая по-прежнему век, улыбнулась и горько, и сладостно, отстранив его мягко, занесла руки за спину — как пленительно! — и руки расстегнули там что-то, выбрались из рукавов, нырнули под платье и возникли из тесного ворота уже обнаженные, белые, вскинулись, увлекая с собою и платье, закрыв им лицо. Так постояла в недолгом раздумье, колеблясь

как будто, и решилась — встrepенулась всем телом вольно, упрямо, и легким движением скинула платье — соскользнуло к ногам и легло тусклым кругом, обвивая И только теперь открыла Тереза глаза и ступила ногою из круга, руки раскинув, — к Доменико...

— В случае надобности женщина должна уметь быть вежливой собеседницей и занимательной слушательницей, — высказался Дуилио, — но, естественно, должна уметь заслужить и заслуженно высокую, возвышенную похвалу за приготовление полезных блюд...

— Мда... И надо ведь додуматься до такого — руконогое тулово!.. — вспомнил Александро.

На постели сидела Тереза. Простынею прикрывшись, гибкими пальцами устранила с бедер преграду — что-то тонкое сняв, сильно пригнулась и с нежным, нежным до дрожи шуршанием проводила к точеным ступням по упругой стезе, и откинулась снова, завела руки за спину, плечи ее приглушенно блестели, и теперь устранила помеху с груди — два друг с другом скрепленные теплые гнезда...

— В таком случае вы дайте лучшее определение... Мы и слушать способны с терпением, кроме случаев исключительно необходимых исключений.

— Это единственный случай, когда я теряюсь... — сказал Александро. — Не могу...

— Почему? — оживилась тетушка Ариадна.

— Потому, — вместо Александро ответил Дуилио, — что он не способен, не наделен даром **пройтись словом** по достозначительным местам хорошего женского туловища.

— Нет, не потому...

И действительно, с чего, с чего начать... Столько было всего... Кто тут помнил о глине на пальцах — пальцы владели плечами, спиною, затылком, руками и грудью, и грудью — все было их...

Но рук было две, только две, и не знал — что ласкать, столько было всего... Хорошо хоть губы имелись, и, целуя грудь, Доменико разом познал сокровенную тайну — величайшую и простую такую, и все тело возжаждало счастья пальцев счастливых — отшвырнул далеко и свой пояс широкий и плащ... И теперь все ощутило друг друга... Но все же, но все же — столько было всего... мягкий живот и упругая

шея, губы — ненасытно, томительно ждущие, и рука, обхватившая тело изогнувшейся женщины, истинной женщины, и в пальцах, испачканных глиной, тонкие, едва ощутимые ребра, пальцы из всех частей обнаженного тела скитальца счастливые самые — но внезапно все тело оказалось счастливее пальцев, содрогнулось от счастья — нестерпимого, страшного — не земля, само тело кружилось и как будто терялось, уносимое вдаль... И когда затерялось — вздохнул, словно дух перевел облегченно, и на облаке дивном блаженно распластанный, оглядел лицо женщины, опустошенный и за все благодарный, поцеловал ее в щеку, а она на него так странно смотрела... И снова любил! И снова пил и пил из ее родников упоено, не иссякали, столько их было...

— Вот, скажем... Ну хотя бы... — попытался сказать Александр. — Скажем, вот...

Жаждающий, припав к груди, целовал неутолимо, но какой-то вкус... вкус чего-то... знакомый, привычный... Поднял голову, всмотрелся — оказалось... земля, глина, присохшая к телу женщины, — вздрогнул испуганно и, чем-то смущенный, непонятное что-то смутно постигший, с тела женщины слизывал землю, и закрывшая веки Тереза тоже постигла, казалось, что все, все эти «столько всего» — всего лишь земля, прах и земля, ставшие временно грудью, бедром — этим «столько всего...» Временно... Бренное тело — но какое прекрасное в миг сей, в час сей цветущее — со вкусом земли на губах ненасытно и жадно целовал Доменико, юный скиталец...

— Вот, скажем, ладонь, — продолжал Александр.

— Ладонь?! — изумилась тетушка Ариадна и тихонечко глянула на свою.

— Говорите, мы выслушаем вас, — сказал Дуллио. — Только не говорите явной чепухи.

— Да, ладонь, — задумчиво повторил Александр. — Возьмите ладонь истинной женщины, взгляните в суховато-тонкие нежные линии... И проведите по ним осторожно тремя пальцами, загляните в глаза — и поймете, настоящая ли она женщина... Или коснитесь ладонью и что-то почувствуете, ладонь женщины всегда дает ощутить нечто неувидимое, не-

ясно-далекое... А если уж любит, если уж любит вас и коснется рукою даже одетого, прикоснется к той ладонью, тогда уж...

— Подумаешь, коснется ладонью! — сказал Дулио.

Напоенный, изнеможенный, он лежал на спине, всем телом блаженным осязая прильнувшую женщину, ладонью ласкавшую лоб и глаза и шептавшую жарко: «Не спи, погоди, я же нравлюсь тебе, хороша ведь... Не спи, я же нравлюсь... Ты теперь не один в нашем городе... Одинок был мой бедный мальчик, совсем одинокий, я ведь нравлюсь тебе, не правда ли, нравлюсь...»

— Ладонь, ладонь! — вышел из себя Дулио. — Подумаешь, ладонь!

— Эх... — и Александро махнул рукой.

— Васко никакой ладони - мадонни знать не знал, но был истинным мужчиной, — заявила тетушка Ариадна.

Тут уж Александро не выдержал:


— Чем был в конце концов этот ваш Васко, что даже вас свел с ума — такую бывалую, искушенную женщину!

И тетушка Ариадна воскликнула:

— Воды...

В кутежах в заведении Артуро проходила жизнь Тулио. К его компании присоединялся иногда сам Сервиллио, единственный сын Дулио, проворачивавший какие-то темные дела с каморовцами и только зиму проводивший в Краса-городе. Среди приятелей Тулио был теперь и бледнолицый чужак, пришлый Деменико, изменившийся, денежный. Он повеселел, чаще улыбался, но, и напившись, не шел с застольцами к скверным женщинам...

В городе каждый был занят своим делом: стучал молоточком по медной посуде Микеле, красил вещи Антонио, вязали теплые носки женщины, судача на ходу с соседкой, трудились портные, сапожники, плотники, столяры, трудились мастеровые, шили обувь, платье, выделявали блестящие застёжки и пряжки, вбивали гвозди в стулья, столы, сундуки, украшали шелковыми цветами широкополые шляпы, чеканили медную посуду, ткали ковры, выдували стеклянную



посуду, крутили свой круг гончары и даже именуемый сумасшедшим Александром мастерил изящные, а окрестные крестьяне привозили в Краса-город все нужные продукты — в обмен на искусные изделия горожан.

Не трудились только сыновья богатых, но таких было немного, и среди них Цилио, Эдмондо, Тулио, Винсентэ... Был и нищий бездельник, Кумео, который кормился в чужих домах, заявляясь непрошеным гостем на званые обеды, набивал там утробу на неделю, да еще с собой утаскивал любимую куриную ножку, «куриный пинок», как он выражался. Грязного, грубого, неотесанного Кумео избегали все. Но и у него водились кое-какие денежки. Сладкоречивый советодатель краса-горожан Дуилио частенько мирил повздоривших супругов, братьев, сестер, родителей и детей, но спесивый и кичливый, мзды из рук в руки никогда не принимал, и благодарные горожане прибегали к посредничеству Кумео, отсылая через него вознаграждение, а Дуилио великодушно выделял ему несколько грошей. По вечерам явственней доносились из-за замкнутого окна поразительные звуки инструмента с душою птицы, и там всегда стояло несколько увлеченных музыкой краса-горожан, правда, никто никогда не знал, кто играл — отец или дочь — у беззубого человека была дочь, Анна-Мария, игравшая не хуже отца. И если за голубым окном было тихо, все знали: музыкант мастерит простенькие свирели для продажи крестьянам — и ему нужны были деньги, кто мог прожить без хлеба насущного, одной лишь музыкой.

На окно Терезы взирал по вечерам Доменико, не мерцает ли условленный фонарь, и, томясь ожиданием, бесцельно слонялся по Краса-городу, мимо спешили прохожие, сумрак сгущался, темнело, и зябущий Леопольдино робко оповещал: «Семь часов вечера, и в городе все в порядке...» У дома Терезы кружил Доменико...

И фонарь, условленный свет... Крутая лестница, и сразу же за ней утехи долгой зимней ночи...

И никак не могли дознаться — кто же «избранник сердца» Кончетины. Кого только ни называли, всех краса-горожан перебрали, даже до синьора Джулио

56125340
30320010033

добрались, до самого Дуилио и его сына дотянулись, с опаской упомянули Сервиллио — с каморовцами — дился, — но тщетно, все было тщетно. «А может, он вовсе и не краса-горожанин?» — пыталась Кончетину тетюшка Ариадна. «Нет, нет, краса-горожанин!» — всхлипывала Кончетина. «Так скажи, детка, назови его». «А вдруг он не захочет меня, я с ума сойду... с собой покончу!» «Воды, скорее воды!..» — кричал Дуилио. В конце концов дошло до того, что Леопольдино, ночного стража, заподозрили. «Нет, что вы — спятили?» «Неужто юный дурачок, безумный Уго?» «Ах, нет... — и решилась. — Я люблю Кумео, люблю потому, что он естественный», и тетюшка Ариадна впервые в жизни упала без памяти, растянулась на полу, не успев молвить «Воды...» «Я молчу, — сказала она, приведенная в чувство, — но знай, появление Кумео в доме славного, знатного рода Корраско будет означать мою смерть!..» «Укажите Кончетине на его физические пороки, — наставлял тетюшку Ариадну, оставшись с ней наедине, Дуилио. — Благоденствие Кончетины требует от нас совместных усилий, и я советую вам указать неопытной девушке на изъяны, на пороки ее избранника, которыми с избытком наделен вышеназванный юноша...»

«Час ночи и в городе...» — возвещал Леопольдино. Кашель душил отца Терезы, и тревожно прислушивалась женщина... Юный скиталец Доменико спал лицом в подушку. Тереза сидела одетая, а входя к отцу, даже плащ набрасывала на плечи — «Не надо ли чего?..» «Нет, доченька, ничего...»

«Что тебя ослепило, Кончетина, посмотри, как он скалит зубы без всякого повода!» «У него отличные зубы — железо перегрызут...» «И тебе не страшно?» «Так я ведь не железо! — жеманилась Кончетина. — Я девушка, девушка...»

«Воды, скорее воды!» — восклицал Дуилио.

«Пошел бы, сынок, к приятелям, — говорила мать тосковавшему дома Эдмондо. — Иди, повеселись с друзьями, развлекись...» «Развлекся бы, да где они, друзья...» — и Эдмондо сникал еще больше.

«Послушай, Кончетина! Извините, сеньор Джулио, за выражение, но этот Кумео — жрет, к нему применимо именно это темное, грязное слово «жрет», и не

подходит «кушает»! Как омерзительно жует, чавкает, как алчно накидывается... Неужели ты даже этого не замечаешь, Кончетина?» «А если он голодный, а если хочет есть?.. — горячилась девушка. — Он же не такой, как вы, прикидываться, будто не хочет есть, и для виду пощипывать и поклевывать!..» «А дразнить, злить человека, по-твоему, хорошо? — негодовала тетушка Ариадна, в который раз приведенная в чувство. — Вцепился Розине в ногу и залаял как собака, у бедняжки чуть сердце не разорвалось!» «Он так чудесно подражает!..» — возразила Кончетина и даже захлопала от восторга нежными ладонями. «Как — тебе нравится, когда над человеком издеваются?! — ошалела тетушка Ариадна. — Ты стала садисткой, кровопийцей? Что значит — чудесно подражает?!» «Он собаке хорошо подражает», — пояснила Кончетина. «Помогите ей, воды! — вскочил Дуллино. — Вода, когда в ней есть нужда, весьма...»

А юный безумец Уго, притаясь за углом, шептал: «Снежной ночью... прямо в сердце... нож...»

— «Се-емь часов вечера и...» — тянул Леопольдино.

«Пошел бы, сынок, развлекся...»

Едва слышные, приглушенные звуки неслись из дома беззубого музыканта.

«Любите, детки, папочку, берегите его, — внушала по вечерам сыннишке, Джанджакомо, и дочурке жена Артуро Эулалиа. — Отец вас поит и кормит, одевает и обувает... — и с внезапным страхом добавляла: — Об одном молю, Джанджакомо, если повстречаешься ненароком с каморовцем, прямо домой беги, глядеть на него не смей...» «А как же я узнаю, что это каморовец, если не гляну на него?» — недоумевал Джанджакомо. «Узнаешь, сразу поймешь, — таким ужасом от них вест, кровь леденеет». «Погибели на них нет, на окаянных, пропади они пропадом, — кляла их из своего угла мать Артуро, бойкая Сивилла. — Хорошо хоть в эту зиму не заявлялись». «Чего им было заявляться, в срок отсылаем положенное, в срок платим», — успокаивала себя Эулалиа.

В Краса-городе стояла зима, стоял долгий месяц январь. Не светило затерянное за облаками солнце, светил, белея, снег. Вечера краса-горожане коротали

у камина, ночью спали, разумеется, потеплее укрывшись одеялом, утром вставали, зябко ежились и размахивали руками, согреваясь, и плескали в лицо ключую воду, тянулись на улицу, подышать живительным студеным воздухом, стремились друг к другу, слышались запоздалые «С Новым годом! С новым счастьем!», а вечером в лиловых сумерках падали и падали снежинки... На большой медвежьей шкуре нежилась женщина, Тереза, опершись локтем на подушку-валик, и заостренными нежными пальцами перебирала волосы положившему голову ей на бедро Доменико. «Как я тебя испортила...» А известный советодатель краса-горожан Дуилио продолжал изящные определения хорошей, настоящей женщины и однажды так сказал собравшимся у фонтана согражданам: «Лично я ни в какой степени не верю в историю, состряпанную об Адаме и Еве, тем не менее непорочной девице следует все же остерегаться есть яблоко, раз имеется достаточно и других плодов — персики, груши, сливы, например, алыча...»

Близилась свадьба Кончетины, и Краса-город был взбудоражен — кого пригласят, кто удостоится чести, состоятельные и высокопоставленные не сомневались, что будут приглашены, не сомневался и Александр, но — в обратном, однако, он не очень печалился. «Что вобщем в пьяные головы!..»

...Доменико возвращался со свадьбы. Шатаясь, прибрел к дому Терезы, долго настойчиво барабанил в дверь, но женщина не открыла ему. Качаясь, спотыкаясь, пустился к дому Артуро, а днем плохо что помнил. Обожженная глотка мучительно просила шипучки. Быстро ополоснул лицо, накинуд на плечи синий плащ и пустился к Тулио, тот и сам уже спешил к нему. — «Шипучки бы сейчас, верно? — сказал Тулио. — Где бы деньги раздобыть...» «Пошли, у меня есть». «Тогда — пошли скорее...» По улицам Краса-города снозаранку рыскал колючий ветер. Пряча лицо, жмурясь от слепившего ветра, они торопливо шагали к заведению Артуро, как вдруг кто-то подскочил, преграждая дорогу.

— Привет вам, люди...

Оба разом подняли голову — перед ними был Александр. «А-а...», — отмахнулся Тулио, обходя его, но

Александро бросил ему в спину: «Каморовцы в конце улицы...»

— Кто?! — Тулио окаменел.

— Каморовцы. Один — Масимо, и двое других с ним.

— Тьфу, черт, — очень тихо, опасливо пробормотал Тулио. — Где бы спрятаться...

— Постойм тут, люди, — предложил Александро. — Минут через десять Сервиллио поднесет им деньги и уберутся.

— А как мы узнаем... Ух, как не вовремя принесло их...

— Что, спешите?

— Шипучки хотели выпить.

— Успеете, не переживай. Об их уходе сразу узнаем — в экипаже изволили прибыть...

Пригнувшись под тяжелым мешком, по улице медленно шел крестьянин из Калабрии. За ним брел мальчуган лет пяти — то ли сын, то ли внук. Они шли себе своим путем, но в конце улицы, подперев плечом стену, стояли трое. Все трое навеселе, двоих, коротышек, хмель разобрал сильнее, а третий, высокий, на редкость красивый, держался на ногах твердо. Калабриец приостановился, но те, трое, сами двинулись к нему, тихо, не спеша.

Поравнявшись с крестьянином, один из коротышей дернул за мешок. Крестьянин посмотрел на него недоуменно, а тот ударил его со всего размаха. Бедняк зашатался и, в ужасе схватив ребенка, устремился было прочь, но второй коротыш остановил его, сердито сверкнув на первого глазами.

— Что тебе надо! Чего пристаешь к человеку, не мешает, идет своей дорогой...

Крестьянин благодарно взглянул на него.

— Вот какой мешок тащит, а ты... Что в мешке? Хлопок? Больше ничего? Не приставай, пусть идет себе, пропустил два стаканчика и голову потерял. Знать тебя не знает, ничего тебе не сделал, за что ты его ни с того ни с сего... — говоривший резко обернулся и вдруг сам сплеча ударил крестьянина. Бедняк рухнул, как подломленный, стукнувшись головой о стену, — слишком неожиданным и сильным был удар.

Ребенок с ревом повалился на него и, горько рыдая, со страхом вскидывал глаза на троих чужих. Красивый молодой человек, побледнев от ярости, смочил платок в воде, потер крестьянину лицо, и, когда тот открыл глаза, вздохнул облегченно. Повернувшись к коротышу, сбившему крестьянина с ног, рванул его за ворот так, что пуговицы отлетели.

— Паскуда! — сказал красавец, и так шла ему бледность. — Запомни, все можешь, все дозволено, но человека с ребенком, да еще малолетним! В самом деле, надо быть скотиной и зверем, чтобы ударить так коварно, без повода...

Крестьянин бессмысленно моргал, привалившись к стене, но все же чувствовалось — бальзамом лились на сердце слова молодого человека.

— Будь я проклят, если сяду пить после этого с такими... с такими... — и, не найдя нужного слова, нагнулся, поднял ветхую шапочку бедняка, надел ему на голову.

— Что же ты малыша таскаешь с собой, дяденька, в этакую даль?..

— Захворала жена... не с кем было оставить... Помирает несчастная... — через силу проговорил крестьянин.

— Да, беда... Неужто и родных нет, совсем не с кем было оставить? А сюда зачем пришел, не знаешь, что за негодяи эти горожане, полно всяких мерзавцев... От них всего жди... — И внезапно наотмашь ударил крестьянина и сбил его с ног. Коротыши удивленно и восторженно хлопнули ладонью о ладонь и пока с любопытством пялились на упавшего, красивый молодой человек незаметно стянул с руки кастет. У крестьянина из рассеченной скулы текла кровь.

— Вот это удар! Крепкая у тебя, оказывается, рука, — с завистью сказал один коротыш.

— А ты что, не знал? — воскликнул другой. — Врагу не пожелаю попасть ему в руки.

Молодой человек сдержанно улыбался. Все трое отошли, снова пристроились у стены в конце улицы.

Малыш зачерпнул шапкой воду, плеснул отцу в лицо. Крестьянин раскрыл веки, присел, тронул ла-

донью скулу и застонал. Всхлиывая, малыш еще принес воды, плечи у него подрагивали.

Прошло много времени, пока бедняк сумеет подняться и, ошалелый, побрел дальше, пригнувшись под тяжелым мешком. Малыш дрожал, в страхе оглядываясь время от времени.

Молодого человека редкой красоты звали Масимо. Это были каморовцы.

Время от времени Доменико тайком отправлялся в рощу, к поваленному дереву, с небольшой лопаткой и набивал карманы драхмами. На свадьбах и иных семейных торжествах он испытывал безотчетную гордость — у него всегда имелась в подарок драхма. И в любом доме был желанным, встречаем улыбкой. Гулко всюду брал его с собой. Но Доменико томило какое-то неясное, неуловимое желание, мучительно тянуло прорвать что-то стоячее, застойное, засосавшее его, особенно терзался долгими зимними вечерами у камина. Желание иногда обретало смутные черты, что-то напоминало, то ли лепку из глины овцы или коня, то ли необычные звуки, или неведомое слово, то ли неясно текло что-то... И даже за шумным застольем сидел отчужденный, словно отверженный, отмеченный печатью холодного одиночества, хорошо еще Тереза была у него. Раз в три дня ярко вспыхивал догорающий фонарь... Он поднимался по высокой лестнице. «О, Цилио, иди, иди скорее! — торопила Тереза, расчесывая перед зеркалом струившиеся по плечам волосы. — Только не забудь сначала потушить фонарь на окне, не заявился бы этот, деревенский, Доменико...» Растерянно обрывал шаг, оторопело смотрел на сидевшую к нему спиной женщину. «Я вчера опять видела тебя с Сильвией, какой ты бессовестный, Цилио! А еще твердишь: «Только ты, только ты нужна!» Слушал Доменико, ушам не веря, а женщина продолжала: «Если не оставишь Сильвию, даю слово — на порог к себе больше не пушу! Да, правда, вон там в углу «шипучки» стоят, этот, деревенский, принес» и, не оглядываясь, добавляла: — «Открой бутылку, не можешь откупорить, тебе говорю, дурачок, глупенький, Доменико...» и, встрепенувшись, резко оборачивалась, срывалась со стула, со смехом повисала у него на шее,

целовала в глаза. «Ну что, позлила тебя, Доменико додела, а...», — скидывала с него шапку, лохматила кие волосы. — «Глупенький, дурачок». И, уразумевши наконец шутку, Доменико с блаженным укором уставлялся на ямочку, которая обозначалась на одной щечке, когда она заливалась своим восхитительным смехом.

Коварной изволила быть Тереза...

Зимние утехи... К исходу шла долгая зима.

И смятенный, взбудораженный неясным томлением, Доменико решил, сказал Терезе: «Выходи за меня, выйдешь...», а она подбоченилась и, чуть откинувшись, устawiла в него палец и с каким-то страхом воскликнула:

— Спятил, Доменико? Очень хочешь, чтобы мы потеряли друг друга?

У всех у нас есть свой город, но не ведаем порой этого... Пробираешься незаметно, вобрав голову в плечи, надвинув шапку на глаза, — не узнали б нас... Розовые и голубые дома нашего города, Краса-города, черепичные крыши, еще влажные, исходящие паром под солнцем — в пору таяния снега... Будоражащее тепло внезапной весны, и одуренные вешним теплом краса-горожане — даже степенный сеньор Джулио, и даже юный, безумный Уго, подставивший лицо солнцу...

Затихшие, оцепеневшие под солнцем деревья... Влажно блестящая, пробужденная к жизни кора... За домами, в тени, нерастаявший закрапанный снег — как в веснушках... Наш город, одурманенный первым вешним днем, опьяненные внезапной весной краса-горожане... Как неожиданно, разом наступила весна. В деревне он уже купался в эту пору, первым бросался в холодное озеро и потом вымученно улыбался, замерзший, дрожащий, и лизала кору отощавшая за зиму скотина...

Доменико стоял на улице, прислонившись к дереву. Разглядывал прохожих, многих уже знал, здоровался — мужчинам дружески протягивал руку, женщинам кланялся, ловко щелкая каблуками.

— Доменико, — окликнул Антонио. — Тулио не видел?

— Нет.

— Увидишь, скажи, чтобы пришел на площадь. Не забудь.

— Нет. — Проводил его взглядом и ощутил вдруг непонятное волнение. Стиснул кулаки, глубоко вдохнул и с силой выдохнул. Большие часы пробили шесть раз тревожное возбуждение стало нестерпимым. Подошел Тулио, но Доменико не заметил его, проводил кого-то взглядом, человек исчез за углом, но он все смотрел в смятении, никого не было видно и все же... Судорожно вздрогнул — так бывало с ним в предчувствии чего-то. Она показалась из-за угла, в длинном белом платье. Шла прямая, но какая-то настороженная, чуть улыбаясь, задумавшись, словно испугнутая, но ненапуганная, нежная, беспомощная и все равно немислимо гордая, Доменико кольнуло в сердце, изумленный, потрясенный, чуть не пошел за ней следом, но вспомнил, что видит ее впервые, хотя нет, нет, встречались раньше...

Тулио взял его под руку, а он, смятенный, все следил за девушкой — так явственно белела на фоне серой стены. С трудом перевел дух.

— Кто эта девушка?

— Эта? Одна тут... здешняя, Антонио не видел?

— Видел, как ее звать?

— Ее? Аңна-Мария, где ты видел?

— Кого?

— Антонио. Ничего не передавал?

— Пусть, говорит, придет...

— Куда...

— На площадь... Господи, кто же она...

— Один был?

— Нет, с кем-то... Не знаешь, где живет?

— Кто? Антонио?

— Да нет, она... — и нерешительно произнес: — Анна... Мария.

— В той стороне... Дочь музыканта, ну вон того, что хорошо играет.

— Замужем?

— Понравилась? — глазевший по сторонам Тулио обернулся к Доменико. — Правда понравилась?

— Правда.

— Очень?

— Сильнее не могла б, — улыбулся, будто шутил, но было удивительно приятно открыто говорить то, что полагалось бы скрывать... Но потом сказал:

— Ты что, в уме, просто так спросил.

— Нет, не замужем. Говорят, лучше отца играет. Кос-кому она нравится, а мне нет...

— Это не беда... — сказал Доменико.

Какая весна, где она была, весна, снова дохнуло зимой. Закутался в плащ и отправился за город. В нос бил терпкий горьковатый запах—жгли палую листву, а в нем, внутри него, распускалось поразительно колючее растение — о, кактус! Смеркалось, Доменико надвинул широкополую шляпу на лоб, чтобы не узнали, скрывался ото всех, от всего — пустынно было вокруг, но все же и при шелестящих порывах ветра крепко сжимал рукоять шпаги. Чуждо шуршали ерошимые ветром высокие стога, в нисходящих сумерках все было странно полуживым, и все более синевший горизонт поглощал силуэт Доменико, настороженно-го, как таящийся в засаде, но в нем звенела радость— и он старался ступать красиво, довольный собой — юным, стройным. Задел стог, испуганно обвел его взглядом, впереди возникло мрачное полуразрушенное каменное строение, у входа — лестница всего в три ступеньки, на первой лежала змея, сильно, но как-то скованно извиваясь, потягивалась видимо. Доменико перешагнул через змею, толкнул ногой массивную дверь и вступил в темноту, выставил руку, другой же из ножен вытянул шпагу, тьма глушила шаги. Напряженно вытянутая рука внезапно натолкнулась на твердую холодную гладь. Остановился, застыл, впитывая пальцами гладко-холодное, а потом сине-пестрые стекла в окошке осветлели неясно — снаружи подступил к окну блеклый желтоватый диск, и синий, поразительно легкий свет, разлившийся в воздухе, наполнился трепетом, и Доменико разглядел — касался пальцем мраморной колонны. Распустилось диковинное растение, странно коловшее — распустился в нем кактус, и в величавом свете, без того переполненный радостью необычной, обхватил рукой мраморный

столб, обвил и другой, державшей шпагу, и, весь дрожа, повторил: «Анна-Мария...».

— А-а...

— Давно?

— Что давно...

— Как прошел.

— Кто...

— Антонио, кто же еще.

— Да... наверное... нет, не знаю.

— Час будет?

— Нет, меньше... — и снова спокойно повторил про себя: «Анна-Мария... Анна-Мария... Анна-Мария...»
Анна-Мария, с серной схожая.

НАВЯЗАННАЯ ПРОГУЛКА

Мой досужий друг... заскучавший мой... Напугал тебя?.. Да, бывает со мной, пошучу вдруг бездарно. Но как трудно себя удержать, так и тянет схватить тебя и почувствовать. Ты видишь меня постоянно, я же — ведать не ведаю, кто ты... Хочу увлечь тебя на прогулку по городу и — кто не пропускал стаканчика — выпьем и мы — будешь сговорчивей!.. — Давай, мой друг... Нет, давайте, мой друг, поднимем сначала эту вот чашу — чашу безмерную тишины... Пей... Пейте... Выпьем из этой чаши одиночества... Одиноки сейчас мы с тобой. И на «ты» говорю потому, что один для меня ты, один, одинок, но если угодно, можно путать и перемежать эти «ты» и «вы» — ты извольте сказать, что желаешь вы, ну а если же вам не угодно... или если не принято, стану прибегать к «мы» временами — в нем мы оба — и «я» и «ты», ты даже двойко — «ты» и «вы»... Тишина... одиночество... Выпьем немного... Не шуми, друг, не будем кричать и шуметь, уговор?.. Нигде, никогда... Послушайте, скажу тебе что-то.. Выпьем еще... Захмелеем, понятно, закусь-то ведь нечем, и... Выпьем из огромной чаши одиночества... Не знаю как ты, мне же ударило в голову... Никто не пьянеет так быстро, как я... Что с того, что по виду не скажешь, не заплетаются ноги и слушается язык... Послушай, мой друг — у всех у нас есть свой город, но не знаем порою, и если не вы-

дашь, никому не расскажешь, покажу тебе город, гуляю с тобой по вечернему городу... Но тсс... красться на цыпочках... О, как тихо, крадемся тайком, незаметно бредем мы по улицам — словно не наш этот город... Чуу... Осторожно, потише... какие мы странные, не хотим, чтобы заметили, не хотим, чтоб увидели — любопытных, нахальных, — спрятав голову в плечи, крадемся...

Вон светлеет окно... Не хотите узнать, кто живет там и как? Загляните в окно. Нету лестницы? А зачем она, лестница, — есть моя голова — не стесняйся, прошу вас, стань ногою сюда, ставь ступню на ладони мои, ухватитесь за волосы крепко, заберитесь на плечи, не беда, что в слякоти обувь, не смущайтесь. Я привычен и к грязи, и к пыли, а теперь упритесь-ка в стену, загляните в окно... Дотянулись? Ах, нет? Чуть-чуть недоставали? Ну, тогда мне на голову станьте, ничего, ничего, лишь бы вам услужить... Иногда тяжело, очень тяжело бывать одному... К тому же я выпил, выпил с вами из огромной одиночества чаши... Эх, одиночества чаша бездонная... Мы стоим у стены — я спиною, а вы — на моей голове, заглянули в окно — равнодушно или жадно? Не тревожьтесь, не бойтесь, вас никто не заметит, если ж покажется кто вдалеке, я дважды по ноге вас ударю легонько... Ни о чем не тревожьтесь, будьте покойны... Нет, нет, сорвалось с языка, сказал машинально... Что угодно пусть даст вам господь, кроме покоя!.. А-а, оживились?.. Тулио там, повеса, кутила, как смеется он весело... Неужели завидно вам стало? Право, не стоит, не надо. Если угодно, загляните к Эдмондо, он ищет товарища, друга. Ему очень тоскливо... И вам жалко его, жалеете, верно? Очень грустно ему, но... возможно, так лучше... лучше, может, возможно... может, как лучше. Отправимся дальше, нет, нет, не сходите с моей головы, как стоите, так стойте, понесу вас, о, какой вы тяжелый, и какой невесомый, до чего же вы легкий... Загляните вот в это окно... Нет, он не тронутый, нет, упражняется, тренируется, потому и стоит перед зеркалом — жесты, манеры, улыбка, движения — все должно быть изящным, — это ж Дулио, их советчик, советодатель. Чему дельному он их научит? Не знаю. Им-то он и правится... Черт, разобрал меня хмель, велика была ча-

ша... А это вот Джулио. Видишь его? Важный, спешивый, однако бывает и он одурачен... Что наша жизнь, в чем жизни суть? Окно и то, что за ним?.. Ворота — Виттосентэ, о чем он толкует? Обратите внимание на ворот — застегнут или расстегнут, объясню вам все позже, в свой час... Это Тереза, она ожидает кого-то? Нет, не придет он к ней больше... Вам она нравится? Ах, что за женщина, даже мне по душе... Пойдемте туда, к тому вон окну, слышите звуки? Слышишь, играют... Слышите? Загляни, кто играет?.. Ты видишь? Во власти другого она... Во власти Властителя звуков, взгляните на руки и струны, взгляни на лицо, как подвижно оно, хотя и застыло — во власти она Властителя звуков... Чья она все-таки, нежная, строгая, но во время игры окрыленная, а вообще беззащитная и беспомощная... Нравится вам? И мне, я люблю ее, слышите — плачу... Я так сильно люблю, а уж странник, скиталец наш, Доменико, нет, к нему не заглянем, на него не смотрите — нет смысла, тут у всех и у каждого есть свой лик, голова есть и взгляд. свое мнение, у него же, у скитальца, ничего еще нет, ничего не оформилось, он безликий, еще не изваян, не слеплен — он еще глина по сути, потому что так мне угодно — он глина сырая... запьянел я... У него еще все впереди, повидает он мир, побывает в Каморе, попадет в Канудос, а после, потом же... я-то знаю все, заранее знаю... Не слишком ли громко, разорался я, кажется?.. Извините, увлекся немного, прошу, извините... А этот вот дом... Не устали стоять — вам же трудно — голова у меня небольшая... Хорошо, что хоть слякоть подсохла, не скользят у вас ноги... Это? Это комната Циццо, в ней темно — там их двое, нет, нет, неудобно смотреть, неприлично, любопытно, понятно, и все же сейчас неудобно заглядывать... Однажды ведь были мы с вами — в другом, правда, месте, у тех, у двоих — у Терезы, ты помнишь, настоящей, истинной женщины... Давай отойдем, пошатаемся праздну, мы же праздные люди, не заняты делом... Я признаюсь вам, но обещайте — никогда никому не расскажете — я, я подстроил все, странника с драхмами я заставил полюбить музыкантшу, беззаботно стоял Доменико возле дерева, а я, ваш покорный слуга, провел мимо Анну-Марию... Кто неволил, зачем надобно было, у него ведь имелась

настоящая женщина... Так всегда, усложняем все ми... И Антонио, наш красильщик... Две остались девицы, третья стала женой Антонио и сникла, не смеется залившимся смехом... Все вам выложил... Развезло меня здорово, оттого-то и сбивчиво, путано... Ничего, не беда, вы только глядите, и, как говорится — вот моя голова, и сделайте милость, смотрите, а если наскучит, возьмите закройте... Кто мешает захлопнуть... Я выпил, но и вы ведь... Поразительно — пьян, а неплохо держусь на ногах, да еще вас несу на себе, на своей голове... Я шучу, не сердитесь, не стоит, а теперь нам пора разойтись, впереди у обоих свой путь, и должен сказать — без тебя обойдусь, без тебя загляну я в любое окно, вы же... Извините, пожалуй бес тактно уверять, что без вас обойдусь, что не нужно мне становиться вам на голову... Говорю, что не следует... Извини, сожалею, но ведь пьян я — из двух пил я чаш... вечер к тому же, а в вечернюю пору... Вечер. Не верите? Ну, тогда прокричу: «Восемь часов и в городе все...» Все ли?..

ЭХ, ПЕРЕМЕНЫ...

Анна-Мария!

Мечты и грезы под названием «Будто».

Анна-Мария, идет она будто по улице, улыбаясь застенчиво... В белом платье, простом белом платье — так идет оно к ней... Настороженно, робко ступает. Будто падает снег... Нет, если падает снег, то в черной, блестящей накидке, и видны лишь глаза да темные брови, и, продрогнув, пригнула головку, подбородок прижала к груди, и падает снег на склоненную голову... Рассвело уже... Но не хочет вставать Доменико, неохота вставать, умываться, лучше думать, лежать и мечтать в полудреме... неотвязное «будто», всемогущее, всеохватное.

— Сеньор, не угодно ли...

— Нет, нет.

— Как угодно, сеньор.

У-ух... все испортил... Чего притащился, здоровяк краснощекий... вывел из грез, где уж место для «будто», если заявится такой вот явный и зримый... и кругом

эти вещи, настоящие и такие... ненастоящие. Натянув одеяло на голову, свернулся калачиком, и медленно снова выплыло из теплого мрака «слабость», «его всемогущество» «будто» — будто ведет он Анну-Марию по широкому полю, по зеленому полю, впрочем, почему непременно зеленому — кто обрел нас на это, — по лиловому полю идут они, двое... И совсем иные краски: над лиловой рекой желтый мост, перейти его надо — взгорбленный, шаткий... Опирается на руки и, пугливая, все же спокойная, беззащитная.

А в это самое время и Эдмондо лежал у себя на тахте, и что-то упорно нестерпимо сверлило внутри... Пытался подняться, но темнело в глазах... Присел наконец, но сразу закружилось в голове... Удивленный, приложился рукой к животу — боль пронзила ударом жара... Показалось, понятно и это было «будто» — один был в комнате, и все же — будто ударили пожом. Когда боль поутихла, надел шерстяные носки, сунул ногу в сапог, и тут снова потемнело в глазах. Боль ломала и ноги, кое-как дотащился до окна, за окном стоял теплый весенний день, на улице оживленно гуляли люди, подставив лица набравшему силу солнцу. Страшно, невоготу стало в комнате, потянуло выйти из дома. Сделал над собой усилие — застегнул пуговицы на белой рубашке, и опять все пошло кругом...

А Доменико лежал, лежал и грезил — будто Анна-Мария попала под дождь, под веселый плещущий ливень. Анна-Мария устремила под дерево, она не бежит, почему-то стесняется, ускорила шаг, засмушалась, зарделась, укрылась под зелеными ветками. Там же стоит Доменико, пылает, потому что... Снимет свой плащ, ей на плечи накинет и заглянет в глаза — хоть и в сторону смотрит, потупивши веки... Анна-Мария тонкая, слабая, невольно гордая и печальная тоже.

Анна-Мария — схожая с серной...

— Извините, может, больны...

— Да нет, — и решил: «Лучше встать, все равно не даст мне покоя... Прогуляюсь по улице... Вдруг да встречу!»

И не так далеко, через десять домов, спускался по лестнице Эдмондо, вцепившись в перила, пригнувшись от боли, осторожно ступал на ступени. Боль схватила

сильнее, скрючила, выдохнул через силу и немного отпустило, оба замерли — он и боль, затаилась боль, собиралась как будто с силами, тылом ладони осушивший лоб, вышел на улицу, побрел вдоль стены, если темнело в глазах, прислонялся, приходил в себя, мимо шли, отводили взгляд, мельтешили мурашки зеленые, круглые...

«Окаянный Артуро, все равно не оставит в покое...» Разозленный, отбросил ногой одеяло, отшвырнул его на пол. Схватил рубашку и с таким ожесточением натянул на себя — чуть не разодрал... «Вдруг да встретится...» Самодовольно сбежал по лестнице, с мыслью об Анне-Марии...

На улицах было оживленно, горожане прогуливались, упоенные весной, даже Уго не грозился, но, увидев Доменико, побледнел и кинулся наутек. «Что с ним творится при встрече со мной?.. Не пойму...»

А Эдмондо стоял, припав к стене, измазанный голубой краской, мимо шли, отводили глаза, но его не трогало это, ни до кого ему не было дела — в тревоге прислушался к сердцу — все сильнее стучало и билось, чем-то грозило, тараторило в ярости, возмущалось и гневно металось, потом затихало, замирало в бессилии, и это было еще страшнее и ужаснее, лучше б билось, грозило... Недоумевая, пробирался Эдмондо к фонтану, и если б не сердце, без особых усилий добрался б... Его сторонились, ему уступали дорогу. Добрел — так хотелось напиться воды, так хотелось терзавшую жажду утолить водой родного города, но возле каменного льва стоял сын Дуилио и степенно снисывый Джулио, слушая возмущенную тетушку Ариадну.

— Вы слышали? Говорят, вчера вечером какие-то двое шатались по городу, один забрался другому на голову и тайком заглядывал в окна, негодяи, никто не ведает, кто такие, скажите на милость, разве это порядок? Что за нравы! Мерзавцы!

— Подглядывать низко, это признак подлости.

Сердце колотилось прямо в горле. И одного лишь хотелось теперь — повалиться, но здесь, среди отвергавших его, среди этих неподступных людей не хотелось, и он, шатаясь, побрел к роще, теснило дыхание, через силу глотал закаменевший воздух... Все годы,



всю короткую жизнь искавший товарища, никого не желал больше видеть... Уйти б, затеряться вдали, одному... А Доменико бесцеремонно отрывался от приставшего со своей «шипучкой» Тулио и поспешил за фигурой в белой рубашке, нагнал у рощи, но, увы, оказалась не ею... Но невольно приблизился — человек еле брел, перовно, шатаясь... «Что с вами... А, это ты, Эдмондо! Слышишь, Эдмондо?» Но тот движением ладони, слабым жестом прибил его к месту. Что за тайная сила лучилась из сверкавших зеленою глаз — зеленых — цвета болота зажелтогого в блеске солнца... Он присел на том самом срубленном дереве и тут же встал, застыл, в восторге прислушиваясь, не слухом, всем существом, к чему-то неясному, дальнему, вытянув руку. Другая рука его сжимала горло, изведенное болью, взбушевавшимся сердцем, так простоял с минуту — ту самую, когда разом припоминается вся промелькнувшая жизнь, и упал... упал на колени, повалился ничком и вонзил пальцы в рыхлую землю, потянулся всласть...

Когда краса-горожане, уразумев смысл сбивчивых слов дрожащего Доменико, прибежали в рощу и перевернули Эдмондо лицом кверху, обомлели — неприступным и гордым глядел, никого не желал!

И потом, когда уложили его на тахту, не узнали — он лежал всем чужой, свободный, возвышенный — никого не желал, никто не был нужен!

Мать его не кричала, седин не рвала и щек не царапала, и в голову себя не била, но все поняли, какова истинная скорбь, она же, постаревшая, окаменевшая от горя, положила руку на окоченевшую руку сына и потрясенная сказала безмерно любимому лишь одно:

— Почему тебя не любили, сынок...
Эх, чужое горе...

ПАТРИЦИЯ, УМОРИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Расположились на пестром ковре. В роще проводила весенний солнечный день избранная молодежь Краса-города, а с нею и Александро. Девушки чуть что заливались смехом, но веселья не было, почему-то сидели скучные, даже угрюмые.

— А ты-то что приуныл, Александро?
— Не знаю, Цилио... С вами не то что приуносец,
— Тулио виноват, — капризно сказала
на. — Если ему скучно, всех заражает скукой.
Тулио просиял, но промолчал.
— Молчи, молчи, будем сидеть так... О, кто идет!
— Кто? — востепенулся Цилио.
— Патриция! Теперь позабудемся. Чокнутая, глупее не найдешь. Недавно с мужем разошлась, Кумео, шалунишка мой, платочек из кармана выронишь, увидите, все выложит, потешимся.

— Что все? — заинтересовался Тулио; молодая женщина была очень привлекательна. — С чего это она все выложит незнакомым людям, лично я, например, не знаю ее.

— И я.

— Я тоже...

— Это ничего не значит, она такая простушка, такая дурочка, наивная, доверчивая — увидите, сейчас увидите... Перестань, Кумео, уймись, стыдно же... Патриция!

Женщина приостановилась, недоуменно посмотрела на Кончетину и просияла: — О, это ты!

— Привет, дорогая, здравствуй, — Кончетина расцеловала ее, и Патриция ответила поцелуем. — Как ты поживаешь?

— Эх, плохо, плохо, моя...

— Кончетина.

— Эх, моя Кончетина, я так неудачно вышла замуж.

Кончетина торжествующе оглядела общество.

— Что ты говоришь, в самом деле? Ужасно, моя Патриция, присядь, садись сюда и расскажи нам...

Все взгляды прикованы были к женщине — она была прекрасна, но на лице лежал явный отпечаток слабоумия.

— Да, очень неудачно вышла замуж, — начала Патриция. — Мне он интеллигентным казался, образованный, понимаете, начитанный, обворожил меня, неопытную девочку... Говорил, будто я с первого взгляда приглянулась... Ты ведь знаешь, Кончетина, из какой я семьи, знала бы, как он держался, вступив в наш



дом... Когда садился обедать, мы тряслись от страха — на роскошной вышитой скатерти подавали ему ужин, а перед ним лежала дюжина шелковых салфеток — «Я интеллигент». Я и принимала его за интеллигента. После обеда капал на скатерть красное вино, чтобы ему ужин вдруг не подали б на той же скатерти! Извела меня стирка, Кончетина, — разве позволил бы он себе дважды положить голову на одну и ту же подушку! — с вечера вторую клала рядом, со свежей наволочкой, ночью просыпался и менял, чтобы, говорит, морщины не появились. Ты ведь знаешь, Кончетина, как меня растили, холили, бабушка пальцем шевельнуть не давала. Она в ужасе говорила: «Разве для того обучалась играть на лире, чтоб стоять и гладить!». Нет, он в самом деле был деспотом, садистом, а деньги... О деньгах и говорить не стоит — не мог же он отстать от высшего света, в карты играл — представляешь! В долгах оказался, и мне пришлось продать кольца с изумрудами, а что было делать, на хлеб, поверишь, на хлеб ни разу не дал денег. Он был просто злодеем, а я его за интеллигента принимала... Домой приходил в два часа ночи, а часто и вовсе не являлся — уверял, будто мама его не может уснуть, пока он не уложит ее и не облобызает ей руку, а сам, оказывается, к распутным женщинам ходил, представляете, какая мерзость!

Тулио самодовольно оскалился, развалился на ковре, и забарабанил пальцами по колену.

— Я не догадывалась ни о чем, наивной была, а он так бессовестно обманывал меня, глупая, интеллигентом его считала, и почему-то женщинам нравятся такие типы, представляете? Хотя, что далеко ходить, мне самой ведь понравился... А не хотите знать, сколько ему было лет? И сейчас толком не знаю. Когда сделала эту глупость, вышла за него, говорил, что ему тридцать два, не станешь ведь свидетелей требовать, поверила, а ему сорок один оказалось, нет, он вправду околдовал меня, какие-то чары применил, как иначе могла пойти за него, я совсем не собиралась замуж, представляешь, моя...

- Кончетина.
- Моя Кончетина, на что он меня обрек?
- Какой мерзавец...
- Именно, моя Кончетина, а я его за...

«Женщине следует быть глупой, — подумал восхищенный Патрицией Тулио. — Ничто не красит ее больше глупости, господи, до чего хороша...»

— Пойду, моя Кончетина, мне с ребенком погулять надо, проснулся, наверно.

— У тебя ребенок есть?

— Да, девочка трех лет, чудесная, — у Патриции блеснули слезы.

— Всего хорошего, милая.

— Извините, минуточку, — привстал Цилио. — Неужели он в самом деле был таким бессердечным?

— Да, очень бессердечным был, — Патриция повернулась к Кончетине: — Какой славный молодой человек, кто это?

— Цилио.

— Хорошее имя, — сказала она, но так небрежно, что Цилио предпочел бы получить пощечину, и он тут же опустился на ковер, теперь уж глупо было думать о том, чтобы проводить ее.

— Может, побудешь с нами?

— Нет, Кончетина, мне с девочкой погулять надо, стоит день не вывести ее на воздух, сразу цвет лица теряет. До свидания, Кончетина, — и грациозной походкой пошла своей дорогой.

Тулио проводил ее взглядом, твердо решив про себя кое-что.

Все молчали. Кончетина торжествовала.

— Во лопухая! — заорал Кумео, и шаловливые девицы залились смехом.

— А ты не верил, шалунишка мой.

Тут уж Александро не вытерпел.

— Вот что я скажу тебе, Кончетина... Кто из вас был в Калабрии?

Оказалось — никто.

— В Калабрии местность скалистая, земля каменистая, ее очень, очень трудно, невообразимо тяжело обрабатывать, — начал Александро издали, — острым железным ломом приходится долбить, каждая пядь дается с муками, но вот гляжу на тебя, Кончетина, и... ну-ка, поверни чуть головку, вот так, вглядываюсь в твою головку и даже через пышно взбитую прическу вижу — мозг у тебя утлый, хлипкий, какие-то две-три извилины еле просматриваются, и все же твой

зыбкий мозг куда труднее обработать, чем землю. Ка-
лабрии!

Таким разгневанным его еще не видели.

— Мне и железным ломом не вбить, не вдолбить в ваши головы хоть что-нибудь человеческое, а ты, Кончетина, совсем как идиотка, хлопаешь глазами, тебя и ломом не вразумишь, последнего ума лишишься... А как еще с вами быть?! Слов не разумеете, поучения не понимаете. Что с тобой делать, с какой стороны подойти к тебе, Кончетина, дура, невежа! Как еще тебя оскорбить...

— Можно ли оскорбить ее больше, Александро, — Тулио притворно улыбнулся и добавил: — Смотри-ка, он и гневаться умеет, этот попрошайка.

— От попрошайки слышу! — загремел Александро. — Настоящего попрошайки, пошли, угощу тебя «шипучкой»... Где вам знать, где понять, кто стоял перед вами! Много вам попадалось таких доверчивых и чистых?!

Внезапно Кончетина взвилась, вскочила и топнула ножкой, яростью пылал и Александро, и оба кидали короткие фразы, словно всаживали копьё в дерево:

— Докажи!

— Что?

— Что я дура!

— И доказывать нечего!

— А вы попытайтесь!

— Попытаться?

— Да.

— Угодно доказательство?

— Именно.

— Изволь, любуйся!

И прогремел:

— Встань, Кумео!!!

НЕВЗРАЧНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМИК

Среди розовых и голубых домов Краса-города тот один, тот единственный, не был крашенный, простенький домик Анны-Марии, кирпичный, окутанный дымкой печали. Ночной страж Леопольдино теперь обходил его стороной — кто-то, закутанный в темный

УДК 82.092.01
ББК 84.001.01
0000000000

плащ, в шляпе, надвинутой на глаза, всю ночь до рассвета стоял у кирпичного домика — это был скиталец наш, наш юный Доменико. Трое обитали в маленьком домике — беззубый музыкант, его дочь и еще один — звуков Властитель. Боясьдохнуть, боясьшевелнуться, Доменико отдавался неслышанным звукам. Что за душа была у их Властителя, чем была все же, непостижимая, дивная — да, была она птицей, но была еще морем во мраке, бурновспененным... И чем-то волшебного цвета, источающим запах земли, влекущим и ласковым... Страдание несшие звуки, и гордость в страданье дарившие... Обетованный, неведомый мир, возведенный из звуков, невесомый и мягкий... Ступеньки неровные уступчивой лестницы, что, качаясь волною, качала, то вверх уносила, то вниз и снова вверх и вверх, все выше — к Властителю звуков... Иг-рали оба, и дочь, и отец, но порознь всегда, и кто-то из них лучше другого... И все же, что означали, чем они были, эти странные звуки, нежные, пестрые — облаком обволакивающим, утренним сном улывающим? В невиданном камине что-то горело с влажным шипением, но пламя не пылало жарко, чуть грело, и, прислонившись к стене, Доменико стоял, согретый необычным теплом, это нежаркое пламя, счастье, окрашенное грустью, счастье согревало саму душу!

А днем — терпи, вытерпи это: «Не уноси стакан с родника!» и все, все вокруг такое подлинное и такое ненастоящее, неинтересное, нестерпимо, бесстыдно освещенное, открытое взору, эх, терпи все это до вечера... А вечером: «Ох, «шипучки» бы, пересохло в глотке...» И все же шел с ними, сидели, пили... Гоготал Джузепе — трижды наказанный, трижды побитый невзрачным Дино... Плотноядно щурился Цилио: «Да нет, мы с ней прогулялись просто...» «До последнего вздоха буду служить несравненной истине и простейшими, яснейшими словами проповедовать бессмертную мудрость, — разглагольствовал Дуилио, такой, какой был, и благоговейно внимала ему, прижав к груди кулаки, тетушка Ариадна. — Когда же умру, пусть на моей могиле поставят иву и тополь, поскольку я — тополь, а ива — обобщенный поникший человек вообще, впрочем нет, пусть наши праправнуки поставят множество ив, а в центре один-единственный тополь, ибо

так будет заметней моя стойкость, моя нестигаемость», — но тут Александро разом омрачал ему настроение, восклицая: «Ура, Дуилио, ура, пламенный привет, ура! — не вижу в руке пера — сохрани для потомков бесценнейшие мысли! Между прочим, что ты знал, тополь не ставят, а сажают...» «Уму не постижимо, что пленило Кончетину в Кумео?» — дивился, застегнувши ворот, Винсентэ, обращаясь к Цилио, а Кончетина вьюном льнула к колючим волосам своего избранника: «Любишь меня, шалунишка?» «Не любил бы, чего брал бы за себя?» — спесиво отвечал Кумео.

А по ночам у кирпичного домика отогревалась тосковавшая днем душа странника... Лилась непонятная речь неведомого инструмента, полная протяжных гласных и таинственных, возникавших в ночной чаще согласных... Снежные хлопья. Снегопад и... снова вешний день... Бурлящий поток... Летящая птица, — внезапная радость и... рухнуло!.. Жеребенок с обрывком веревки на шее... Воробьиная стайка над кормом обильным и... при этом — грусть, неизбывная грусть — далек, недоступен звуков Властитель, даже ликующий, а когда ж затоскует — чему уподобится, дереву бесплодному? Колодцу иссякшему? Или полю широкому, земле нераспаханной, брошенной, эх, тоска земли неспаханной, тоска — сошником в душе странника... чужестранник, прикованный цепью незримою слабой девушки, по рукам и ногам крепко связанный, удушаемый кляпом — все же душа — свободная и все же свободная, как играли, о эти звуки, голоса, голоса...

Странник, Доменико, припавший к стене... Отогревался душою скиталец.

* * *

Совсем потерял голову — Тулио послал его за «шипучкой», так он налетел за углом на женщину, сбил с ног. Удрученный, предупредительно бросился на колени, помог встать, извинился и даже руку поцеловал. «Не беда, сынок, ничего», — утешала его женщина, но он кинулся к бывшему рядом киоску, купил охалку роз — сколько смог охватить, и всучил растерянной женщине. Потом велел Артуро наполнить корзину «шипучкой», калабрийскими курами, мясом и нагнал собравшихся на загородную прогулку.

Гуськом шли по узкой тропинке, шестой в ряду /
была — Анна-Мария! 361935920
30220101033

— Ну-ка, покажи, что взял, — Тулио заглянул в корзину. — Хвалю, много набрал всего.

В сером платье была, простеньком...

— Дай понесу, разобьешь еще... Где обещанное? Обещал же, если...

Он отсчитал десять драхм, протянул Тулио.

И что-то неприятно кольнуло:

— Сам ей предложил?

— Нет, Сильвию попросил взять ее с нами.

— Подруга ее?..

— Нет, соседка.

— И сразу согласилась?

— Не спрашивал. Первый раз идет, никогда не ходила. У нее и подруги нет.

— И не было?

— Нет, никогда... Очень любишь ее?

Но тут девушка обернулась к Доменико, посмотрела пристально, удивленно. Чему-то обрадовался словно, но что-то стеснило грудь — то ли боль, то ли печаль. Странно взирала на него девушка. И Доменико, не сводя с нее глаз, сказал Тулио:

— Очень люблю. И даже больше.

Тихо сказал, неслышно для других.

— Угостишь завтра, научу тебя кое-чему...

— Чему...

— Угостишь? — Тулио делал вид, будто шутит.

— Да, да.

— Они обожают комплименты. Все одинаковые. Начнем играть в фанты, подстрою так, чтобы вы оказались наедине...

Доменико испуганно вздрогнул.

— И сразу похвали ей что-нибудь, но с чувством меры... Скажешь, например: «Какие у вас прекрасные глаза, Анна-Мария, никогда не встречались подобные», глаза у нее действительно хорошие, правда, не знаю, можно ли сказать о глазах «встречались», или: «Какой у вас бархатный голос», хотя нет, голоса ее не услышишь, вечно молчит, лучше так: «Какие у вас чудесные пальцы, этим пальцам все посылно исполнить...» Хорошо, верно, этот вариант самый лучший, здорово я придумал... Ну как — угостишь?

Теперь Доменико видел плечо девушки справа, нежную линию плеча и напряженную шею — тропинка делала поворот.

Девушка шла задумчиво, осторожно, глядя под ноги. Не сводил с нее глаз Доменико, не мог, и душа изнывала — какой чужой была ему беспомощная, задумчивая, недоступная, непонятная, какой чужой была всем...

— Или возьми ее под руку, когда будем ручей переходить, помоги, не так, понятно, чтоб схлопотать оплеуху, учтиво, но твердо при этом, пусть почувствует мужскую силу...

— Помоги, шалунишка, — обратилась Кончетина к супругу и обхватила его за шею. — Не замочить бы ноги.

— Прыгай, давай! — согласился Кумео и помог перепрыгнуть ручей.

— Неужели не мог осторожней, шалунишка? — надула губки Кончетина, прикладывая руку к животу.

Кумео пропустил упрек мимо ушей — ухватил за ногу спесиво-важного сеньора Джулио и взлаял по-собачьи! Сеньор подскочил от неожиданности и влетел в ручей, обрызганный водой, пришел в себя и ошалело оглянулся, но вместо собаки узрел скалившегося Кумео.

— Чтoб тебе провалиться, осел! Ослиное отродье... Ох, извини, детка, Кончетина.

— Ничего, ничего, дядя Джулио, — великодушно простила Кончетина. — Нам, Корраско, всегда были по нраву грубые шутки.

— Осла-то зачем обидел и оскорбил, — поразился Александро. — Прекрасное животное, безобидное, благородное, чистое...

Растерянно смотрела на Кумео Анна-Мария, разглядывала изумленно, словно не верила увиденному и думала — померещилось все, так чужда была ей всякая грубость, всякая пошлость, и она молча стояла среди других, довольно улыбававшихся...

— Иди, не теряйся, парень... Доменико, — Тулио подтолкнул его. — Иди, помоги ей.

— Не могу.

— Эх ты, недотепа, — и снова толкнул локтем. — Ло-пу-ух...

А Александро приволок откуда-то доску, перебрал
сил через ручей и сказал Анне-Марии:

— Переходи, дочка...

Анна-Мария вздрогнула, улыбнулась и на носках
перешла коротенький мостик.

Ей было двадцать лет, и по понятиям краса-горо-
жан она была старой девой, но она об этом не ду-
мала, никого не замечала, ни о ком не мечтала, и во-
обще не задумывалась над этим. Не то что жениха,
подруги не имела, и сейчас, впервые оказавшись на
загородной прогулке, за пределами своей комнаты,
той самой, где царил Властитель звуков, она расте-
рялась среди шумных, развязных людей, чужая им
всем, далекая... И оттого поглядывала временами на
невеселого, грустного юношу.

— Расположимся тут, — решил Дуилио, такой,
какой был. — Здесь — река, здесь — благодатная сень-
лесов, здесь же живительный воздух, соприкоснове-
ние с лоном природы положительно влияет на орга-
низм человека и вообще на его здоровье, давайте же
расположимся тут, как принято и положено в приро-
де, и будем рассказывать возвышенные истории...

Анна-Мария сидела на поваленном стволе, сложив
на коленях тонкие, нежные всемогущие пальцы и, скло-
нив голову на сторону, смотрела в траву. Потом глаза
ее чуть скосились — ушла в свои думы. О чем она ду-
мала, о чем! Что он мог в ней понять — в Анне-Марии,
девушке, походившей на серну. Красиво подстрижен-
ные волосы доходили до тонко, тончайше очерченной
скулы.

Стояла жара, в роще приятно обвевал ветерок, и
на бледной щеке Анны-Марии трепетала прядь, а она
сидела себе, далекая от всего и всех — в мире своих
дум, что он мог понять в ней... Вот шевельнулась, по-
правила прядь — таким пленительным жестом, слов-
но сыграла что-то на нежной щеке... И каштановые во-
лосы-струны беззвучно зазвенели под волшебными
пальцами...

— Сыграем в поистине прекрасную игру — в фан-
ты, — предложил Дуилио, такой, какой был. — Вели-
колепная игра, фатальная, предопределяющая судьбу.

— Давайте фанты, кидайте, — оживился Тулио и
подмигнул Доменико, но тот не сводил глаз с девушки.

Она сидела чужая среди чужих, тихая, затумани-
вая, и теперь под ее рукой звенели травинки — ее тон-
кие пальцы поглаживали их, прочесывали. 96325320
202 2110733
встрепенулась — где-то запела птица. Она вскинула
голову, всколыхнулась душа, радостно вслушалась
в этот простенький звук Властителя — «Поет, поет,
слышите, да?» и улыбнулась легкой улыбкой, не размы-
кая уст, и вздрогнула — покатывалась со смеху Силь-
вия. — «Что ты сказал, как не стыдно...», а когда Кон-
четина, шутя, дала Тулио подзатыльник, Анна-Мария
вся сжалась, потрясенная, потупилась. У нее попроси-
ли фант. Отказать не решилась, зарделась, поискала
глазами, что бы дать... Доменико переполнила боль...
Как он любил ее! Только раз, единственный раз кос-
нуться ладонью волос, и не в губы, нет, поцеловать
бы в точеный лоб. Или долго, неотрывно смотреть в
ее серые зрачки—вся она, всем превосходила саму Те-
резу...

Жарко было невыносимо, и заметив на ее руке, у
запястья, голубоватую светлую жилку, неожиданно
встал — что толкнуло, как он решился! — разулся,
закатал до колен штанины, но прохлады земли не
хватило, и он по щиколотку ступил в реку. Вода была
мутная, взбаламученная где-то в далеких горах дож-
дем, он всем существом ощутил прохладную ласку,
и все тело просило о ласке, а воздух, удушливо грузный,
стал еще нестерпимее, и он скинул с себя рубашку, не
глянув на оторопевшее общество, швырнул назад и с
шумом бултыхнулся в воду, «Ой, забрызгал!» — вскри-
чала Кончетина, остальные молчали, ошеломленные.
Доменико хлестал воду руками и ногами, вокруг
бурлили волны и взлетали радужные брызги, и он все
бил, колотил в отчаянии реку, но удары его были ей
нипочем, преспокойно катила замутненные волны, и
Доменико в бессильной ярости отхватил воду зубами,
глотнул раза два и нырнул, не закрывая глаз — за-
вертелись, закрутились перед ним желтые, серые жгу-
тики, он выплыл, повернул к берегу, и когда ступил
на замшелую гальку, капли в ресницах все затумани-
ли, он провел рукой по лицу и медленно вышел из
реки, вода с него лилась струйками.

Жарко было невыносимо, а он, охладившись, так
по-дикарски окропившись, смотрел на всех, смущен-

ный тем, что смутил их, потряс. Потом различил на лице Анны-Марии безмятежный покой, подобие улыбки и совсем растерялся. Но, что ни говори, приятно было смотреть на прохладного, мокрого с головы до пят юношу — на гладкой светлой коже сверкали капли, лицо было поднято к солнцу, и на вытянутой шее упрямо билась голубая жилка.

— Юноша, набросьте рубашку, говорят, осторожность предпосылка здоровья.

— Не простынет... деревенский он.

Тулио изволил заметить. Лоб у самого был в испарине, и желая смягчить, сгладить сказанное, улыбнулся ему почти любовно, Доменико, разумеется, отозвался улыбкой. Надел рубашку, на спине проступили влажные пятна, он с силой провел ладонями по брюкам, отжимая воду. Выпрямился и замер — на него благодарно смотрела Анна-Мария.

— Что делать обладателю этого фанта? — выразительно спросила, начиная игру, Сильвия и незаметно толкнула коленом Тулио, уткнувшего голову ей в подол.

Фант был Анны-Марии — темный камешек.

— Его обладатель... его обладатель... пусть отправится с Доменико собирать хворост, — и оправдываясь, добавил: --- Должно же дело сладиться, наконец... Чей это фант, твой, Кумео?

— Спятил! У меня леденец, не дурак я — камни жрать!

— Да, да, мой шалунишка, зубы можешь обломать!

— Чей же тогда?

И коварным изволил быть повеса.

Они собирали хворост... «Вам не... вы не...» — сказал и осекся, временами издали доносился хохот, безудержно гоготал Кумео: «Как нелепо я начал, — расстроился Доменико. — Первые слова и — «вам не... вы не...» Анна-Мария неумело складывала собранный сушняк. Непривычная даже к этим малым усилиям, покраснелась, а Доменико, еще не просохшего, пробирал легкий озноб... Что же ей сказать... Искал слова. Сказать? Не сказать? Но что он хотел сказать — не знал. Нет, сам бы ничего не сумел, кто-то должен был выручить, да кто бы выручил его в роще...

— Вам не жарко?

— Немного...

— Я сейчас...



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ

Подбежал к своей, родной ему реке, набрал полную пригоршню воды, бережно понес девушке — «Освежитесь немного... если желаете...» Анна-Мария смотрела на него так простодушно, наивно, и у Доменико снова сжалось сердце и ком подступил к горлу, как он любил ее... А она сложила ладони, и он перелил воду, всю до последней капли, Анна-Мария смочила лоб, щеки... провела влажной рукой по шее. Закрыв глаза, подняла лицо к солнцу и все с той же улыбкой, слабой, неясной, слушала солнце или что-то другое. Самое время было сказать, сейчас, в этот миг, но что, что... и растерянный Доменико призывал в душе спасителя, но кто, кто мог выручить, спасти? Тулио? Ах нет, слишком лукавый. Дуилио? Нет, не желал он потока спесиво-слащавых, выпретенных слов! Александро? Но кто с ним считался! Цилио? Нет уж, притворный, фальшивый... Кого же, кого призвать, кто подскажет... Может, хромого работника? Он мыл ему в детстве ноги, целовал в голову... Нет, кого-то другого надо было... был еще кто-то... любивший его!.. Постигший нечто ранее неведомое, чувствовал — не сказать нельзя, но и сказать вот так, коварно залучив ее, тоже нельзя. И вспомнил! Отец, да, отец! Помогите, отец, помогите... Девушка тоже чувствовала, Доменико намерен сказать что-то, но чувствовала и другое — если скажет ей наедине, оскорбит, а он, наш скиталец, молил: «Помогите, отец, подскажи, как быть...» И чудо случилось: «Тулио, Тулио! — ошалело закричал Доменико. — Скорей сюда, и ты, Дуилио, сеньор Джованни, Кумео, Кончетина, Сильвия, Винсентэ, все, все идите сюда, скорее!» Первым примчался запыхавшийся Тулио, за ним Цилио, Александро, сбежались все, встревоженные — не змея ли укусила, а Доменико стал на колени перед Анной-Марией, обнял за ноги, припал к ней щекой и вскричал: — Люблю ее!

Анна-Мария опустила руку ему на плечо, подняла на ноги, заглянула в глаза долгим взглядом и неожиданно поцеловала в щеку онемевшего странника, Доменико.

— Просто произошло все.



— На какой день назначим? — спросил Джино. — Не провести ли завтра — погода обещает быть пригодной — летние игры... Перестань, Уго, прекрати.

Увлеченному своим красноречием Дуилио угрожал злой безумец: «Красная кровь на зеленой траве...»

— Однако, полагаю, что послезавтра предпочтительнее, пусть всюду раздастся звонкий девичий смех и сверкают улыбки юношей, — рассуждал Дуилио.

— Да, пожалуй, — послезавтра, поистине разумное решение, — произнес Винсентэ, застегнув ворот.

— Оздоровление, укрепление тела способствуют бесперебойной подаче мозгу все новых жизненных сил, — заметил Дуилио, такой, какой был, — а это — воистину прекрасно. Что за свадьба была!..

— Да!

— Еще бы!

— Какое вино, какие поросята!..

— А тот человек куда делся?

— Кто — беззубый? Переехал куда-то.

— И одних оставил в кирпичном домике? Чего не покрасят...

— Теперь покрасят, у Доменико много денег.

— Не в деньгах дело... Деньги и у него водились, — не по вкусу им розово-голубые дома.

— Нервы ему понадобятся, будь здоров — слушать да слушать ее игру.

— Не вижу смысла устраивать игры, — вернулся к теме беседы Цилио. — Джузеппе с его силищей все равно всех превзойдет, во всем будет первым.

— Нет, Цилио, нет, при продуктивной деятельности ума всегда можно найти остроумный выход из любой ситуации, необходимо лишь напрячь ум... Предлагаю не засчитывать побед Джузеппе, не принимать их во внимание.

— В порошок нас сотрет!

— А мы тайком, между собой, ему не скажем, что не признаем его побед.

— Хвала тебе, Дуилио!

— Не человек, а кладезь ума, мозг сплошной!

— Умная голова, умная...

— В эту умную голову и всажу нож, — шептал обозленный Уго.

— Уймите, наконец, отрока! Извел...

— Хоть бы Доменико появился, сразу смоемся.

— Доменико? Да, верно, боится его... А почему?



УДК 82.09
ББК 84.030.01

Анна-Мария лежала на широкой тахте, укрытая простыней, и двумя маленькими волнами выгибались плечо и бедро. В открытое окно веяло летним теплом. Как менялась она во сне! — сокрывшись в далеком краю, затерявшись в недосыгаемой дали, утомленная игрой, изнуренная, она менялась во сне, казалось, обретала покой. Слабая женщина, смиренно-покорная непостижимым звукам, словно разгоралась тлевающим в ней огоньком, погружаясь в сон, и даже на лице проступала, мерцающая, счастливая беспечная улыбка, и ревность терзала Доменико — кому-то другому улыбалась его жена. Они жили одни, вдвоем, в кирпичном некрашенном домике, но кто-то еще, кто-то другой незримо крутился там постоянно... Играла — была с тем, другим, а когда не играла — к тому же другому стремилась... Анна-Мария спала, мерцающая улыбкой, плавно блуждала где-то вдали, в лиловых покоях беспечного сна...

— Или в спину, Дуилио, под лопатку всажу, со спины ближе к сердцу.

— Почему ты знаешь, парень! — подивился Дуилио и тут же поправился: — Откуда у этого отрока столь специальные познания.

— Цыц! Пст! — оборвал его Александро.

— Завидуешь? Завидуешь моей отточенной речи! И потому обрываешь мои словесные достижения, обусловленные с одной стороны и тем...

— Пст!

— Убью! Пустите, убью! На «псты» перешел, слова не достаивает, до чего дошел! Пустите, искромсаю его своим миланским кинжалом! На куски, на куски изрежу!

— С ума сошел, Дуилио?! — всполошилась тетюшка Ариадна, держась рукой за сердце. — Что ты, как полоумок Уго, заговорил...

Жалкой казалась, была неумелой в час, когда занималась стряпней... Страдала от лука, тщетно пыта-



лась найти в пучке зелени базилик и беспомощно, ви-
 новато взглядывала на Доменико, он хватал корзину
 и бежал в лавку Артуро, а-возвратившись, шаледа
 играла Анна-Мария, играла волшебница, чужая ему и
 далекая, вся во власти Властителя звуков, ее над со-
 бою вознесшего. И все, все даровал он своей владычи-
 це: море, во мраке зловеще бурлящее, пенное, воздух
 расветный, упоительно чистый, смелую душу птицы мя-
 тежной, а главное — вечные тайны. Играла женщина,
 чужая, далекая, далью туманной сокрытая, владычица
 звуков неукротимых, непокорных и укрощенных,
 играла женщина, и какая! — там, в своем мире, чужом
 ему миру, ступала уверенно, вольно летала, всемогу-
 щая, недостижимая, и умела скорбеть, на земле трепы-
 латься и взвиться мгновенно, ввысь устремиться —
 все выше и выше и с такой высоты озирать бранный
 мир, — когда облака лишь бывали помехой!.. Засне-
 жены горы, и снежным обвалом, горою в морскую пу-
 чину рушится радость!.. И уже из воды вырастает во-
 дяная громада, в величии грозном, вздымаясь, возно-
 сится к небу — исполинским цветком, — и это она...
 Что за силу таили ее нежные пальцы — могуче когти-
 ли блестящие клавиши и грифом крылатым налетали
 на струны, щипали и били смычком, как хлыстом,
 неужто она была — слабой, беспомощной! И вдруг
 становилась и мягкой, и нежной, безвинный младенец
 сопел будто в комнате, ребенок резвился в траве, но
 сильнее всего, ощутимее — голос травинки, певчатый,
 выпрямлялась как будто трава... Озябшая, грелась на
 солнце, о, тепло, ласково-щедрое солнце, и воздух, во-
 да — беспредельное счастье... Полный колодец, до кра-
 ев переполненный, и луна на поверхности — давняя-
 давняя, знакомая, старая. Все было звуком, звучала
 улыбка... Играла женщина, прекрасная и такая чужая,
 всем существом, другому преданная, и хорошо хоть со
 спины ее видел растерянный странник... но мы, я да вы,
 двое бродяг, которых в Краса-городе обозвали мерзав-
 цами, мы ведь знаем, на кого взирала женщина, со-
 мкнувшая веки, знаем, кому улыбалась волшебнопала-
 лая, Доменико ж в досаде зло швырнул корзинку, и
 Анна-Мария испуганно обернулась на глухой удар, сме-
 шалась, а внизу, на полу, красное сочное яблоко тихо
 докатилось до дальнего угла, простое яблоко...

— Ныне, когда отвеяло подступившее дыхание летних игр — и в этот самый день начинаются игры, считаю необходимым напомнить об огромной заслуге, которая по стопам сопутствует летним увеселениям — летним играм, — вещал с горки Дуилио, такой, какой был. — Что другое, если не игры подают мозгу все новые и новые жизненные силы?! Победит тот, кто напряженной, целенаправленной тренировкой вдохнул жизнь в свои руки-ноги... Сначала посостязайтесь в беге, мои разумные, — пробегите отсюда вон до того дерева, коснетесь его и, обежав, вернетесь назад, понятно? Вопросы есть?

— Сеньор Дуилио, дерево справа обежать или слева?

— Все равно. Впрочем, нет, слева. Есть еще вопросы?

— Какой рукой коснуться дерева?

— Какой? Правой. Есть еще вопросы?

— Есть! Чего твой сын без конца в Камору таскается, если ты порядочный человек? — спросил Александро.

— Причем тут мой сын! — завопил Дуилио. — Во-первых, у него друзья детства в Каморе, а это исключительно благородное, святое чувство, чрезвычайно способствующее облагораживанию отношений между людьми, что... это первое, а во-вторых, это один...

— Хва... хватит, — оборвал его Александро. — Пст!

— Как любил ее Доменико... Уже издали жаждал приласкать ее, издали гладил по волосам и готов был очистить путь ей ладонями — у любви были длинные мягкие руки.

— Нет ли сестры... у тебя, Анна-Мария?

— Нет.

— И не было?

— Нет. Я одна.

— Да, верно, одна, — улыбался он. — Странно, где-то, когда-то...

— Что...

— Будто встречалась мне...

Улыбалась задумчиво. Самая большая красота — возвышенная простота... Где-то видел ее...

Улыбался, садился рядом и скованными невыразимой любовью пальцами расчесывал ей волосы, поправ-

лял на виске волной наползавшую прядь, обнимал за плечо и целовал ее в щеку. Замирала, смешавшись с Анна-Мария..

— Победил Джузеппе, — отметил Дуилио, подмигнув Винсентэ. — Первый приз заслужил наш Джузеппино — брависсимо, браво... Как и в беге, а в прыжках в длину показал завидные результаты — ровно сорок девять вершков...

Но когда играла... С утра раннего слышал он звуки — голос Властителя, и в полусне душа его наполнилась счастьем, но вдруг пробуждался, охваченный гневом и ревностью — кто был в конце концов этот настырный повелитель Анны-Марии, этот — третий, незримый, любимый ею более мужа, предпочитаемый жизни самой... Но когда он входил в ту заветную комнату, Анна-Мария, будто застигнутая врасплох, уличенная, обрывала игру и виновато клонила голову: грешная душа, Доменико, смущенный, обеспокоенный, пальцами брал ее за лицо, откидывал голову — заглянуть ей в глаза, но Анна-Мария отводила глаза. Доменико обнимал ее крепко-крепко, прижимая к себе, целовал в глаза, и ком подкатывался к горлу — болела, страдала душа. Закрыв глаза, целовал ее в щеку и ощущал, как отогревалась в ожидании женщины, благодарная, до того благодарная, и Доменико охватывало желание увидеть затуманенные слезой глаза, заглядывал в них, но все равно — чужой была, совсем чужой... другому предана! А выйдя на улицу, он слышал печальный голос одержавшего верх Властителя звуков...

— И в этом виде игр победил признанный Джузеппе, молодец! А ты почему не метал, Дино, что с тобой случилось?

— Желудок болит очень... сеньор Дуилио.

— Что болит? — насторожил уши Джузеппе.

— Желудок.

— Давно?

— Месяца два уже.

— И не тренируешься?

— Какая там тренировка, еле на ногах стою.

И хотя Джузеппе отлично помнил, что Дино четырежды прочил его, все же уточнил:

— Правда, еле стоишь на ногах? Не врешь?..

— Страшно болит, воду и то не могу пить.
Дино согнулся дугою, прижал руки к животу.

— Как же ты посмел, в тот день, у Артуро...

— Ладно, Джузеппе, расквитался б со мной, когда я здоров был, а какая честь колотить больного, ослабшего, недостойно мужчины.

— Я превзошел всех в беге, в прыжках, в поднятии тяжестей, э-э... в метании. Превзошел?!

— Да, но...

— Кому смеешь «нокать», сопляк!

И Джузеппе размахнулся своей десницей — могучей из могучих. Но от удара грома не последовало. Он раздался тогда, когда Дино, ловко увернувшись, легонько взмахнул рукой, а потом глянул на распластавшегося Джузеппе и весело сказал: — Попался, провел тебя — ничего у меня не болит...

Но не до него было краса-горожанам.

— Скорее воды... Помогите ему, воды...

Сначала побрызгали в лицо ему обычной водой, потом побежали в лавку за розовой, потом принесли красную, наконец — зеленую, в конце концов послали Кумео за желтой, но он сам выпил ее по дороге, пытались даже «шипучкой» привести в чувство, но все было тщетно, и Артуро убедительно сказал: «Пустите, я знаю, что ему поможет, пропустите» — и потрепал его по щеке. Джузеппе тут же дал ему затрещину, и пока приводили в чувство Артуро, Дино стал над головой подурачки присевшего голиафа и спросил:

— Кто победил в беге?

— Я, сеньор, — робко ответил Джузеппе.

— В поднятии тяжестей?

— Я, сеньор Дино.

— А в прыжках и в метании?

— Я.

— Так вот, учти — бег, прыжки, метание — не драка, и представь себе, даже бокс и борьба не драка, — сказал Дино и хитро улыбнулся. — Драка — нечто совсем другое, птенчик...

Доменико робко на цыпочках ходил по главной комнате неказистого кирпичного домика. По той самой комнате, — полной инструментов. Сколько их было все-таки, разных... Анна-Мария ушла за покупками, и До-

менико, улучив момент, упрямо выскивал среди инструментов примолкшую душу Властителя звуков — недоступного врага своего. Солнечным днем в затененной ставнями комнате искал ощупью, шарил рукою, но тщетно, однако чувствовал — музыка была всюду, всюду царил Властитель, затаившийся в недоступности тайной... Коснулся рукой инструмента во мраке и замер в тревоге, что-то кольнуло в самое сердце, как будто услышал далекое, смутное... Осторожно достал из футляра незнакомый предмет — длинный, со струнами, и приложил к нему ухо — слышалось что-то понятное избранным, ему ж — непонятное, и решился — тронул несмело тонкую струну... отозвалась струна, коротко звякнула. И этот слабый звук был звуком Властителя, но только прахом ничтожным под ногами все-сильного... А звуки, дарованные Анне-Марии, были голосом самой души его, звучали в бескрайней душе Властителя, Анна-Мария была избранницей, была владычицей, им возвышенной, и Доменико, своей причастностью к ней ободренный, на миг ошарашенный звуком ничтожным, грубо касался соковок в главной комнате кирпичного домика, в темной комнате...

Юный безумец Уго нашел в роще длинный узкий нож. Запустил в воробья свой деревянный, промахнулся и, нагнувшись поднять, застыл — в какой-то пяди от него блеснул вожделенный нож, то, что прятали от него старательно. Уго смотрел на нож, и в его сумрачных глазах всплеснули хвостом пепельные неповоротливые рыбки.

На нож смотрел Уго.

— Невезжды пустоголовые! — с утра негодовал Александро. — Прислушайтесь к моим словам! Вы не знаете цены борьбе, долгой, разумной, с успехами и поражениями... Если б ведали — что значит борьба... Нигде не бываете, ничего не видите, не разумеете... Не знаете даже той простой истины, что, где земля все дает сама, где не нужно поливать ее, обрабатывать, там ленив народ, беспечен, а потому и туп, тупеют там люди... Задумайтесь над собой...

Уго ходил по улицам, упрятав нож под рубашку, крепко прижав к груди. От холодного лезвия пробирала дрожь, но дрожь согревала его... Уго всматривался в гулявших на улицах краса-горожан. Кого?



Может, этого?.. И окинул взглядом Александрo, нетoеи
разгневан сейчас... А если всадить в Джузеппе ^{с его}
бугристыми мышцами? Прямо в горло, в горло... Нет,
Джузеппе придушит его, как котенка. Что если в
Антонио? Нет, с ним Винсентэ, их двое... Уго не спе-
шил, теперь, когда дошло до дела, хотел все взве-
сить, продумать... А если Дуиллио? В живот ему?.. Нет,
растерзают его краса-горожане, кумир он их... Тогда,
может, Дино? Его не убить — ловкий, шустрый, само-
го Джузеппе бьет... Артуро?

В главной комнате кирпичного домика метался
между инструментами Доменико...

За Артуро родные накажут... А что если ночного
стража?..

В смятении разглядывал Доменико инструменты,
а по улице крался на цыпочках Уго...

Да, подстеречь Леопольдино. Но он очень осторож-
ный, а ночью и не увидишь — как он скорчится, как
польется кровь... Хорошо бы Терезу — красивая, и в
крике ее будет особый смак. Нет, она и кричать не
станет, ловкая, проворная, еще и нож отнимет, а
Сервиллио? Опасно, страшно, с Каморой связан, сам
прирежет его... А если, скажем...

И заползла в свирель, позабытую на траве, кро-
шечная иоркала чи. Притаилась, свернулась, уложила
головку на тоненький хвостик и взглядом змеиным сво-
им повела по отверстию... Но Реса виноват был...

Уго оставил шумную улицу, свернул на безлюд-
ную, тихую, стал за углом, притаился... Затаился в
засаде — боялсядохнуть, но сердце стучало так гром-
ко...

Неподалеку, через три улицы, шла Анна-Мария.
Изумленно, испуганно, радостно слушала новый, дото-
ле не слышанный звук — под сердцем билось сердце
ребенка.

И Реса, найдя свирель, спрятал за пазухой, напе-
вая беспечно, пустился домой, змея ж, затаившись, сво-
ей дождалась минуты... Но Реса был виноват. А здесь
прижимался к стене, прижимая к себе блестящий нож,
Уго, безумец. — до него доносились шаги. Напрасно
касался струн Доменико — ни одна не звучала, какую
б ни тронул — не отзывалась. «Уба муш нугалам, гир
нугала-ам», — разносилось вдали, и мрачнел предводи-



тель. Шла настороженно Анна-Мария, Властителю ков великому равная — у себя, в своей комнате здесь, на улице, растерянная, и еще этот стук, биение под сердцем... такое чистое. За поворотом прятался Уго, затаивши дыхание, а воздух уже напитался приторным запахом крови... И Реса, напевая, приложился к свирели губами — и змея, возбуждаясь лениво, бесстрастно, шевельнулась, оперлась о запевшее дерево хвостиком, изогнулась слегка, вытянув тельце. «Крепость выросла на горе, выросла в понедельник день, опоясалась она стеной, укрылась небом-шапкою, хе-е, хе-е...» — пел беспечно Реса, но он виноват был. Уже по соседней улице шла женщина, а в комнате тшцетно щипал струны скиталец... И трепыхались насекомые — наивные жертвы хищных растений... «Ги-ир пугалам, урмах нугала-ам...» «Мне б такую, как ты, полнотелую, мне б коснуться губами груди-яблока... хе-хе...», — пропел Реса и снова рванул свирель ко рту — но он виноват был, виноват был и предводитель, терзаемый совестью, он метался в шатре, и терзался, метался по комнате странник — почему не звучат инструменты, почему он не слышит их звона, — не оглох ли, топнул с силой об пол — стук расслышал отчетливо, растения-хищники поджидали в болотах насекомых, наивных, и дрожал, притаясь за углом, Уго, безумец, настороженным шагом повергнутый в трепет, и в глазах его чуяли кровь, придававшую силу, неуклюжие, вялые рыбки — извивались нетерпеливо, а Доменико зло рванул струну в ярости, и, когда, оборвавшись, прозвенела она обреченно, выдавая его, — он расслышал звук... и в отчаянии кинулся прочь, на улицу, а поблизости юный безумец, оказавшись лицом к лицу с жертвой, набирался сил из испуганных глаз женщины-серны, беспомощной, и свалился у ног Отца Реса, но он — виноват был. «Когда не было змеи и не было скорпиона...» — орал на своем языке великан, и просила, молила сжалиться взглядом чудных, косо прорезанных глаз Анна-Мария, но подстегнутый этим упрямый безумец дерзко вскинул нож и, вспомнив: «Под лопатку, со спины ближе к сердцу», сбосел ее сзади, а Анна-Мария, с ребенком, трепещущим, оцепенела и только корзинку со снедью обронила на землю, нет, не закрывайте глаз, знаю, что трудно, знаю, что тяжело, но мы, я

и вы, бродяги незримые, те, которых краса-горожане обозвали мерзавцами, знаем, как вдохнул глубоко-глубоко-приторный воздух, вскинув руки с ножом, — безумец, как всадил глубоко под лопатку в роще найденный нож... Настоящий нож. И кинулся прочь, убежал, на бегу оборачивал голову и, обернувшись, не видя, налетел на кого-то, бешено глянул и вздрогнул — перед ним стоял Доменико... Оба застыли оторопело, смотря удивленно, а там, за углом, испускала дух Анна-Мария... Уго в страхе рванулся, побежал во весь дух от него, Доменико ж подумал: «Не пойму, почему избегает меня», и тоже понесся, но только к Анне-Марии, и, когда налетел на упавшую ниц и когда повернул к себе самую звучную смолкшую струну, обомлел:

Совсем чужой была, другому преданной.

В НЕВЕДОМЫЙ ГОРОД, В ПУТЬ...

Снова вы здесь? Опечалены... А спросили б меня... И все же давайте обойдем Краса-город, — мы скоро покинем его, последуем за несчастным скитальцем... У роши, за городом, холмик, цветами осыпанный... Доменико, лежащий ничком на постели, у изголовья люди, — в доброте своей, в жалости невольной виновные — в скорби хочется одиночества. Сочувствуя, опустили руку на плечо ему, а он только глубже зарывался лицом в подушку... Далекий запах скошенных волос Анны-Марии. Анна-Мария — в земле!.. Что ей там надо!.. Так очевидно, так явно все, что случилось... Случилось?! Все затуманилось, навалилась страшная тяжесть, чьи-то руки и голоса: «Ах, какое несчастье», «Бедная женщина»... Запах охалки цветов, душивший волосы Анны-Марии, и снова чьи-то «ах» и «эх», искреннее горе краса-горожан, ненадолго очищенных и возвышенных горем... Скорбел Доменико, повалясь на постель. Разве знал кто, как он любил... И хотя ему ни разу не пришлось в голову наложить на себя руки — из деревни был все же, а в деревне стойко сносят горе и скорбь — мечтал умереть, быть убитым чужой рукой...

И решил отправиться в разбойничий город — в Камору...



Артуро заставил его умыться, у ворот поджидало ландо — надо было съездить в рощу, к срубленному дереву. Не для себя хотел денег, знал — с драхмами быстрее прикончат... Но все равно, выходило, что для себя хотел денег... И тут появился к нему Александро. О, как некстати... Взорвался, раздраженный: «Некогда мне!»

— Послушай, Доменико, — Александро подошел к нему совсем близко. — Я сберег тебе целый час, так удели мне пять минут.

- Какой еще час...
- На, бери свои драхмы...
- Вы... знали?
- Конечно.
- И не присвоили.

— Не будь ты в горе, в трауре, влил бы пощечину, — рассердился Александро. — Как не оскорбляли меня, но так! Никто и никогда не смел! Слушай меня. Я оставил там, в роще, тысячу драхм, они тебе очень понадобятся, но позже, когда не станет этих — здесь почти четыре тысячи восемьсот. Не расстраивайся, что мне известны твои тайны — я же наблюдаю за всеми вами... Знаю — ты хочешь ехать в Камору, и зачем — догадываюсь.

— Вы... — Доменико смутился. — Вы... Разве вы не сумасшедший?

— Ты что — с ума сошел? — улыбнулся Александро. — Нет, понятно, просто чересчур разумных принимают за сумасшедших. Перейдем к делу. У меня есть брат, лет ему немало; но возраста его не определишь — есть такие люди... Мы с братом служим одному делу — кактусу, ты помнишь?.. Но если я, когда это требуется, и выгляжу шутком, болтаю и потешаю — так нужно в этом городе, — то он, о-о, он скрыт под чужой личиной и как скрыт! Прости, Доменико, не могу его назвать... Но знай, он будет твоим незримым спасителем. Ему уже известно, что едешь в Камору. В Краса-городе только двое имеют тайную связь с Каморой — я и Дуилио, но у него — преступная связь, грязная... Понимаешь, что значит преступная связь, грязная?

- Понимаю.
- Не нытайся узнать, кто мой брат, все равно не

догадаешься, в ком угодно заподозришь его, даже на самого маршала Эдмондо Бетанкура, может, и подумает, но только не на него самого, вполне возможно, вообще не доведется познакомиться с ним. Со многими подлецами и мерзавцами столкнешься, но надеюсь, минуешь гибели, надеюсь, повидаетешь славный город Канудос.

В упор смотрел на него Александро.

— До сих пор, Доменико, ты был тестом, сырой глиной, не обижайся, но и в Каморе не обретешь формы, тебя еще будут месить, мять, раскатывать. Разве что в Канудосе постигнешь что-нибудь и обретешь себя... Артуро отвезет тебя, высадит не доезжая Каморы, ночью, разумеется. Из страха не довезет до самого города... Дальше пойдешь один — к темнеющей громаде — это Камора ночью... Без страха войди в ворота — мой брат будет незримо опекать тебя. — Александро примолк, слова вертелись на языке, но трудно было произнести их, он опустил голову. — Прости, Доменико, я должен упомянуть имя Анны-Марии. Оплакивай, скорби, горюй, но знай — не многие прожили на свете так чисто, так правдиво и честно... Ты думаешь... думаешь, она несчастна? Эх, глубины... глубины постижения... Ну, всего, ступай.

И поцеловал его в голову.

СОВСЕМ В ДРУГОМ ГОРОДЕ

В темноте, в зловеще разлившемся безмолвии, казалось, звенело все; не различал домов прокрававшийся ночью в Камору Доменико.

Какое-то время ощупью пробирался вдоль стен, мимо накрепко, наглухо запертых домов и калиток... — смерти искал скиталец в разбойничьем городе. Потом остановился, вжался в стену, дрожа — смерти жаждал, смерти искал он в чужом городе, и кто-то бежал к нему — осторожно, бесшумно. Мешочек выпал у него из рук, он зажмурился, а тот темно пригнувшийся налетел на него и всучил мешок еще большего размера, бросив скороговоркой: «Подержи, хале, будь другом, хале, беги в ту сторону, а я побегу в другую, — собьем их со следа, у меня четверо детей, хале, а я и за ней, как за родным ребенком, уха-

ВР
16025340
212-1110333

живал...» — и скрылся. Ошарашенный Доменико все глаза смотрел на мешок — мешок дергался, цепившись к нему, такого видеть еще не приходилось, и он смотрел, пока его не схватили и не вырвали подпрыгивавший мешок. «О-о, хале, подойди ближе! Ну-ка, посвети на него! Ого! На здешнего не похож, пошли, пошли, хале, и этот твой?» — Он пнул ногой мешочек с драхмами. Неизвестные ходили на привидения — в черных деревянных накидках, невероятно, но в деревянных же шапках, и лица были спрятаны под деревянной маской с узкими разрезами для рта и глаз. «Забирай и этот мешочек, хале...» — голоса из-под маски звучали приглушенно, шипяще, сами были босые и с Доменико стянули его высокие сапоги и понеслись, помчали его куда-то, на углу всякий раз останавливались, отрывисто свистели, сунув под маску свисток, и бежали с ним дальше... Наконец чудно постучались в какой-то дом, ввели его в комнату, светили фонари, на роскошной тахте зевал со скуки, лежа на боку, человек, Доменико встретился с ним взглядом, и у него подкосились ноги — бывают такие глаза... Двое, что привели Доменико, сняли свои деревянные маски, накидки приставили к стене и преспокойно вытащили вонзившиеся в них узкие ножи... «Кто таков?» «Смертный преступник, — ответили ему. — Вот с чем поймали, — они пнули прыгавший мешок. — Да еще нездешний вроде бы!..» «Нечего сказать, дожили, чужаки по ночам шляются по городу, да еще с этим... А ну развяжи». Что творилось! — из дрыгавшего мешка вынули кошку с завязанной мордочкой. «С когтями она?» «О-го, не когти, а клещи, хале». «Ты пришлый?» — обратился к Доменико человек. «Да». Спрашивавший хмыкнул, встал и спросил неожиданно учтиво: «У вас родственники в верхнем районе, сударь?» «Нет». «Со всем-совсем никого, хале?» «Нет». «Может, вы с поручением прибыли, хале?» «Нет». «Чего же вели сюда? — недовольно бросил человек и снова разлегся. — Уведите, уведите, прирежьте... гдѣ-нибудь подальше... А мою пуговицу нашли?» «Нет, хале... Сбросить его потом в овраг?» «Бросайте куда хотите... Наверно, плохо искали». «Хорошо искали, хале... Снять с него одежду или...» «Не знаю... Что на нем...

А под тахту не закатилась...» «И под тахту загляды-вали, хале. — Они осветили Доменико фонарем. — Ого, как хорошо одет, хале!» «В самом деле? — усомнился человек. — А в мешочке у него что?...» «Не смотрели, хале». «Загляни-ка, Чичио...» Приземистый каморовец ловко развязал узелок, заглянул в мешочек и запустил даже пальцы, ошалел: «Драхмы, хале!» «Что ты говоришь, Чичио... — Человек встал, растерянно шагнул к Доменико, тоже заглянул в мешочек... — Извините, сударь...» — он стоял на коленях!

И Доменико понял — смерть поджала хвост, улизнула из крепко запертой комнаты.

— Простите, сударь, — человек продолжал стоять на коленях. — Простите нас, как я мог подумать. Вы так просто держитесь, простите, да?

Доменико упорно молчал.

— Сколько в мешочке, сударь?

— Около четырех тысяч восемьсот.

— Что-о! Четыре тысячи восемьсот раз желаю вам здоровья, хале, — встал без позволения, отряхнул с колен пыль. — Видно, маршалу доводиться кем-то... Великому маршалу, значит.

Молчал Доменико.

— А мешок с кошкой... В самом деле ваш?

— Нет.

— Чей же?

— Кто-то всучил мне.

— И вы взяли?! Вот это мужчина, вот это мужество, верно, Чичио? Взять на себя такое преступление, но, видимо, родственник маршала... Чего вам бояться, верно, хале? — голос звучал ласково. — И все же, как вы решились, да еще без накидки, хале... Есть где переночевать, хале?

— Нет.

— Отведи его ко мне, Чичио... Впрочем, нет, меня не ждут, дежурный у меня ловкий, скорый... Как же быть... Веди его к Скарпиозу! — И радостно объяснил: — Впустит, ждет меня этой ночью. По пятому способу позвонишь, понял? Набрось на него хорошую накидку и шапку с маской... Дай-ка напиток, Чичио... — Пить ему хотелось — и он изволил быть человеком.

— По пятому варианту, слышите!

— Неужто не слышу, хале...

Снова пробирались вдоль стен. Низенький Чичио впереди, а он, худой, высокий — за ним.

Не слышалось ни звука — шли босые, сапоги Доменико держал под мышкой его проводник — оказывал ему уважение.

— Что это за кошка была в мешке... Зачем...

— Будто не знаете, хале?

— Не знаю.

— Не услышал бы кто... На ухо скажу, хале...

И, таинственно приблизившись к Доменико, Чичио неожиданно скинул с него деревянную накидку и пырнул было ножом в живот, но из-за спины Доменико кто-то ловко ударил его по руке.

— О-ой... Ой, хале! — взвыл Чичио. — Чего не сказали, что вас охраняют! Никогда б не посмел, не дурак же я...

Доменико оглянулся — за ним никого не было.

— Простачком представились, разве можно так издеваться над человеком, — упрекал Чичио, перевязывая руку. — Нельзя так...

Кто ж его спас, интересно... Брат Александро?

— Я хотел сказать вам, что у нас запрещено держать кошку, а с когтями и подавно!

— Почему?

— Мы по ночам ковры вывешиваем на балконах, хале, так принято, взгляните на дома, хале, видите?

Ничего не было видно.

— Чего нам скрывать свое богатство, хале, самые дорогие ковры вывешиваем. Балконы высоко — три человека станут друг на друга и то не достанут, и ничем не стащить ковер вниз так просто, как кошкой. Завяжем кошке мордочку, хале, привяжем к ней веревочку и подбросим к балкону, она вцепится в ковер, а мы рванем за веревочку — и ковер наш, верно, хале?

— И потому запрещены кошки?

— Ага. Только у маршала Бетанкура есть, хале.

— А что значит «хале»?

— Ничего, просто так говорим.

— Как это — просто так...

— Дурачите меня, хале?..

Дошли. Станным манером постучался Чичио.

— Не входите!



- Почему, хале?
- Сначала укроюсь в комнате.
- Не доверяешь? Это я, Чичио...
- Ишь, обрадовал! — Хозяин хихикнул и, уже запершись, сказал: — Вон в ту комнату проходите.
- Почему ты знаешь, что нас двое?
- Знаю.
- Может, и то знаешь, чей он человек?
- Знаю, маршала Бетанкура.
- Кто тебе сказал?
- Откуда я знаю, кто-то постучался по пятому способу, вроде вас, и сказал.

Едва вошли в указанную комнату, раздался удар.

— Ой, хале! И тут у вас свой человек! Чего не сказали, что вас охраняют! Все зубы выбил...

Чичио заскулил.

— Не могли сказать, хале? Разве решился бы я во второй раз, не дурак же я... Нельзя так, хале. Ну дайте хоть драхму...

— Завтра получишь, — сказал Доменико. — Уходи, оставь меня.

— Да, забыл, хале, не хотите хорошей женщины?

— Убирайся!

— Вот вам ключи, хале, запритесь и шеколду накиньте, хале, если с тобой случится что — шкуру с нас сдерут.

Он лежал на постели в запертой комнате. Не снял ни накидки, ни маски. Лицо стало влажным. Совсем один был тут, но все равно ощущал кого-то, различил во тьме бесформенное, неопределенное пятно на потолке, один был, но знал — кто-то любит его! Нет, не брат Александро, и не сам Александро, кто-то совсем другой, более близкий...

Вот и Камора...

После двухдневной езды ныл затылок, болела голова, но уснуть все равно не мог.

И в Каморе был, оказывается, ночной страж, но не боязливый, запуганный, как Леопольдино — ах, как жестко, громко и мощно пронеслось вдруг:

— Три часа но-очи, и все гениииааальнооооо.

Перевод Элисо ДЖАЛИАШВИЛИ

ТБИЛИСИ

Уступ за уступом,
Над террасой — терраса,
Над домом — дом.
К небу —
 в небо —
Из глубины
 веков...

Утром,
Когда из сиреневой дымки
Постепенно всплывают громады домов,
Сплетения кровель твоих черепичных
В старом
 кирпичном

 городе,
Замок над зеленоватой Курой
На скале крутой...

Утром,
Жемчужно-розовым утром,
Когда зной еще спит
И Нарикала полна белокрылых снов,
И отголосок древнего Востока —
Минареты на юго-востоке —
Пусты и безмолвны,
Прозрачным и звонким утром
Я выхожу...

Как к святыне,
Иду
 к тебе на поклон.

Я захожу в тебя, как в море,
Погружаюсь в твою красоту.
...Я спускаюсь
С Цхнетской дороги,
А ты передо мной
В величественном полукруге

Лиловых

далеких

гор...

И — белые взлеты сабурталинских домов!

Я прохожу по улице

И вижу стены

строящегося дома.

И мне хочется,

чтобы это

Был самый прекрасный

в мире

дом.

Я брожу по улицам...

А улицы твои — как в сказке:

Идет и кружит, и вдруг — оборвется,

кончится,

Замрет над кручей... и вдруг —

вновь откроется!

Ты весь — как волшебная сказка, Тбилиси,

Ты сила моя, Тбилиси,

Ты мое сердце и ты моя боль,

Тбилиси, во мне —

Твоя кровь.

ЗНАМЕНИЕ

Где та, где та Коджорская дорога!

Мне кажется, я видела там бога,

Спускавшегося с ношей на плече.

И было знаменьем виденье,

Но тайна мудрого реченья

Повисла в воздухе пустом.

А в небе знойном, в небе чистом

Плыл самолетик серебристый, —

Чертил загадочные письма...

* * *

От Севильи до Саламанки

Я когда-то ходила пешком

Легкой поступью полуиспанки,

С иберийским открытым лицом.

...Разбивается в ночь чье-то сердце
И сливаются чьи-то уста...

От Трианы до Сололаки
Путь далекий пролег на восток,
Где в июне пылают маки
И граната нежнейший шелк.

...Разбивается в ночь чье-то сердце
И сливаются чьи-то уста...

Эта истина очень проста:
От Толедо до сводов Кашвети
На коленях бы я приползла!

* * *

Как королева Исабель
Свои кастильские нагорья,
Я созерцаю, Коктебель,
Твое необжитое взморье.

В закатный час Хамелеон¹
Изменчив, призрачен, как сон
Неясный на рассвете.
Здесь в каждой вечера примете
Я вижу знак иных времен,
Иных земель темнеют очертанья,
И сердце в гулком ожиданьи
Свиданья с тайной...

Ах, королева Исабель,
К чему, к чему вам Коктебель!
Не знают здесь о Саладине,
Отважных грандов нет в помине
И каравеллы нет в заливе...
Не расцветет цветок в пустыне!

Но, королева Исабель,
Я песнь пою — пьяней, чем хмель!
Корона сердце вам сдавила,
А я вольней, чем ветры Крыма:
Картлийской крови дикий бег
Наш беспощадный, злобный век
Не смог в оковы заковать!

¹ Хамелеон — название скалы в Коктебельской бухте.

* * *

Я сошью себе новое платье,
Чтоб понравиться больше тебе.
Я сошью себе черное платье,
Чтобы горя не стало в судьбе.



Пусть все черное выльется в платье!

Зажигала я свечи в Кашвети,
В смугло-желтых румынских церквах,
И бросала я в море монеты,
Чей-то голос искала в лугах.

Пусть все горести выльются в платье!

Принимала равно я удары
И внезапного счастья налет,
Принимала в бесценный подарок
Боль, утрату, удачу и взлет.

Пусть все боли выльются в платье!

Я надену черное платье,
Заколдую навеки тебя,
Я надену новое платье,
И пусть к нам повернется судьба!

* * *

А любовь — что смерть:
Не сбежать. Сгореть.

* * *

Ты такая тонкая веточка —
Вот-вот переломишься
В моих загрубевших от горя
руках...

* * *

В этом мире все неповторимо,
И обратно реки не текут.
Если счастье пролетело мимо,
Вновь к нему пути не приведут.

Мы платим иногда
 Монетами из сгустков
 крови сердца
 За счастья призрачную тень,
 За солнца отражение в стекле
 иль в луже...

МОТИВ

«Когда зацветет олива,
 К тебе я снова вернусь...»
 Сказал — и ушел.
 С тех пор я покой забыла,
 Тревожен стал сон.
 Ищу я цветок оливы
 С тех пор...

В саду расцветают сливы...
 Персик цветет и гранат.
 В саду расцветают сливы...

Но нет цветка оливы
 В моем саду!

СВЕРШЕНИЕ

Этот дом, таинственный и странный,
 Много лет меня к себе манил.
 В этот дом, таинственный и странный,
 Я вошла, как парусник в залив.

Строго глянули со стен портреты
 (Лики — древнеримские монеты!)...
 Мрачно тлели красные отсветы
 От старинных абажуров и портьер.

Долго вслед скрипели половицы,
 Но аккорды вдруг разбили этот звук:
 Пели пальцы, как весною птицы,
 Пальцы тонких смугловатых рук.

Паутину ткал в углу паук...

Я вошла. И на меня глядели,
 От меня настойчиво хотели

Получить опаснейший ответ —
«Да» или «нет» на все вопросы,
Что роились в доме том, как осы.



...А я молчала.
Одного лишь я тогда желала:
Вновь вернуться в то начало,
Выйти из таинственного зала,
Ставшего обычным в пять минут!

Мне всю ночь звонил сегодня ветер,
Только зря хватала трубку я:
На мое «алло» он не ответил,
Уходил, коварство затая.

И звенели, пели стекла в рамах,
Рвались двери, слышались шаги...
И в неведомых пока октавах
Плакали навзрыд мои стихи.

* * *

Помню, когда-то давно
Ты сюда приходил.
Молча сидел.
Удивленно глядел на камин,
Нарисованный на стене...
А уходя,
Оставлял живые цветы,
Которые долго
Благоухали...

* * *

На огонек!
Я захожу на огонек,
Зажженный одинокою рукой.
Я приношу воды глоток
И хлеб сухой.
Усталость глаз не скрою.
Я на постой к тебе прошусь.
Я на постой прошусь...
А может — со скитаньями прошусь

И здесь, с тобой останусь!

Прими меня — вдвоем

твою прогоним грусть,
Как непогоду гонят солнца луч и ветер.

Прими — затеплим огонек большой свечи,

Откроем шире двери —

Пусть входят к нам погреться у печи

Все те, кто понесли потери,

Кого застигла буря, —

Пусть входят отдохнуть на полпути,

Откроем шире перед ними двери!

...Я захожу на огонек.

Как пусто тут и голо!

Я эти стены побелю,

И пусть

Твое жилище

станет домом!

* * *

Опять, опять!..

Бушующая сила

Помчит меня по вспененным морям,

И волны будут бить неудержимо

Обшивку медную

И ветер мачты будет рвать...

И очертания древнейшие земли,

Неясные в обманчивом просторе,

И алчущее солнце в знойном небосклоне —

Все будет внове, внове мне!

* * *

Солнце родного города!

Ты светишь ярче

И греешь теплее,

Чем все другие солнца

Всех галактик

Вселенной!

РУССКИЕ РЕБЯТА — Рассказ


Великая Отечественная война была в разгаре. Фашисты рвались вперед — к перевалам Большого Кавказа. Нашему управдому Калистратэ Цуладзе, в целях обеспечения безопасности населения, поручили устройство убежищ в подвалах больших домов.

И без того суетливому Цуладзе прибавилось хлопот и забот.

Жильцов было много, а разве хоть кто-нибудь безропотно и безболезненно соглашался выполнять его требования? Особенно серьезные бои пришлось ему выдержать в четырехэтажном доме, выстроенном года два назад. В этом доме имелся довольно глубокий и обширный подвал. Жильцы перегородили его вдоль и поперек и, как водится, загромождали всевозможным хламом.

С грехом пополам Цуладзе удалось наконец сломить сопротивление обитателей этого дома. После трудной победы Калистратэ решил оборудовать в отвоёванном подвале показательное убежище, чтобы остальные управдомы нашего района лопнули от зависти.

Откуда только понабрали жильцы столько стульев с продавленными сиденьями, расшатанных деревянных тахт, общарпанных комодов, железных кроватей, самоваров, дырявых чайников, негодных примусов, керосинок, железных треног, заржавленных утюгов, допотопных люстр, тазов, глиняных горшков, стеклянных, глиняных и фарфоровых банок, всевозможных котлов, кастрюль, кружек, черпаков, ящиков и еще бог весть какой рухляди! Огромное количество всего этого добра было извлечено на свет божий из недр нашего дома. Женщины на чем свет проклинали Гитлера, а заодно и Калистратэ Цуладзе за этот переполох.



Много чего выкинули в мусор, многое снова по- уносили в дом. Подвал очистили, с дверей сняли зам- ки — Калистратэ объявил, что запирать подвал пока не надо. А когда выбелили стены известкой, в подвале стало так светло и чисто, что человек, не имеющий крова, с удовольствием поселился бы в этих «апарта- ментах». Да, еще расклеили по стенам плакаты.

В двух комнатах второго этажа этого самого до- ма жили мы: я, мама и бабушка. Отец был на фрон- те.

Калистратэ Цуладзе принял бабушку на работу в домоуправление уборщицей и одновременно поручил ей надзор за убежищем.

Зима в тот год выдалась у нас лютая, от мороза камни трескались, и говорили, что и в самой России та- кой суровой зимы не упомнят.

Наш подъезд имел два выхода — один на улицу, другой — во двор. Жильцы решили запереть дверь, которая выходила на улицу, — для чего, дескать, столь- ко входов и выходов. Лестница с площадки первого этажа уходила вниз — ко входу в подвал, ныне убежи- ще, которое, к счастью, пока еще не понадобилось.

Я учился в седьмом классе и ходил в первую сме- ну, — а занятия в школах того времени велись в три смены. Нашу школу перевели из светлого просторно- го здания, которое заняли под госпиталь, в старое, тесное и запущенное помещение. Мы сидели по четы- ре ученика на парте, тесно прижавшись друг к другу.

Однажды ранним утром я шел, как обычно, в шко- лу. Спустившись вниз и уже было направившись к выходу в заснеженный двор, я вдруг заметил поднимав- шегося снизу, из подвала, мальчишку примерно моих лет. Увидев меня, он в испуге остановился и уставил- ся на меня. На нем была старая драная ушанка и такой же драный полушубок. Мы не успели разгля- деть друг друга, как вдруг из убежища на лестницу вы- бежал еще один мальчик и закричал по-русски:

— Гришка, Гришка! Вася-то помирает!..

Я оцепенел от этих слов. Что же это такое, кто эти ребята и кто этот Вася, который помирает? «По-мирает», надо сказать, прозвучало ужасающе.

Оба мальчика юркнули в убежище.

— Откуда они, кто они такие? — в недоумении спросил он бабушку.

— Из России, видно, бедняжки... Уж и не знаю, что делать с этими несчастными... Посмотрите, доктор, если у ребенка не тиф, мы его к себе заберем... Его-то заберем, а с остальными-то как быть?

Врач внимательно осмотрел больного и сказал:

— Хорошо было бы поместить его в больницу, но... как бы не кончился в дороге... Положение очень тяжелое. У него воспаление легких. Пусть остается здесь. Укройте его потеплее. Я пришлю из поликлиники фельдшерицу, она сделает инъекцию и все, что надо. И сам буду заходить. Увы, больше ничем помочь не могу...

Мы проводили врача. Потом бабушка объявила ребятишкам:

— Васю вашего мы заберем к себе. Здесь мы ничего не сможем сделать.

Ребята, услышав это, бросились к Васе, укутали его в одеяло, подняли на руки и понесли к выходу.

Кое-как добрались мы до нашей квартиры. Васю уложили на старом диване, где обычно спал отец. Когда товарищ очутился в надежных руках, мальчики вспомнили и о себе:

— Бабуля, а у вас поесть, часом, не найдется? — робко спросил один из них.

Поесть!..

Мама моя получала шестьсот граммов хлеба, бабушка — пятьсот, я как иждивенец — четыреста. Из этих полутора килограммов больше половины съедал я, что же могло остаться от всего нашего пайка!

А тут десять мальчиков, десять голодных ртов просят есть! Бабушка всполошилась, что, говорит, мне делать, стала извиняться, дескать, хлеба нет, и вытащила из своего тайника припрятанные на черный день две-три горсти лобio. Она поставила варить это лобio на керосинку, а ведь вариться оно должно самое меньшее три часа. Когда же что будет, подумал я.

На наши вопросы ребята отвечали скупой и неохотной. Я перезнакомился со всеми ними: Колька Мазуров, Лева Пастухов, Володя Чижов, Саша Сабиров, Алеша Храмцов, Митя Бочинин, Яша Малышев, Петя Марков и Гришка Хмелев. А Вася Бочарев горел в жару...

Бабушка хлопотала над Васей.

В кухне варилось лобио.

Алеша Кравцов, Митя Бочинин и Гришка куда-то вышли. Их долго не было, и бабушка спросила, куда они ушли. Ребята в ответ только пожалы плечами.

Бабушка дала мне рецепт, деньги и послала в аптеку за лекарством.

Было очень холодно. Я поднял воротник пальто, съежился и чуть не вприпрыжку помчался в ближайшую аптеку. Вдруг я услышал крики и из-за поворота навстречу мне выбежали наши ребята. Я сразу узнал их: Алеша, Митя, Гришка. В руках у каждого было по буханке хлеба. Они бежали как угорелые, прижимая хлеб к груди. А следом за ними, чуть не по пятам, с криками неслась целая толпа. В толпе я заметил и милиционера. Одной рукой он держался за револьвер, висевший на бедре, и, видно, колебался, не зная, вытащить его из кобуры или нет.

Я всем телом прижался к стене. Мальчики пронесли мимо такие ошалелые, что и не заметили меня.

Добежав до угла улицы, Алеша благополучно свернул в наш переулок, Митя поскользнулся, но удержался на ногах и тоже скрылся за углом, а Гришка вдруг полетел да и растянулся во весь рост на тротуаре. Хлеб покотился по обледенелому асфальту. Еще миг, и толпа настигнет и затопчет Гришку...

Милиционер раньше всех подскочил к Гришке и таким образом защитил его от толпы. Он схватил его за шиворот, поднял и поволок за собой. Мне стало жалко Гришку, до того жалко, что я едва не разревелся.

Толпа остановилась, предоставляя милиционеру решать судьбу Гришки. А Гришка покорно плелся за милиционером, взъерошенный, жалкий в своих лохмотьях.

Меня била мелкая и неудержимая дрожь. Не владея более собой, я рванулся вперед и закричал:

— Радуетесь, да, радуетесь?!

Бросившись вслед за милиционером, я кричал ему:

— Отпусти! Отпусти, отпусти!..

Милиционер приостановился и Гришка тоже. Ми-

лицонер продолжал крепко его держать и сердито по-
косился на меня.

— Разве вы не видите, в каком он состоянии! Го-
лодный он, голодный.. — кричал я, обливаясь слезами.

Однако милиционер ни на миг не внял моим воп-
лям и потащил Гришку в милицию.

Истерзанный вернулся я домой.

Фельдшерица уже пришла, уже сделала больному
укол и сидела теперь возле него.

Я вызвал бабушку в кухню и рассказал ей все,
что случилось. Она молча выслушала меня, молча
обулась в теплые ботинки, надела пальто, закуталась
шалью и, пройдя в комнату, обратилась к фельдшери-
це:

— Знаете, милая, — сказала ей бабушка, — мне
необходимо выйти ненадолго... вы сможете посидеть с
больным? — и не дожидаясь ее ответа, добавила: —
Что ж, другого выхода нет, придется посидеть.

Фельдшерица в знак согласия закивала головой.

Ребят не было видно, и я подумал, что они, верно,
спрятались в подвале.

Бабушка потушила керосинку, но кастрюлю с
нее не сняла.

— Я скоро вернусь, — наказала она мне.

Она ушла, а я стоял в коридоре и не знал, что же
мне делать. Фельдшерица неподвижно сидела перед
диваном. Вася дышал тяжело, с хрипом, и это совер-
шенно угнетало меня.

А что там с Гришей, где он? Эх, наверно, его заста-
вили рассказать про подвал и остальных ребят, сейчас
придет милиция и всех их заберут..

Я не мог более оставаться дома, нахлобучил шап-
ку и выскочил на лестницу.

Дверь в подвал оказалась заперта изнутри, и от-
туда не доносилось ни звука. Наверное, мальчики здо-
рово перетрусили. Может быть, услышав, что это я,
они отопрут?

Я крикнул, чтоб мне открыли, и постучал. Но все
было напрасно — дверь не открыли.

В это время на лестнице раздались торопливые
шаги. Обернувшись, я увидел бабушку в сопровожде-
нии Калистратэ Цуладзе и за ними — какого-то не-
знакомца.

— Заперлись они, не открывают, — сказал я. Цуладзе тоже казался взволнованным. Шись, он постучал. В ответ ни звука.

— Они действительно здесь? — взглянул он на меня, потом махнул рукой. — Ну да, ясно, кто бы изнутри запер дверь! — он заколотил кулаком. — Откройте! Мы вас не тронем... не обидим вас, ребята... дети, откройте!..

Я не представлял себе, что Калистратэ Цуладзе может произнести что-либо ласковое, но это «ребята» и «дети» прозвучало так, что у меня защемило сердце. Но и ласковое слово не помогло, не помогло ничего.

• Растерянный Калистратэ обернулся к незнакомцу: — Пойдемте в милицию!..

Бабушка поднялась домой, поглядеть на больного. Между тем стали собираться и соседи. Я все рассказал им. Они сказали так: беженцев весь наш город принимает, люди им свои квартиры уступают, и мы обязаны всячески позаботиться об этих детях. Потом мы все еще раз попытались уговорить затаившихся в подвале ребят открыть нам, но из-за двери опять не раздалось ни звука.

Мы стали ждать милицию. Никто не уходил. Бабушка дважды спускалась узнать, что и как, но никого не было видно — ни Калистратэ, ни милиции, ни того незнакомца.

Моему удивлению не было предела, когда в подъезде появились Калистратэ и незнакомец, а с ними — Гришка Хмелев. Гришка глянул на меня и улыбнулся как-то грустно и застенчиво. Подошел, хлопнул меня по плечу:

— Спасибо, браток, — проговорил он и шагнул к подвальной двери: — Эй, ребята, открывай, слышь, я это, Гришка!

Не успел он это произнести, загремела щеколда и дверь отворилась.

Ребята бросились к Гришке, стали обнимать его. А он обернулся к нам и сказал, будто к себе в дом приглашая: — Входите.

Надо было видеть, какими глазами смотрел Калистратэ Цуладзе на мальчиков, казалось, он сейчас закроет лицо руками и разрыдается.

В этот момент я услышал, как Митя Бочинин зло шепнул Гришке Хмелеву:

— А этих кто приволок?

— Тихо! — угрожающе сказал Гришка, и Митя тотчас умолк.

Калистратэ некоторое время стоял молча. Потом с волнением в голосе обратился к мальчикам:

— Ребята, у нас в городе есть детский дом... Всех вас мы устроим туда. Там вас оденут, накормят, там вы будете в тепле, о вас позаботятся... Или, может, вы хотите бродяжничать?..

Наступило молчание. Я не понял, означало ли это согласие, или мальчишки не могли решить, как быть.

Гришка устремил на меня встревоженный взгляд.

— А как же Вася? — спросил он.

— Вася останется у нас... поправится, — обнадежил я его.

— Спасибо, брат, — еще раз поблагодарил он и снова хлопнул меня по плечу.

И через короткое время наш подвал опустел.

Наверное, лучше не вспоминать во всех подробностях те страшные дни, когда мы все тщетно старались помочь бедному Васе Бочареву...

Спустя шестнадцать лет после того рядом с его могилкой вырыли еще могилу — в ней похоронили мою бабушку.

С тех пор прошло еще немало времени, и в один прекрасный день меня посетил элегантно одетый, представительный, приятной наружности мужчина. Он отрекомендовался Григорием Хмелевым. — «Может, помните Гришку Хмелева?» — добавил гость, с улыбкой протягивая мне руку. А я взглянул на него и тотчас узнал глаза того самого Гришки из моего военного детства. Мы обнялись, поцеловались.

Жена по моим рассказам знала Гришку и всю ту историю с ребятами-беспризорниками, голодными, холодными, брошенными в наш город ураганом войны.

У мамы навернулись на глаза слезы радости. Шутка ли — перед ней стоял один из тех ребят, Гришка, ныне кандидат медицинских наук Григорий Хмелев.

Мы долго сидели за столом, и Гриша рассказывал нам об остальных своих товарищах.

Колька Мазуров — инженер Московского метро-

политена, Лева Пастухов — экономист, работает в Министерстве внешней торговли, Володя Чижов — секретарь партбюро одного из харьковских заводов, Саша Сабиров — инженер авиационного завода, Алеша Храмцов — слесарь-сборщик, Митя Бочинин — сталелитейщик, Петя Марков — тренер футбольной команды...

Гриша попросил меня повести его на кладбище, на могилу Васи Бочарева. Мы отправились. По пути Гриша купил цветов.

Я остановил такси у ворот кладбища. Тропинка вилась между могилами. Чем дальше мы углублялись, тем покойнее и тише становилось вокруг. Только ветерок пробежал по кустам и деревьям — прошуршит и утихнет, будто и нет его, и снова зашелестит листвою...

Не доходя до могилки Васи, я свернул влево и остановился у гранитного надгробья в виде стены, в которую была вделана овальной формы фотография мужчины средних лет.

— Помнишь его? — спросил я Гришу.

Он взгляделся в изображение и отрицательно мотнул головой — не помню, мол, но потом взгляделся пристальней и воскликнул:

— Ну да, это он!..

Гриша выбрал из букета несколько цветков и, склонившись, бережно положил их на землю. Мы молча постояли перед могилой Калистратэ Цуладзе и продолжили путь.

Бабушкина и Васиная могилы были тщательно прибраны, ухожены. На Васином надгробии была русская надпись, на бабушкином — грузинская. Низкий дождь огораживал их, внутри пышно цвели розы.

— Эх, Вася. — с грустью тихо проговорил Гриша.

Цветы он рассыпал на могиле. Мы постояли, каждый углубившись в свои мысли. Потом я услышал тихий голос Гриши:

— Спасибо, брат!..

И мне показалось — сейчас он похлопает меня по плечу... Я взглянул на него. В его глазах блеснули слезы, он молча протянул мне руку.

Перевод Камиллы КОРИНТЭЛИ



СМУТНАЯ УЛЫБКА

Повесть

Глава 2

Мне всегда говорили, что жить с кем-нибудь очень трудно. Я думала об этом, но так по-настоящему и не узнала во время короткой совместной жизни с Люком. Я думала об этом, потому что никак не могла полностью расслабиться с ним. Я боялась, не соскучится ли он со мной. Я не могла не заметить, что обычно боялась за себя — не соскучусь ли я — а не за других. Такой поворот меня беспокоил. Но разве трудно жить с таким человеком, как Люк, который не заводит серьезных разговоров, ни о чем не спрашивает (особенно — «О чем ты думаешь?»), неизменно доволен, что я рядом, и не демонстрирует ни равнодушия, ни страсти? Мы шли в ногу, у нас были одинаковые привычки, одинаковый ритм жизни. Мы нравились друг другу, все шло хорошо. Я вовсе не жалела о том, что он не делает этого огромного усилия над собой, без которого невозможно полюбить другого человека, узнать его, разрушить свое одиночество. Мы были друзьями, любовниками; вместе купались в Средиземном море, чересчур синем; разморенные солнцем, завтракали, разговаривая о пустяках, и возвращались в отель. Иногда, в его объятьях, охваченная нежностью, наступающей после любви, я так хотела ему сказать: «Люк, полюби меня, давай попробуем, позволь нам попытаться». Я не говорила этого. Я только целовала его лоб, глаза, рот, каждую черточку этого нового лица, теперь осязаемого, которое губы открывают вслед за глазами. Ни одно лицо я так не любила. Я любила даже его щеки, а ведь эта часть лица всегда была для меня больше «рыбой», чем «мясом». Теперь, прижимаясь лицом к щекам Люка, прохладным и немного колючим — у него быстро отрастала борода — я поняла Пруста, длинно описывавшего щеки Альбертины. Благодаря Люку я узнала свое тело, он говорил мне о нем с интересом, без непристойности, как о какой-то драгоценности. Однако не чувственность определяла наши

Окончание. Начало см. в № 6, 1981 г.

отношения, а что-то другое, что-то вроде соучастия, невольно, вызванного усталостью от жизненных комедий, усталостью от слов, усталостью как таковой.

После обеда мы всегда ходили в один и тот же бар, немножго мрачный, за улицей д'Антиб. Там был маленький оркестр: когда мы пришли туда в первый раз, Люк заказал мелодию «Покинутый и любимый», я ему о ней говорила. Он обернулся ко мне, очень довольный собой:

— Ты эту мелодию хотела?

— Да. Как приятно, что ты вспомнил.

— Она напоминает тебе Бертрана?

Я ответила — да, немного, эта пластинка уже давно в ходу. Он поморщился.

— Досадно. Но мы придумаем что-нибудь другое.

— Зачем?

— Когда заводишь роман, надо выбрать мелодию, духи, какие-то ориентиры на будущее.

Должно быть, у меня был забавный вид, потому что он засмеялся.

— В твоём возрасте не думают о будущем. А я готовлю себе приятную старость, с пластинками.

— У тебя их много?

— Нет.

— Жаль, — сказала я со злостью. — Мне кажется, у меня в твоём возрасте будет целая дискотека.

Он осторожно взял меня за руку.

— Ты обиделась?

— Нет, — сказала я подавленно. — Просто это довольно смешно, вот так думать, что через год или два от целой недели твоей жизни, живой недели с мужчиной, не останется ничего, кроме пластинки. Особенно если мужчина заранее это знает и об этом говорит.

Я с раздражением чувствовала слезы на глазах. И все из-за тона, которым он спросил: «Ты обиделась?» Когда со мной так говорят, мне всегда хочется похныкать.

— Больше я ни на что не обиделась, — нервно повторила я.

— Идем, — сказал Люк, — потанцуем.

Он обнял меня, и мы начали танцевать под мелодию Бертрана, совершенно, впрочем, не похожую на прекрасную запись на пластинке. Когда мы танцевали, Люк вдруг сильно прижал меня к себе, с особенной нежностью, — так, вероятно, это называется — и я прильнула к нему. Потом он отпустил меня, и мы заговорили о другом. Мы нашли нашу мелодию, она выбралась сама собой, потому что ее играли повсюду.

Кроме этой маленькой ссоры, я держалась хорошо, была веселой и считала, что наше небольшое приключение очень удачно. И потом, я восхищалась Люком, я не могла не восхищаться его умом, его жизненной устойчивостью, манерой сразу определять ценность вещей, их значение, по-мужски точно, без цинизма или снисходительности. Но мне хотелось сказать ему иногда с раздражением: «Почему бы тебе все-та-



ки не полюбить меня? Мне было бы настолько спокойнее. Почему не установить между нами стеклянную стену страсти, меняющую порой все пропорции, но такую удобную?» Но нет, мы оставались в том же качестве — союзники и соучастники. Я не могла стать любимой, а он любящим, у него не было на это ни возможности, ни сил, ни желания.

В то утро — оно должно было быть последним — мне показалось, что он меня любит. Он принялся молча ходить по комнате, вид у него был такой замкнутый, что это меня заинтриговало.

— Что ты сказала дома? Когда ты вернешься?

— Я сказала «примерно через неделю».

— Если это тебя устроит, останемся еще на неделю?

— Да...

Я вдруг поняла, что и не думала об отъезде по-настоящему. Моя жизнь пройдет в этом отеле, который стал гостеприимным и удобным, как большой корабль. Рядом с Люком все ночи будут бессонными. Мы тихо приблизимся к зиме, к смерти, разговаривая о преходящем.

— Я думаю, Франсуаза тебя ждет?

— Это я могу уладить. Я не хочу уезжать из Канн. Ни из Канн, ни от тебя.

— Я тоже, — ответила я таким же спокойным и невинным тоном.

Таким же тоном. На секунду я подумала, что он, может быть, любит меня, но не хочет этого говорить. Сердце у меня забилось. Но потом я вспомнила, что это всего лишь слова, что я действительно ему нравлюсь и что этого достаточно. Просто мы договорились еще об одной счастливой неделе. Потом я должна буду его оставить. Оставить его, оставить его... Зачем, для кого, для чего? Для приступов скуки, для рассеянного одиночества? По крайней мере, когда на меня смотрит он, я вижу, что это он; когда он говорит со мной, это тот, кого я хочу понять. Он, который мне интересен, кого я хочу видеть счастливым. Он, Люк, мой любовник.

— Это прекрасная мысль, — повторила я. — По правде говоря, я не думала об отъезде.

— Ты не думаешь ни о чем, — сказал он, смеясь.

— Да, когда я с тобой.

— Почему? Чувствуешь себя юной, ни за что не отвечающей?

Он лукаво улыбался. Он быстро — если бы я попыталась — уничтожил бы в нашей паре позицию «маленькой девочки и чудесного покровителя». К счастью, я чувствовала себя совершенно взрослой, взрослой и пресыщенной.

— Нет, — сказала я. — Я за все отвечаю. Но за что? За свою жизнь? Она достаточно приемлемая и достаточно вялая. Я не чувствую себя несчастной. Я довольна. Но я и не счастлива. Мне никак; хорошо только с тобой.

— Это прекрасно, — продолжил он. — Мне тоже очень хорошо с тобой.



— Что ж, давай помурлыкаем.

Он засмеялся.

— Стоит хоть чуть-чуть упрекнуть тебя за эту твою привычную дозу безнадежности — ах, жизнь абсурдна — как ты становишься разъяренной кошкой. Я вовсе не претендую на то, чтобы ты, по твоему выражению, «мурлыкала», или, скажем, блаженствовала со мной. Мне бы стало скучно.

— Почему?

— Я бы чувствовал себя одиноким. Бывают минуты, когда Франсуаза внушает мне страх — то есть, когда она рядом со мной. молчит и всем довольна. С другой стороны, с мужской и общественной точки зрения, очень удобно знать, что сделал женщину счастливой, хотя сам не понимаешь, каким образом.

— Значит, все прекрасно, — выпалила я единым духом. — Есть Франсуаза, которую ты делаешь счастливой, и я, которую ты сделаешь довольно несчастной по возвращении.

Я еще не успела договорить эту фразу, как уже пожалела о ней. Он повернулся ко мне.

— Тебя несчастной?

— Нет, — ответила я, улыбаясь, — немного сбитой с толку. Нужно будет найти кого-то, кто бы занимался мной, а никто не умеет этого лучше тебя.

— Только не вздумай рассказывать мне об этом, — сказал он со злостью.

Потом передумал.

— Нет, лучше рассказывай. Рассказывай мне обо всем. Если это будет неприятный тип, я его поколочу. Если наоборот, я выражу свое согласие. Короче, настоящий папаша.

Он взял мою руку, повернул ее и стал нежно и долго целовать ладонь. Я положила другую руку ему на затылок. Он был очень юный, очень ранимый, очень добрый, этот мужчина, предложивший мне связь без будущего, без сантиментов. Он был честен.

— Мы — честные люди, — сказала я нравоучительным тоном.

— Да, — ответил он, смеясь. — Только не кури вот так сигарету, это нечестно.

На мне был халат в горошек.

— А разве я честная женщина? Зачем я живу с чужим мужем в этом роскошном прибежище порока? В типичном наряде куртизанки? Разве я не образец сбившейся с пути юной прихожанки церкви Сен-Жермен-де-Пре, которая разбивает браки, словно бы невзначай, думая о чем-то своем?

— Да, — сказал он удрученно. — А я — муж, который был таким примерным и вдруг потерял голову, болван, болван... Иди сюда...

— Нет, нет. Потому что я отказываюсь от тебя, я гнусно обвела тебя вокруг пальца. Зажгла в твоей крови огонь желания, а сама отказываюсь усмирить его. Вот.

Он рухнул на кровать, охватив голову руками. Я мрачно села около него. Когда он поднял голову, я посмотрела на него пристально и сурово.



— Я — роковая женщина.

— А я?

— Жалкое подобие человека. А был когда-то музеем... Люк! Еще неделя!

Я упала на кровать рядом с ним, его волосы перепутались с моими; я прижалась к нему щекой, он был горячий и прохладный, от него пахло морем, солью.

Я была одна, не без удовольствия сидела в шезлонге перед отелем, лицом к морю. Я и какие-то пожилые англичанки. Было одиннадцать утра, Люк уехал в Ниццу улаживать какие-то сложные дела. Мне в общем нравилась Ницца, по крайней мере невзрачная ее часть между вокзалом и Английским бульваром. Но я отказалась ехать, потому что мне вдруг остро захотелось побыть одной.

Я была одна, зевала, обессиленная от бессонных ночей, мне было удивительно хорошо. Когда я закуривала сигарету, рука моя, державшая спичку, немного дрожала. Сентябрьское солнце, уже не такое жаркое, ласкало щеку. На этот раз мне было очень хорошо с самой собой. «Нам хорошо только, когда мы устаем», — говорил Люк, и это была правда, потому что я принадлежала к породе людей, которым хорошо только, когда они исчерпают определенную часть жизнеспособности, требовательной, подверженной приступам скуки; ту самую часть, которая спрашивает: «Что ты сделал со своей жизнью? Что ты хочешь с ней делать?» — вопрос, на который я могла ответить только: «Ничего».

Мимо прошел очень красивый молодой человек; я оглядела его с безразличием, удивившим меня самоё. Вообще говоря, красота обычно приводила меня в некоторое смущение. Она казалась мне неприличной, неприличной и недоступной. Этот молодой человек показался мне приятным на вид и совершенно нереальным. Люк уничтожил других мужчин. Зато я не уничтожила для него других женщин. Он смотрел на них с полной готовностью и без лишних рассуждений.

Вдруг море заволжилось туманом. Я почувствовала удушье. Приложила руку ко лбу — он был в испарине. Даже корни волос были влажны. Капля пота медленно ползла вдоль спины. Должно быть, смерть — это всего лишь голубоватый туман, нетрудное падение в провал. Я могла бы умереть тогда и не стала бы сопротивляться.

Я мимоходом схватила смысл этой фразы, мелькнувшей в сознании и готовой тут же, на цыпочках, ускользнуть. «И не стала бы сопротивляться». А ведь многое я очень любила: Париж, запахи, книги, любовь, мою нынешнюю жизнь с Люком. У меня было предчувствие, что ни с кем мне, наверное, не будет так хорошо, как с ним, что он создан для меня навеки веков и что, без сомнения, существует предопределенность встреч. Моя судьба была в том, что Люк оставляет меня, что я попытаюсь начать все сначала с другим, что, разумеется, я это сделаю. Но никогда и ни с кем я не буду такой, как с ним: почти не ощущающей одиночества, спокойной и внутренне раскованной. Только ведь он снова будет

со своей женой, а меня оставит в моей парижской комнате, оставит одну с этими бесконечными послеполуденными часами, приступами отчаяния и неудачными романами. Я принялась тихонько хныкать, сама себя растрогав.

Минуты три я хлюпала носом. Через два шезлонга от меня сидела пожилая англичанка и разглядывала меня — без сострадания, но с интересом, заставившим меня покраснеть. Потом я сама стала внимательно смотреть на нее. Секунду я была исполнена невероятного уважения к ней. Это было человеческое существо, другое человеческое существо. Она смотрела на меня, а я на нее, пристально, на солнышке, обе ослепленные каким-то откровением: два человеческих существа, говорящие на разных языках и глядевшие друг на друга, как на неожиданность. Потом она поднялась и, прихрамывая, ушла, опираясь на палку.

Счастье — вещь ровная, без зарубок. Так и у меня, от этого времени в Каннах не осталось ясных воспоминаний, разве что о нескольких несчастливых минутах, об улыбках Люка да еще о пресном и навязчивом запахе летней мимозы в комнате по ночам. Может быть, счастье для таких, как я — это что-то вроде рассеянности, отсутствия скуки, доверчивой рассеянности. Теперь я знала эту рассеянность, так же как иногда, встречаясь со взглядом Люка, знала ощущение, что все, наконец, идет хорошо. Не я, а он нес на своих плечах весь мир. И смотрел на меня, улыбаясь. Я знала, почему он улыбается, и мне хотелось улыбаться ему в ответ.

Помню момент окрыления однажды утром. Люк лежал на песке. Я ныряла с плота. Потом поднялась на последнюю площадку трамплина. Я видела Люка, толпу на песке и ожидавшее меня ласковое море. Я упаду, оно скроет меня; я упаду с очень большой высоты и во время падения буду одна, смертельно одна. Люк смотрел на меня. Он иронически изобразил ужас, и я прыгнула. Море взлетело мне навстречу; я больно ударилась о него. Добралась до берега и рухнула рядом с Люком, обрызгав его; потом положила голову на его сухую спину и поцеловала в плечо.

— Что это — сумасбродство... или просто спортивный азарт? — сказал он.

— Сумасбродство.

— Так я и сказал себе — причем с гордостью. Когда я подумал, что ты ныряешь с такой высоты, чтобы поскорее быть со мной, я был очень счастлив.

— Ты счастлив? Это я счастлива. Я должна быть счастливой в любом случае, потому что я этого не требую. Это аксиома, ведь так?

Я говорила, не глядя на него, потому что он лежал на спине и я видела только его затылок. Загорелый и крепкий затылок.

— Я верну тебя Франсуазе в отличном виде, — сказала я шутливо.

— Ну и цинизм!

— Ты куда меньший циник, чем мы. Женщины очень циничны. Ты просто мальчишка по сравнению со мной и Франсуазой.



— Ничего себе претензии!

— У тебя их куда больше, чем у нас. Женщины претензиями сразу же становятся смешны. Мужчинам же придает обманчивую мужественность, которую они поддерживают для...

— Скоро кончатся эти аксиомы? Поговорим о погоде. Во время отпуска это единственная дозволенная тема.

— Погода хорошая, — сказала я, — погода очень хорошая...

И, повернувшись на спину, заснула.

Когда я проснулась, небо было затянуто облаками, пляж обезлюдел, губы у меня пересохли, я чувствовала себя совершенно обесиленной. Люк сидел около меня на песке, одетый. Он курил, глядя в море. Я смотрела на него с минуты, не показывая, что проснулась, впервые с каким-то отстраненным любопытством: «О чем может думать этот человек?» О чем может думать человек, сидя на пустынном пляже, перед пустынным морем, рядом с кем-то, кто спит? Он представлялся мне таким раздавленным этой тройной пустотой, таким одиноким, что я потянулась к нему и дотронулась до его плеча. Он даже не вздрогнул. Он никогда не вздрагивал, редко удивлялся, вскрикивал еще реже.

— Проснулась? — сказал он лениво. И нехотя потянулся. — Четыре часа.

— Четыре часа! — Я мгновенно села. — Я проспала четыре часа?

— Не волнуйся, — сказал Люк. — Нам нечего делать.

Эта фраза показалась мне зловещей. Нам действительно нечего было делать вместе — ни работы, ни общих друзей.

— Это тебя огорчает? — спросила я.

Он повернулся ко мне, улыбаясь.

— Мне только это и нравится. Надень свитер, дорогая, замерзнешь. Пойдем, выпьем чаю в отеле.

Не освещенная солнцем Ля Круазетт выглядела мрачной, ее дряхлые пальмы слегка раскачивались на слабом ветру. Отель спал. Мы попросили чай наверх. Я приняла горячую ванну и снова вытянулась рядом с Люком, который читал в постели, время от времени стряхивая пепел с сигареты. Мы закрыли жалюзи из-за хмурого неба, в комнате было сумрачно, жарко. Я закрыла глаза. Только шуршание страниц, переворачиваемых Люком, врвалось в отдаленный шум прибоя.

Я думала: «Ну вот, я рядом с Люком, я около него, мне стоит только протянуть руку, чтобы дотронуться до него. Я знаю его тело, его голос, знаю, как он спит. Он читает, я немного скучаю, это в общем даже приятно. Сейчас мы пойдем обедать, потом вместе ляжем спать, а через три дня расстанемся. И, наверное, уже никогда не будет так, как сейчас. Но эта минута — вот она, с нами; я не знаю, любил ли это или приглашение, но это неважно. Мы одни, и каждый одинок по-своему. Он не знает, что я думаю про нас; он читает. Но мы вместе, и со мной частица предназначенного мне тепла и частица безразличия. Через полгода, когда мы

будем врозь, не об этой минуте я буду вспоминать, а о других-то других, случайных. Однако именно эту минуту я люблю, наверное, больше всего, — минуту, когда я принимаю жизнь, какой она мне и представляется сейчас — спокойной и душераздирающей». Я протянула руку, взяла «Семью Фенуйар» (Люк много раз упрекал меня за то, что я ее не читала) и принялась читать и смеяться. пока Люку тоже не захотелось смеяться вместе со мной, и мы склонились над одной и той же страницей, щека к щеке, а скоро — губы к губам, наконец книга упала на пол, наслаждение опустилось на нас, ночь — на других.

И вот настал день отъезда. Из лицемерия, где главную роль играл страх: у него, что я расчувствуюсь, у меня — что, заметив это, я расчувствуюсь еще больше, мы накануне, в последний наш вечер, не упоминали об отъезде. Просто я много раз просыпалась ночью, в какой-то панике искала Люка, его лоб, руку, мне нужно было убедиться, что нежный союз нашего сна все еще существует. И каждый раз, будто подстерегая эти приступы страха, будто сон его был неглубок, Люк обнимал меня, сжимал мой затылок, шептал: «Здесь, здесь» голосом необычным, каким успокаивают зверей. Это была смутная, заполненная шорохами и запахом мимозы ночь, которую мы оставим позади, ночь полусна и бессилия. Потом настало утро, легкий завтрак, и Люк начал собирать вещи. Я собирала свои, разговаривая о дороге, дорожных ресторанах и прочем. Меня немного раздражал мой собственный фальшиво-спокойный и мужественный тон, потому что мужественной я себя не чувствовала и не видела причин быть ею. Я чувствовала себя никакой: несколько растерявшейся, может быть. На этот раз мы разыгрывали полукомедию, и я считала более осмотрительным так и продолжать, а то, в конце концов, он мог бы заставить меня страдать, расставаясь с ним. Уж лучше вот такое выражение лица, манеры, жесты непричастности.

— Ну вот, мы готовы, — сказал он наконец. — Я звоню, чтобы пришли за багажом.

Я очнулась.

— Давай последний раз посмотрим с балкона, — сказала я мелодраматическим голосом.

Он посмотрел на меня с беспокойством, потом, поняв выражение моего лица, засмеялся.


— А ты и в самом деле твердый орешек, настоящий циник. Ты мне нравишься.

Он обнял меня посреди комнаты; легко встряхнул.

— Знаешь, это редко бывает, когда можно сказать кому-нибудь: «Ты мне нравишься» после двух недель совместного житья.

— Это не совместное житье, — запротестовала я, смеясь, — это медовый месяц.

— Тем более! — сказал он, отстраняясь. В тот момент я действительно почувствовала, что он оставляет меня и что мне хочется удержать его за лацканы пиджака. Это было мимолетно и очень неприятно.



Возвращение прошло хорошо. Я немного вела машину. Люк сказал, что мы приедем в Париж ночью, завтра он звонит мне, и вскоре мы пообедаем вместе с Франсуазой к этому времени она вернется из деревни, где провела две недели у своей матери. Меня это немного обеспокоило, но Люк посоветовал не упоминать о нашем путешествии — вот и все; остальное он сам с ней уладит. Я довольно ясно представляла себе осень — меж них двоих — встречи с Люком от случая к случаю, когда мы целуемся, любим друг друга. Я никогда не предполагала, что он оставит Франсуазу, сначала потому что он сказал, потом — потому что мне казалось невозможным причинить такую боль Франсуазе. Предложи он мне это — я, без сомнения, не смогла бы в тот момент согласиться.

Он сказал мне, что по возвращении у него много работы, но не особенно интересной. Меня ждал новый учебный год, необходимость углубляться в то, что и в прошлом-то году было довольно скучным. Одним словом, мы возвращались в Париж унылыми, но мне это нравилось, потому что у обоих было одинаковое уныние, одинаковая тоска и, следовательно, одинаковая необходимость цепляться друг за друга.

Мы добрались до Парижа поздно ночью. У Итальянских ворот я посмотрела на Люка, на его немного осунувшееся лицо и подумала, что мы легко выпутались из нашего маленького приключения, что мы действительно взрослые люди, цивилизованные и разумные, и вдруг меня охватила ярость — такой нестерпимо униженной я себя почувствовала.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

Мне никогда не приходилось открывать Париж заново: он был открыт мной раз и навсегда. Но сейчас я удивлялась его очарованию и удовольствию, с которым гуляла по его улицам, по-летнему не деловым. В течение трех пустых дней это отвлекало меня от ощущения абсурда, вызванного отсутствием Люка. Я искала его глазами, иногда ночью рукой, и каждый раз мне казалось нелепым и бессмысленным, что его нет. Эти две недели уже приобрели в моей памяти какую-то форму, тональность, полнзвучную и резкую одновременно. Странно, что ощущала я их отнюдь не как поражение, напротив, как победу. Победу, которая — и я хорошо это понимала — затруднит, вернее, превратит в мучение любую подобную попытку.

Вернется Бертран. Что сказать Бертрану? Бертран попытается меня вернуть. Зачем начинать с ним снова и, главное, как терпеть другое тело, другое дыхание, если это не Люк?

Люк не позвонил мне ни на следующий день, ни через день. Я приписала это сложностям с Франсуазой и извлекла из этого двойственное ощущение собственной значительности и

стыда. Я много бродила, размышляя отвлеченно и не слишком заинтересованно о наступающем годе. Быть может, я найду какое-нибудь более умное занятие, чем юриспруденция. Люк обещал познакомить меня с одним из своих друзей, редактором журнала. Если до сих пор сила инерции побуждала меня искать успокоение в чувстве, то теперь она заставляла меня искать его в профессии.

Через два дня я уже не могла справиться с желанием видеть Люка. Не осмеливаясь позвонить, я послала ему коротенькую записку, вежливую и непринужденную одновременно, с просьбой мне позвонить. Что он и сделал на следующий день: он ездил за Франсуазой в деревню и раньше позвонить не мог. Голос звучал напряженно. Я подумала, что он истосковался по мне, и на секунду, пока он говорил, представила, как мы встретимся в каком-нибудь кафе, он обвинит меня и скажет, что не может жить без меня и что эти два дня были сплошным абсурдом. Я ответчу: «Я тоже», вполне правдиво, и пусть он решает. Люк действительно предложил мне встретиться, но только чтобы сказать — все прошло хорошо, она не задала ни одного вопроса, а сам он завален работой. Он добавил: «Ты красивая» — и поцеловал мне руку.

Я нашла его изменившимся — он снова стал носить темные костюмы — изменившимся и привлекательным. Я смотрела на его лицо, четко очерченное и усталое. Мне было странно, что оно больше мне не принадлежит. Я даже подумала, что я вправду не сумела «попользоваться» (это слово показалось мне отвратительным) нашим совместным путешествием. Я говорила с ним весело, он отвечал в том же тоне, и оба мы были неестественны. Может быть, оттого, что оба удивлялись — оказывается, легко прожить с кем-то две недели, и как хорошо это получается и все-таки ни к чему серьезному не ведет. И только когда он встал, во мне поднялся протест, захотелось крикнуть: «Куда же ты? Не оставишь же ты меня одну?» Он ушел, и я осталась одна. Мне в общем нечего было делать. Я подумала: «Комедия какая-то», — и пожалала плечами. Погуляла часок, зашла в несколько кафе, надеялась кого-нибудь встретить, но никто еще не приехал. В любой момент можно было уехать еще на две недели «к своим». Но я должна была послезавтра обедать с Люком и Франсуазой и решила дожидаться этого обеда, а уж потом уехать.

Эти два дня я провела в кино или валялась, читала, спала. Моя комната казалась мне чужой. Наконец, в день обеда, я тщательно оделась и отправилась к ним. Позвонив, я на секунду испугалась, но мне открыла Франсуаза, и ее улыбка тотчас меня успокоила. Я знала (мне говорил это Люк), что она никогда не поставит себя в смешное положение, необыкновенная доброта и чувство собственного достоинства ей никогда не изменят. Она никогда не была обманутой и, наверняка, никогда не будет.

Забавный это был обед. Мы были втроем, и все шло прекрасно, как раньше. Только мы очень много выпили перед

тем, как сесть за стол. Франсуаза, казалось, ничего не знала, но, может быть, смотрела на меня более внимательно, чем обычно. Время от времени Люк говорил со мной, глядя мне прямо в глаза, и я считала делом чести отвечать ему весело и непринужденно. Разговор зашел о Бертроне, который возвращался на будущей неделе.

— Меня здесь не будет, — сказала я.

— Где же ты будешь? — спросил Люк.

— Наверно, поеду на несколько дней к моим родителям.

— Когда вы вернетесь?

Это спросила Франсуаза.

— Через две недели.

— Доминика, я перехожу с вами на «ты»! — вдруг сказала она. — Мне надоело говорить вам «вы».

— Давайте все перейдем на «ты», — сказал Люк, улыбаясь, и направился к проигрывателю. Я проследила за ним взглядом и, обернувшись к Франсуазе, увидела, что она смотрит на меня. Обеспокоенная, я ответила на ее взгляд, только бы она не подумала, что я избегаю смотреть ей в глаза. Она коснулась моей руки с легкой и грустной улыбкой, все во мне перевернувшей.

— Вы... то есть, ты, напишешь мне открытку, Доминика? Ты еще не сказала мне, как там твоя мама.

— Хорошо, — сказала я, — она..

Я остановилась, потому что Люк поставил пластинку, которая постоянно звучала на побережье и разом все напомнила. Он не оборачивался. Я почувствовала, что мысли у меня пришли в полное замешательство от этой пары, от музыки, от снисходительности Франсуазы, которая не была снисходительностью, от чувствительности Люка, которая тоже не была чувствительностью, — короче, от всей этой мешанины. В эту минуту мне по-настоящему хотелось сбежать.

— Мне очень нравится эта вещь, — сказал Люк спокойно.

Он сел, и я поняла, что он ни о чем таком не думает. Даже о нашем горьком разговоре о пластинках-воспоминаниях. Просто эта мелодия пришла ему на память два-три раза, и он купил пластинку, чтобы от нее отделаться.

— Мне она тоже очень нравится, — сказала я.

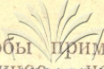
Он поднял на меня глаза, вспомнил и улыбнулся мне. Он улыбался так нежно, так откровенно, что я опустила глаза. Но Франсуаза закуривала сигарету. Я растерялась. Такая ситуация даже не была фальшивой, потому что, мне казалось, достаточно поговорить об этом, чтобы каждый высказал свое мнение спокойно, со стороны, как если бы все это его не касалось.

— Пойдем мы на этот спектакль или нет? — сказал Люк. Он повернулся ко мне и объяснил:

— Мы получили приглашение на новый спектакль. Можем пойти втроем...

— О! Конечно, почему бы и нет?

Мне недоставало только добавить с глупым смехом: «Конечно, только этого нам и не хватало!»



Франсуаза отвела меня в свою комнату, чтобы примерить на меня одно из своих пальто, более подходящее, чем мое. Она одела на меня одно или два, велела мне повернуться, подняла воротник. В тот момент, когда она обеими руками придерживала воротник, я засмеялась про себя: «Я в ее власти. Может быть, она меня задушит или искушает». Но она ограничилась улыбкой.

— Вы в нем немного утонули.

— Это верно, — сказала я, думая не о пальто.

— Мне надо увидеться с вами, когда вы вернетесь.

«Вот оно! — подумала я. — А если она попросит меня больше не видеть Люка? Я это смогу?» И сразу ответ: «Нет, не смогу!».

— Я ведь решила заняться вами, одеть вас как следует и познакомить с вещами, куда более интересными, чем эти студенты и библиотеки.

«О боже, — подумала я, — это не тот момент, не тот, когда нужно это говорить!».

— Так как же? — повторила она, поскольку я молчала. — В какой-то степени я нашла в вас дочь. — Она сказала это, смеясь, но очень мило. — Но если эта дочь с характером и чрезмерно интеллектуальна...

— Вы слишком добры, — сказала я, напирая на слово «слишком». — Не знаю, что мне делать.

— Не мешать, — сказала она, смеясь.

«Я попала в осиное гнездо, — подумала я. — Но если Франсуаза так меня любит и предлагает мне видеться, я буду часто видеть Люка. Может быть, я ей все объясню. Может быть, ей это немножко все равно после десяти лет брака».


— Почему вы так хорошо ко мне относитесь? — спросила я.

— Вы принадлежите к людям того же типа, что и Люк. Натуры не очень счастливые, которым суждено искать утешения у тех, кто, как я, рожден под знаком Венеры. Вам этого не избежать...

Мысленно я воздела руки к небесам. Потом мы отправились в театр. Люк разговаривал, смеялся. Франсуаза объяснила, что вокруг за люди, кто с кем и т. д. Они проводили меня до пансиона, и Люк непринужденно поцеловал мне руку. Я вернулась несколько обескураженная, заснула, а на следующий день уехала к родителям.

Глава 2

Но Ионна была серая, а тоска нестерпимая. Не просто тоска, а тоска по кому-то. Через неделю я вернулась. Когда я уезжала, моя мать вдруг очнулась, спросила меня, счастлива ли я. Я заверила ее, что да, мне очень нравится юриспруденция, я много занимаюсь и у меня хорошие друзья. Успокоенная, она снова ушла в свою меланхолию. Ни на одну секунду — в отличие от прошлого года — я не почувствовала желания поговорить с ней обо всем. Да и что ей сказать? Решительно я постарела.



В пансионе я нашла записку от Бертрана, который просил позвонить, как только я вернусь. Он наверняка хотел объяснить отношения — я не очень доверяла деликатности Катрин — и в этом я ему отказать не могла. Итак, я ему позвонила, и мы договорились встретиться. В ожидании я записалась в университетскую столовую.

В шесть часов мы встретились с Бертраном в кафе на улице Сен-Жак, и мне показалось, что ничего не произошло, что все начинается снова. Но когда он поднялся и с серьезным лицом поцеловал меня в щеку, я вернулась к действительности. Я трусливо пыталась принять легкомысленный и безответственный вид.

— Ты хорошо выглядишь, — сказала я искренне, а в голосе пронеслась циничная мыслишка: «К сожалению».

— Ты тоже, — коротко сказал он. — Я хочу, чтобы ты знала: Катрин мне все рассказала.

— Что все?

— О твоей поездке на побережье. Я тут кое-что прикинул и думаю, что ты была с Люком. Так это или нет?

— Так, — сказала я. (Я была тронута. Он не злился, а был спокоен и немного грустен).

— Ну, так вот: я не из тех, кто делится с другими. Я еще люблю тебя настолько, чтобы не придавать этому всему значения; но не настолько, чтобы позволить себе роскошь ревновать и мучиться из-за тебя, как весной. Ты должна выбрать.

Он выпалил это одним духом.

— Что выбрать? — Мне стало скучно. Люк был прав, я не думала о Бертрane как о главной проблеме.

— Или ты больше не видишь Люка, и у нас все продолжается. Или ты его видишь, и мы останемся добрыми друзьями. Больше ничего.

— Конечно, конечно.

Мне абсолютно нечего было сказать. Он как будто повзрослел, обрел солидность; я почти восхищалась им. Но он больше ничего для меня не значил, решительно ничего. Я накрыла рукой его руку.

— Я в отчаянии, — сказала я, — но ничего не могу поделать.

Секунду он молчал, глядя в окно.

— Нелегко это проглотить, — сказал он.

— Я не хочу тебя мучить, — повторила я, — и я действительно терзаюсь сама.

— Но это не самое трудное, — сказал он как бы самому себе. — Вот увидишь. Когда все решено, тогда уже не страшно. Плохо, когда цепляются.

Он вдруг повернулся ко мне:

— Ты любишь его?

— Да нет же, — раздраженно сказала я. — Не в этом дело. Мы очень хорошо понимаем друг друга, вот и все.

— Если тебе станет тоскливо, помни, я здесь, — сказал он. — А я думаю, что станет. Вот увидишь: Люк — ничто, этаким грустным умник. И все.

Я подумала о нежности Люка, о его смехе, — ^{какая же} она охватила радость!

— Поверь мне. Во всяком случае, — добавил он как-то порывисто, — я буду здесь, Доминика. Я был очень счастлив с тобой.

Оба мы готовы были расплакаться. Он — потому что все было кончено и, тем не менее, ему хотелось надеяться, я — потому, что у меня было ощущение, будто я теряю истинного своего защитника и бросаюсь в сомнительное приключение. Я встала и тихонько поцеловала его.

— До свидания, Бертран. Прости меня.

— Что уж там, — сказал он мягко.

Я вышла совершенно разбитая. Замечательно начинался год.

В моей комнате меня ждала Катрин, с трагическим лицом сидя на кровати. Она поднялась, когда я вошла, и протянула мне руку. Я без энтузиазма пожала ее и села.

— Доминика, я хочу попросить прощения. Я, наверно, не должна была ничего говорить Бертрану. Как ты считаешь?

Вопрос привел меня в восхищение.

— Это неважно. Может быть, было бы лучше, если бы я сама ему сказала, но это неважно.

— Ну и хорошо, — сказала она, успокоившись.

Она снова уселась на кровать — теперь вид у нее был возбужденный и довольный.

— Ну — рассказывай.

Я потеряла дар речи, потом засмеялась.

— Ну нет! Ты просто великолепна, Катрин! Провентилировала вопрос с Бертраном — раз, два и готово! — и, покончив с этим неприятным делом, валяй, рассказывай дальше, что-нибудь этакое, позаманчивей.

— Не издевайся надо мной, — сказала она тоном маленькой девочки. — Рассказывай мне все.

— Нечего рассказывать, — ответила я сухо. — Провела две недели на побережье с человеком, который мне нравится. По ряду соображений история на этом кончается.

— Он женат? — спросила она вкрадчиво.

— Нет. Глухонемой. А сейчас я должна разобрать чемодан.

— Ну что ж, я подожду. Все равно ты мне все расскажешь, — сказала она.

«Самое плохое, что так оно, возможно, и будет, — подумала я, открывая шкаф. — Найдет черная меланхолия...»

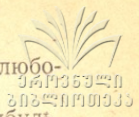
— Ну, ладно, а вот я, — продолжала она, как будто это было открытием, — я влюблена.

— В кого? — сказала я. — Ах, да! В последнего, конечно.

— Если это тебе не интересно...

Но она продолжала. Я со злостью приводила в порядок вещи. «Почему у меня в подругах такие дуры? Люк бы ее не потерпел. А при чем тут Люк? При том, что это в общем моя жизнь».

— ...одним словом, я его люблю, — заключила она.



— А что ты называешь любить? — спросила я с любопытством,

— Ну, я не знаю. Любить — это думать о ком-нибудь, везде с ним бывать, предпочитать его другим. Разве не так?

— Не знаю. Может быть.

Вещи были в порядке. Я вяло уселась на постель. Катрин сделалась милой.

— Ты какая-то сумасшедшая, Доминика. Ты ни о чем не думаешь. Пойдем с нами сегодня вечером. Я буду, конечно, с Жаном-Луи и с его другом, он очень умный, занимается литературой. Это тебя развлечет.

В любом случае я не хотела звонить Люку до завтра. И потом я устала; жизнь представлялась мне унылым круговоротом, а в центре порою — единственная точка опоры — Люк. Он один меня понимал, помогал мне. Он был мне необходим.

Да, он был мне необходим. Я ничего не могла требовать от него, но он все-таки за что-то был в ответе. Главное — не нужно, чтобы он это знал. Соглашения должны оставаться соглашениями, особенно когда они могут причинить неприятности другим.

— Ладно, пойдем посмотрим твоего Жан-Бернара и его умного друга. Мне чихать на ум, Катрин. Хотя нет, не так; я люблю только грустных умников. Те, которые благополучно из всего выбирают, действуют мне на нервы.

— Жан-Луи, — запротестовала она, — а не Жан-Бернар. Выбираются из чего?

— Из этого, — сказала я с пафосом и показала на окно, где виднелось низкое небо, розово-серое в вышине и такое грустное, какое может быть только над замершим адом.

— Тут что-то не так, — сказала Катрин обеспокоенно, взяла меня за руку и, спускаясь по лестнице, следила, как бы я не оступилась. В конце концов я очень хорошо к ней относилась.

Глава 3

Короче говоря, я любила Люка, о чем и сказала себе в первую же ночь, которую снова провела с ним. Это было в гостинице, на набережной; он лежал на спине после объятий и разговаривал со мной, прикрыв глаза. Он сказал: «Поцелуй меня». И я приподнялась на локте, чтобы поцеловать его. Но, наклонившись к нему, я вдруг почувствовала какую-то дурноту, бесповоротное убеждение, что это лицо, этот человек — единственное, что у меня есть. И что неизъяснимое наслаждение, ожидание, крившееся для меня в этих губах, — это и есть наслаждение и ожидание любви. И что я люблю его. Я положила голову ему на плечо, не поцеловав, и тихо застонала от страха.

— Хочешь спать, — сказал он, погладив меня по спине, и негромко засмеялся. — Ты — как маленький зверек: после любви спишь или хочешь пить.

— Я подумала, — сказала я, — что я вас очень люблю.

— Я тоже, — сказал он, потрепав меня по плечу. Стоило нам не видеться три дня и ты уже называешь меня на «вы», почему бы это?

— Я вас уважаю, — ответила я. — Уважаю и люблю. Мы вместе засмеялись.

— Нет, правда, — повторила я с увлечением, как будто эта блестящая мысль только что пришла мне в голову, — что бы вы сделали, если бы я полюбила вас всерьез?

— А ты и любишь меня всерьез, — сказал он, снова закрывая глаза.

— Я имею в виду: если бы вы стали мне необходимы, если бы я хотела быть с вами все время?..

— Мне бы стало очень скучно, — сказал он. — И даже не польстило бы.

— И что бы вы мне сказали?

— Я бы сказал тебе: «Доминика... Послушай, Доминика, прости меня».

Я вздохнула. Значит, и он не лишен ужасного рефлекса осмотрительных и совестливых мужчин, которые говорят в таких случаях: «Я тебя предупредил».

— Заранее вас прощаю, — сказала я.

— Дай мне сигарету, — сказал он лениво, — они с твоей стороны.

Мы молча курили. Я подумала: «Ну вот, я люблю его. Наверно, любить — это всего лишь думать вот так: «Я люблю его». Всего лишь, но только в этом спасение».

И правда, всю неделю всего лишь и было: телефонный звонок Люка: «Ты свободна в ночь с 15-го на 16-е?». Эта фраза, каждые три-четыре часа всплывавшая в моем сознании, произнесенная холодным тоном, всякий раз, стоило мне вспомнить о ней, как-то странно сжимала мне сердце — то ли от счастья, то ли от удушья. И вот теперь я была рядом с ним, и время шло очень медленно и без всяких примет.

— Мне нужно идти, — сказал он. — Без четверти пять! Поздно уже.

— Да, — сказала я. — Франсуаза здесь?

— Я сказал ей, что я с бельгийцами на Монмартре. Но кабаре сейчас должны закрываться.

— Что она подумает? Пять часов — это поздно даже для бельгийцев.

Он говорил, не открывая глаз.

— Я вернусь, скажу: «Ох, уж эти бельгийцы!» и потянусь. Она повернется и скажет: «Твоя содовая в ванной» и снова заснет. Вот и все.

— Понятно! — сказала я. — А завтра вам предстоит торопливый рассказ о кабаре, о том, как вели себя бельгийцы, о...

— О! Простое перечисление... Я не люблю врать, да и времени особенно нет.

— А на что у вас есть время? — сказала я.

— Ни на что. Ни времени, ни сил, ни желания. Если бы я был способен хоть на что-нибудь, я бы полюбил тебя.

— Что бы это изменило?



— Ничего, для нас ничего. Во всяком случае, не думаю.
Просто я был бы из-за тебя несчастлив, а сейчас мне хорошо.
Я спросила себя, не предостережение ли это в ответ на мои недавние слова, но он положил мне руку на голову, даже как-то торжественно.

— Тебе я все могу сказать. И мне это нравится. Франсуазе я не мог бы сказать, что не люблю ее, но, по-настоящему, в наших с ней отношениях нет прекрасной и устойчивой основы. Основа всему — моя усталость, моя скука. Великолепная, надо сказать, основа, прочная. На таких вещах можно создавать крепкие и длительные союзы: на одиночестве, скуке. По крайней мере, она неподвижна.

Я подняла голову с его плеча:

— Но ведь это все такая...

Я едва не добавила «чепуха» — так все во мне протестовало против его слов, но промолчала.

— Такая — что? Итак, легкий приступ юношеского негодования?

Он с нежностью рассмеялся.

— Мой бедный котенок, ты такая юная, такая безоружная. Такая обезоруживающая, к счастью. Это меня успокаивает.

Он отвез меня в пансион. На следующий день я должна была завтракать с ним, Франсуазой и каким-то их приятелем. На прощание я поцеловала его через открытое окно машины. Лицо его осунулось, он выглядел старым. Эта старость больно резанула меня и на минуту заставила любить его еще больше.

Глава 4

Назавтра я проснулась в приподнятом настроении. Отсутствие солнца всегда шло мне на пользу. Я встала, подошла к окну, вдохнула парижский воздух, без всякой охоты закурила. Потом снова легла, не забыв взглянуть в зеркало, где обнаружила синеву под глазами и довольно занятную физиономию. Короче, интересную внешность. Я решила попросить хозяйку с завтрашнего дня включить отопление, потому что это уже переходило всякие границы.

«Здесь собачий холод», — сказала я громко, и мой голос показался мне хриплым и смешным. «Дорогая Доминика, — добавила я, — вы страстно влюблены. Надо начать лечение: вам прописаны прогулки, разумное чтение, молодые люди, может быть, неутомительная работа. Вот ведь как».

Я невольно была полна симпатии к себе. Что из того, чувство-то юмора у меня ведь сохранилось, черт побери! Мне было хорошо в моей шкуре. Я просто создана для страстей. К тому же впереди — завтрак с предметом сих страстей. Я отправилась к Люку и Франсуазе с недолговечным ощущением свободы, как после причастия — оно было вызвано физической эйфорией, происхождение которой мне, конечно, было известно. Я на ходу вскочила в автобус, и кондуктор, воспользовавшись этим, обнял меня за талию под предлогом по-

мощи. Я протянула ему талон, и мы обменялись понимающими улыбками, он — как мужчина, равнодушный к женщинам, я — как женщина, привыкшая к мужчинам, которые равнодушны к женщинам. Я стояла на площадке, держась за поручень: автобус скрежетал по мостовой, немного трясло. Очень хорошо мне было, очень хорошо от этой бессонницы, которая свила гнездо во мне где-то между челюстями и солнечным сплетением.

У Франсуазы уже сидел какой-то незнакомый мне приятель — толстый, красный, неприветливый человек. Люка не было, потому что, как объяснила Франсуаза, он провел всю ночь с какими-то клиентами-бельгийцами и встал только в десять часов. Эти бельгийцы со своим Монмартром порядком досаждают. Я увидела, что толстяк смотрит на меня, и почувствовала, что краснею.

Вошел Люк: у него был усталый вид.

— А... Пьер! — сказал он. — Как дела?

— Ты меня не ждал?

В нем было что-то агрессивное. Может быть, просто от того, что Люк удивился его присутствию, а моему нет.

— О чем ты говоришь, старик, что ты, конечно, ждал, — ответил Люк, вымученно улыбаясь. — Есть что-нибудь выпить в этом доме? Что это за соблазнительная желтая жидкость в твоём стакане, Доминика?

— Чистое виски, — ответила я. — Вы уже его не узнаете?

— Нет, — сказал он и сел в кресло, как садятся на вокзале, на самый краешек сиденья. Потом взглянул на нас — тоже каким-то вокзальным взглядом, — рассеянным и равнодушным. Вид у него был ребяческий и упрямый. Франсуаза засмеялась.

— Мой бедный Люк, ты выглядишь почти так же плохо, как Доминика. Кстати, моя дорогая девочка, я собираюсь положить этому конец. Я скажу Бертрану, чтобы он...

Она стала объяснять, что скажет Бертрану. Я не смотрела на Люка. Слава богу, между нами никогда не было никакого заговора относительно Франсуазы. Это было даже забавно. Мы говорили о ней между собой, как о любимом ребенке, который доставляет нам немало беспокойств.

— Развлечения такого рода никому не идут на пользу, — ответил тот, кого звали Пьером, и я вдруг поняла, что, по-видимому, из-за поездки в Канны он все знает. Этим и объясняется его с самого начала уничтожающий взгляд, его сухость и полунамек. Я вдруг вспомнила, что мы его там встретили и что Люк говорил мне о его увлечении Франсуазой. Должно быть, он негодовал, быть может, болтал лишнее. В стиле Катрин: ничего не скрывать от друзей, оказывать услуги, открывать им глаза и т. д. И если Франсуаза узнает, если будет смотреть на меня с презрением и гневом, что так ей несвойственно, и, по-моему, мною вовсе не заслужено, что я буду тогда делать?

— Идемте завтракать, — сказала Франсуаза. — Я умираю от голода.

Мы пошли пешком в ближайший ресторан. Франсуаза взяла меня под руку, мужчины шли за нами.

— Какая славная погода, — сказала она. — Обаяние осени.

И не знаю почему, эта фраза напомнила мне комнату в Каннах, и как Люк, стоя у окна, говорил: «Тебе нужно принять ванну и выпить виски, потом все пойдет хорошо» Это было в первый день, мне было не очень хорошо; потом были еще пятнадцать — пятнадцать дней с Люком, дни, ночи. И больше всего на свете я хотела сейчас именно этого, но это наверняка никогда больше не вернется. Если бы я знала... Хотя, если бы я и знала, ничего бы не изменилось. Есть такая фраза у Пруста: «Счастье очень редко прилетает именно к тому желанию, которое его призвало». В эту ночь они совпали: когда я приблизила лицо к лицу Люка, а я так этого хотела всю неделю, мне даже стало дурно, быть может, просто потому, что внезапно исчезла пустота, составлявшая в общем-то мою жизнь. Пустота, возникавшая от ощущения, что моя жизнь и я существуем врозь. А в тот момент я почувствовала, что, наконец, мы с ним вместе, и эта минута, может быть, лучшая.

— Франсуаза! — послышался голос Пьера позади нас.

Мы обернулись и поменялись спутниками. Я шла впереди, рядом с Люком, мы шагали в ногу по рыжей улице и думали мы, по-видимому, об одном и том же, потому что он бросил на меня вопросительный, даже требовательный взгляд.

— М-да, — сказала я.

Он грустно пожал плечами: незаметное движение, подчеркнувшее выражение лица.

Он вынул сигарету из кармана, закурил ее и на ходу протянул мне. Всякий раз, когда ему бывало не по себе, он прибегал к этому средству. При том, что он начисто лишен закоренелых привычек.

— Этот тип знает о нас с тобой, — сказал он.

Он сказал это задумчиво, но страха не чувствовалось.

— Это серьезно?

— Он не сможет долго противостоять искушению утешить Франсуазу. Добавлю, что за словом утешения, в данном случае, не стоит никаких крайностей.

На минуту я восхитилась его мужской доверчивостью.

— Это тихий болван, — сказал он. — Бывший сокурсник Франсуазы. Тебе это что-нибудь говорит?

Мне это кое-что говорило.

— Меня это огорчает в той же мере, в какой это может быть неприятно Франсуазе, — добавил он. — Тем более, что речь идет о тебе...

— Все понятно, — сказала я.

— Это огорчит меня и из-за тебя тоже, если Франсуаза начнет плохо к тебе относиться. Она может сделать для тебя много хорошего. Франсуаза — надежный друг.

— У меня нет надежного друга, — сказала я с грустью. — У меня нет ничего надежного.

— Тебе грустно? — спросил он и взял меня за руку.

На минуту этот жест тронул меня из-за явного риска, на который шел Люк, а потом мне снова стало грустно. Он действительно держал меня за руку, и мы вместе шли на виду у Франсуазы; но она хорошо знала, что он, Люк, который держит меня за руку, — просто усталый человек. Она наверняка думала, что он не вел бы себя так, будь у него нечиста совесть. Нет, не так уж он рисковал. Он — равнодушный человек. Я сжала его руку: конечно, это был он, всего лишь он. И что именно он заполнял мою жизнь, не переставало меня удивлять.

— Не грустно, — ответила я. — Никак.

Я лгала. Я хотела сказать ему, что я лгу, что на самом деле он мне необходим, но, как только я оказывалась рядом с ним, все казалось мне нереальным. Не было ничего; ничего, кроме приятных двух недель воспоминаний, сожалений. Зачем эта раздирающая боль? Мучительная тайна любви — думала я насмешливо. В сущности, я сердилась на себя за это, потому что чувствовала себя достаточно сильной, достаточно свободной и достаточно одаренной, чтобы у меня была счастливая любовь.

Завтрак был длинный. Я смотрела на Люка, потерянная. Он был красивый, умный и утомленный. Я не хотела расставаться с ним. Я строила смутные планы на зиму. Прощаясь, он сказал, что позвонит. Франсуаза добавила, что она тоже позвонит, чтобы познакомить меня с кем-то.

Они не позвонили — ни он, ни она. Это продолжалось десять дней. От одного имени Люка мне становилось тяжело. Наконец, он позвонил и сказал, что Франсуаза в курсе дела и что он даст мне знать о себе, как только сможет, — у него сейчас полно дел. Голос его был нежен. Я неподвижно стояла посреди комнаты, так до конца и не поняв. Я должна была обедать с Аленом. Он ничего не может сделать для меня. Я была унылождана.

В последующие две недели я видела Люка еще два раза. Один раз — в баре на набережной Вольтера, другой — в какой-то комнате, где мы не знали, что сказать друг другу, ни до, ни после. Во всем был привкус пепла. Очень любопытно наблюдать, как жизнь ставит свою подпись под параграфами романтических соглашений. Я поняла, что решительно не способна быть веселой подружкой женатого мужчины. Я любила его. Надо было заранее представить себе, хотя бы представить, что любовь может быть именно такой: наваждением, мучительной неудовлетворенностью. Я попыталась смеяться. Он не смеялся. Говорил со мной тихо, нежно, будто перед смертью... Франсуазе очень тяжело.

Он спросил, что я делаю. Я ответила — занимаюсь, читаю. Я читала или ходила в кино с единственной мыслью: рассказать ему об этой книге или об этом фильме, потому что он был знаком с режиссером, его поставившим. Я тщетно искала что-нибудь, что связывало нас — не считая боли, довольно гнусной, причиненной нами Франсуазе. Но ничего не было, тем не менее мы не думали терзаться угрызениями совести. Я не могла сказать ему: «Вспомни». Это значило

бы нарушить правила игры и напугало бы его. Я не могла сказать, что всюду вижу или, по крайней мере, хочу увидеть его машину, что я без конца начинаю набирать номер его телефона, но не доканчиваю, что, возвращаясь, я лихорадочно расспрашиваю консьержку, что все сводится к нему и что я просто ненавижу себя. Я ни на что не имела права. Ни на что, даже если в этот момент рядом со мной его лицо, руки, его нежный голос, все это невыносимое прошлое... Я худела...

Ален был славный, и однажды я ему все рассказала. Мы прошагали вместе километры, он обсуждал мою страсть, как литературную проблему, мне это помогло взять разбег и продолжать разговор в том же духе.

— И все-таки ты прекрасно знаешь, что это пройдет, — сказал он. — Через полгода или год ты будешь смеяться над этим.

— Не хочу смеяться, — сказала я. — И этим я защищаю не только себя, но и все то, что у нас было. Канны, наш смех, наше согласие.

— И тем не менее ты не можешь не понимать, что когда-нибудь это уже ничего не будет значить.

— Знаю, но не придаю значения. Пусть так — мне все равно. Сейчас, сейчас нет ничего, кроме этого.

Мы гуляли. Вечером он провожал меня до пансиона, с серьезным видом жал мне руку, а я, возвратившись, спрашивала консьержку, не звонил ли мсье Люк «такой-то». Нет, отвечала она, улыбаясь. Я валилась на кровать, вспоминала Канны.

Я думала: «Люк не любит меня», и сердце начинало глухо щемить. Я повторяла себе это и снова чувствовала боль, порой довольно острую. Тогда мне казалось, что какого-то успеха я достигла: раз я могу управлять этой глухой болью, преданной, вооруженной до зубов, готовой явиться по первому зову, стало быть, я ею распоряжаюсь. Я говорила: «Люк не любит меня», и все сжималось у меня внутри. Но при том, что я могла почти всегда вызывать эту боль по своему желанию; я не могла помешать ей произвольно возникнуть во время лекций или за завтраком, захватить меня врасплох и заставить мучиться. И не могла больше помешать этому повседневному и оправданному ощущению тоски и амевности собственно существования среди постоянных дождей, утренней усталости, пресных лекций, разговоров. Я страдала. Я говорила себе, что страдаю, с иронией, любопытством, не знаю как еще, лишь бы избежать жалкой очевидности неразделенной любви.

И вот случилось то, что должно было случиться. Однажды вечером я увиделась с Люком. Мы покатались в его машине по Булонскому лесу. Он сказал, что должен уехать в Америку, на месяц. Я сказала, что это интересно. Потом до меня дошел смысл: целый месяц. Я судорожно закурила.

— Когда вернусь, ты меня забудешь, — сказал он.

— Почему? — спросила я.

— Так будет лучше для тебя, маленькая моя, ^{гораздо} лучше... — И он остановил машину.

Я посмотрела на него. Какое напряженное, горестное ^{лицо} ^{лицо}. И так, он знал. Он все знал. Он был уже не только мужчиной, которого надо беречь, но и другом. Я вдруг обняла его. Прижалась щекой к его щеке. Я видела тени деревьев. Слышала свой голос, говоривший немислимые вещи.

— Люк, это невозможно. Не оставляйте меня. Я больше не могу жить без тебя. Вы должны остаться. Я одинока, я так одинока. Это невыносимо.

Я с удивлением слушала свой собственный голос. Неприличный, детский, умоляющий. Повторяла себе то, что мог бы мне сказать Люк: «Ну хватит, хватит, это пройдет, успокойся». Но я продолжала говорить, а Люк все молчал.

Наконец, словно для того, чтобы остановить этот поток слов, он обеими руками сжал мне лицо, нежно поцеловал в губы.

— Бедняжка моя, — сказал он, — бедная моя девочка.

Голос у него срывался. Я подумала сразу: «Хватит» и «Какая я несчастная». Я заплакала, уткнувшись ему в пиджак. Время шло, скоро он отвезет меня домой, совершенно измученную. Я примирюсь, а потом его уже больше здесь не будет. Во мне поднялся бунт.

— Нет, — сказала я, — нет.

Я вцепилась в него, мне хотелось стать им, раствориться в нем.

— Я тебе позвоню. Мы еще увидимся перед отъездом, — сказал он... — Прости меня, Доминика, прости меня. Я был очень счастлив с тобой. Знаешь, это пройдет. Все проходит. Я многое бы отдал, чтобы...

Он беспомощно развел руками.

— Чтобы полюбить меня? — сказала я.

— Да.

Щека у него была мягкая, горячая от моих слез. Я не увижу его целый месяц, он не любит меня. Отчаяние — какое странное чувство; и странно, что после этого выживают. Он отвез меня домой. Я больше не плакала. Я была убита. Он позвонил мне на следующий день и еще на следующий. В день его отъезда у меня был грипп. Он зашел ко мне на минуту. У меня был Алэн, мимоходом, и Люк поцеловал меня в щеку. Он мне напишет.

Глава 5

Порой я просыпалась среди ночи с пересохшими губами, и еще в полусне слышала, как что-то шепчет мне — надо снова заснуть, снова уйти в тепло, в бессознательность, ставшую для меня единственной передышкой. Но я уже начинала думать: «Это просто жажда. Достаточно встать, дойти до умывальника, попить и я снова засну». Но стоило мне встать, стоило увидеть в зеркале собственное отражение, слабо освещенное уличным фонарем, почувствовать тепловатую во-



ду, текущую по мне, как отчаяние охватывало меня, и я сто-
ва ложилась в постель, дрожа от холода, ощущая настоящую
физическую боль. Лежа плашмя на животе, обхватив голо-
ву руками, я вдавливала себя в постель, как будто моя лю-
бовь к Люку была каким-то смертельно опасным зверем, кото-
рого я, взбунтовавшись, пыталась раздавить, зажав между
своим телом и простыней. А потом начиналась борьба. Моя
память и воображение превращались в злейших врагов. Лицо
Люка, Канны, все, что было, все, что могло бы быть. И тут
же, сразу, сопротивление моего тела, требовавшего сна, и
моего рассудка, который был сам себе противен. Я выпрям-
лялась, начинала подводить итоги: «Это я, Доминика. Я люблю
Люка, а он меня не любит. Неразделенная любовь, неиз-
бежная грусть. Нужно порвать». И я представляла себе этот
окончательный разрыв в виде письма Люку, изящного, бла-
городного, объясняющего ему, что все кончено. Но письмо ин-
тересовало меня лишь в той мере, в какой его изящество и
благородство снова приводили меня к Люку. Едва я мысленно
пускала в ход это жестокое средство и порывала с Люком,
как немедленно начинала думать о примирении.

— Надо дать себе волю, — советовали мне хорошие люди.
Но во имя кого? Никто другой не существовал для меня,
даже я сама. Я существовала для себя только в связи с Лю-
ком.

Катрин, Ален, улицы. Этот мальчик, который поцеловал
меня на случайной вечеринке, с которым я больше не захо-
тела встретиться. Дождь, Сорбонна, кафе. Карты Америки.
Я ненавидела Америку. Тоска. Неужели это никогда не кон-
чится? Уже больше месяца, как Люк уехал. Он прислал мне
письмецо, нежное и грустное, я знала его наизусть.

Меня несколько утешало, что мой рассудок, до сих пор
противостоящий этой страсти, издеваясь над ней, высмеывая
меня, вызывая на сложные диалоги, понемногу превращал-
ся в союзника. Я больше не говорила себе: «Покончим с этим
дурачеством», но «Как уменьшить издержки?». Ночи были
неизменные, бесцветные, увязнувшие в грусти, а дни иногда
проходили быстро, заполненные занятиями. Я как бы отстра-
ненно размышляла на тему «я и Люк», что не мешало тем
невыносимым приступам, когда я вдруг останавливалась
посреди тротуара, и что-то поднималось во мне, наполняя
меня отвращением и гневом. Я заходила в кафе, опускала
двадцать франков в проигрыватель и устраивала себе с по-
мощью каннской мелодии пять минут сплина. Ален, в конце
концов, ее возненавидел. Но я, я знала каждую ноту, я вспо-
минала запах мимозы, он был со мной за мои деньги. Я себе
очень не нравилась.

— Да брось, старик, — терпеливо говорил Ален, — ну
что ты!

Мне не нравилось, когда меня называли «старик», но
тогда это меня утешало.

— Ты очень милый, — говорила я Алену.

— Да нет, — говорил он. — Я напишу диссертацию о
страсти. Это меня заинтересовало.

Но эта музыка убеждала меня. Убеждала в том, что мне нужен Люк. Я хорошо понимала, что эта необходимость была одновременно и связана с моей любовью и отдалена от нее. Я еще могла разделить его на составные части: человеческое существо — соучастник, объект страсти — враг. И хуже всего было то, что я никак не могла принизить его, как в общем-то мы всегда принижаем людей, отвечающих нам равнодушием. Были даже моменты, когда я думала: «Бедный Люк, как я устала бы с ним, соскучилась!» Я презирала себя за неумение быть легкой, тем более, что, возможно, обида привязала бы его ко мне. Но я хорошо знала, что он не способен обидеться. Это был не противник, это был Люк. Мне было не выбраться из этого.

Однажды, когда я в два часа спускалась из своей комнаты, собираясь идти на лекции, хозяйка протянула мне телефонную трубку. Сердце у меня не колотилось, когда я ее взяла, Люка ведь не было. Я тотчас узнала голос Франсуазы, нерешительный и глухой:

— Доминика?

— Да, — сказала я.

Я застыла на лестнице.

— Доминика, я хотела позвонить вам раньше. Вы не хотите зайти, повидаться со мной?

— Конечно, — сказала я. Я так следила за своим голосом, что, наверное, говорила как светская дама.

— Давайте сегодня вечером, в шесть часов?

— Договорились.

И она повесила трубку.

Я была и рада, и взволнована, услышав ее голос. Это воскрешало уик-энд, машину, завтраки в ресторане, роскошь.

Глава 6

Я не пошла на лекции, я меряла шагами улицы, спрашивая себя, что она может мне сказать. В соответствии с традицией мне казалось — я так страдаю, что никто уже не может сердиться на меня. В шесть часов стало накрапывать; улицы в свете фонарей были мокрые и блестящие, как тюленьи спины. Войдя в парадную, я взглянула на себя в зеркало. Я очень похудела и смутно надеялась, что тяжело заболелю и Люк будет рыдать надо мной, умирающей, стоя в изголовье постели. Волосы у меня были мокрые, вид загнанной. Я наверняка разбужу в Франсуазе ее неизменную доброту. На секунду я задержалась, разглядывая себя. Может быть, стоит «словчить», по-настоящему привязать к себе Франсуазу, вести двойную политику с Люком, лавировать? Но зачем? Да и как лавировать при таком чувстве, утвердившемся, незащищенном, всеобъемлющем? Моя любовь удивляла и восхищала меня. Я забыла, что для меня она только причина страданий.

Франсуаза открыла мне с вымученной улыбкой, с немного испуганным видом. Войдя, я сняла плащ.



— Как у вас дела? — спросила я.

— Хорошо, — сказала она. — Садись. М-м... садитесь.

Я забыла, что она говорит мне «ты». Я села; она смотрела на меня, явно удивленная моим жалким видом. Мне стало очень жаль себя.

— Что-нибудь выпить?

— С удовольствием.

Она взяла из бара виски, налила мне. Я забыла его вкус. Ведь было только это: моя грустная комната, университетская столовая. По крайней мере, подаренное ими красное пальто хорошо мне послужило. Я была так напряжена, так несчастна, что сила отчаяния вернула мне уверенность.

— Ну вот, — сказала я.

Я оторвала глаза от пола и посмотрела на нее. Она сидела на диване напротив меня и молча пристально на меня глядела. Мы могли бы поговорить о чем-нибудь постороннем, на прощание я сказала бы со смущенным видом: «Надеюсь, вы не слишком этого хотели для меня». Все зависело от меня; достаточно было заговорить, и поскорее, пока молчание не превратилось во взаимное признание. Но я молчала. Вот она, эта минута, минута настоящей жизни.

— Я хотела позвонить вам раньше, — наконец сказала она, — потому что Люк просил меня об этом. И потому что меня огорчает ваше одиночество в Париже. В общем...

— Это я должна была вам позвонить, — сказала я.

— Почему?

Я чуть не сказала: «Чтобы попросить прощения», но эти слова были слишком слабы. Я стала говорить правду.

— Потому что я этого хотела, потому что я действительно одна. И потом мне было бы неприятно, если бы вы думали, что...

Я сделала неопределенный жест.

— Вы плохо выглядите, — сказала она мягко.

— Да, — сказала я раздраженно. — Если бы я могла, я бы приходила к вам, вы бы кормили меня бифштексами, я бы лежала на вашем ковре, а вы бы меня утешали. Но вот незадача: вы — единственный человек, который сумел бы это сделать, но именно вы этого не можете.

Меня трясло. Стакан дрожал в руке. Больше невозможно было терпеть взгляд Франсуазы.

— Мне.. очень неприятно, — сказала я в свое оправдание.

Она взяла стакан у меня из рук, поставила на стол, снова села.

— Я... я ревновала, — глухо сказала она. — Ревновала к физической близости.

Я смотрела на нее. Я ожидала чего угодно, только не этого.

— Это глупо, — сказала она. — Я прекрасно понимала, что вы и Люк — это несерьезно.

Увидев выражение моего лица, она жестом попросила у меня прощения, за что я мысленно ее похвалила.

— То есть я хотела сказать, что физическая измена —

это и в самом деле несерьезно; но я всегда была такой. И особенно теперь... теперь, когда...

Ей, видимо, было тяжело. Я боялась того, что она скажет

— Теперь, когда я уже не так молода, — договорила она и отвернулась, — и не так желанна.

— Да нет же! — сказала я.

Я запротестовала. Я и не думала, что у этой истории может быть какой-то другой, неизвестный мне аспект — жалкий, то есть даже не жалкий, а такой обыкновенный, грустный. Мне-то казалось, что это касается только меня; ведь я ничего не знала о их совместной жизни.

— Не в этом дело, — сказала я и встала.

Я подошла к ней и остановилась. Она снова повернулась ко мне и чуть улыбнулась.

— Бедная моя Доминика, ну и каша получилась!

Я села рядом с ней, обхватив голову руками. В ушах у меня шумело. Внутри было пусто. Хотелось плакать.

— Я очень хорошо к вам отношусь, — сказала она. — Очень. Мне больно думать, что вы несчастливы. Когда я увидела вас впервые, я подумала, что мы можем помочь вам стать счастливой, а не такой подавленной, какой вы были. Не очень-то это получилось.

— Несчастлива, — пожалуй, так оно и есть. Впрочем, Люк меня предупреждал.

Мне хотелось припасть к ней, к этой крупной великодушной женщине, объяснить ей, как бы я хотела, чтобы она была мне матерью, и как я несчастна, похныкать. Но даже эту роль я не имела права играть.

— Он вернется через десять дней, — сказала она.

Какой еще удар обрушится на это упрямое сердце? Франсуаза должна вернуть себе Люка и свое полусчастье. Я должна пожертвовать собой. Эта мысль вызвала у меня улыбку. Это была последняя попытка скрыть от себя собственную незначительность. Мне нечем было жертвовать, никакой надеждой. Мне оставалось только самой положить конец или предоставить времени покончить с этой болезнью. В такой горькой покорности судьбе была доля оптимизма.

— Позже, — сказала я, — когда это все у меня пройдет, я снова увижу вас, Франсуаза, и Люка тоже. Сейчас мне остается только ждать.

У дверей она нежно меня поцеловала. Она не сказала: «До скорого».

Вернувшись к себе, я тут же упала на постель. Что я ей наговорила, какие бессмысленные глупости? Вернется Люк, обнимет меня, поцелует. Даже если он меня не любит, он будет здесь, он, Люк. Кончится этот кошмар.

Через десять дней вернулся Люк. Я это знала, потому что в день его приезда я проехала в автобусе мимо его дома и видела машину. Я вернулась в пансион и стала ждать звонка. Звонка не было. Ни в этот день, ни на следующий, я провела их в постели под предлогом гриппа, и все время ждала.

Он был здесь. Он мне не позвонил. После полутора месяцев отсутствия. Отчаяние — это холодная дрожь, нервный

смешок, неотвязная апатия. Я никогда так не страдала. Я говорила себе, что это последний рывок, но он был такой мучительный.

На третий день я встала. Отправилась на лекции. Ален снова начал ходить со мной по улицам. Я внимательно его слушала, смеялась. Не знаю почему, меня преследовала фраза: «Какая-то в державе датской гниль»¹. Она все время вертелась у меня на языке.

В последний день второй недели меня разбудила музыка во дворе — услужливое радио какого-то соседа. Это было прекрасное анданте Моцарта, несущее, как всегда, зарю, смерть, смутную улыбку. Я долго слушала, неподвижно лежа в постели. Я была почти счастлива.

Консьержка позвала меня к телефону. Я неторопливо натянула халат и спустилась. Я подумала, что это Люк и что теперь это не так уж важно. Что-то исчезло во мне.

— Ты в порядке?

Я вслушивалась в его голос. Да, это был его голос. Откуда во мне этот покой, эта кротость, будто что-то самое важное, живое для меня, уходило? Он предлагал мне посидеть с ним завтра где-нибудь в кафе. Я говорила: «Да, да».

Я поднялась к себе в комнату очень собранная, музыка кончилась, и я пожалела, что пропустила конец. Я увидела себя в зеркале, заметила, что улыбаюсь. Я не мешала себе улыбаться, я не могла. Снова — и я понимала это — я была одна. Мне захотелось сказать себе это слово. Одна, одна. Ну и что, в конце концов? Я — женщина, любившая мужчину. Это так просто: не из-за чего тут меняться в лице.

Перевод с французского Аллы БОРИСОВОЙ

Повесть «Смутная улыбка» появилась во Франции в 1957 году, на гребне успеха Франсуазы Саган. Французская критика считает ее лучшим произведением автора. Правда, героев Саган порой упрекают в отсутствии социальной активности, однако в проблемах Доминики, как ни ограничен их социальный диапазон, есть нечто общечеловеческое, жизненно важное и для советского читателя.

Повесть отличают несомненная психологическая правдивость и глубина, в ней звучит тоска по искреннему, настоящему чувству и боль одиночества.

«Смутная улыбка» переведена на языки различных стран, в том числе социалистических: польский, венгерский, болгарский.

¹ Шекспир. Гамлет., I акт, сцена IV. Перевод Б. Пастернака.

Ия МЕСХИ

НАША МАЛЕНЬКАЯ НЕОБЪЯТНАЯ ГРУЗИЯ

НАБРОСКИ К ПОРТРЕТУ

Но ведь ты совсем мала,
Так мала, как сердце это.
Так мала, что твой листок
С придорожного платана
Никогда еще не смог
Долететь до океана...
Ираклий Абашидзе

ЗЕМЛЯ

Землю эту невольно рассматриваешь не по горизонтали, а по вертикали. Снизу вверх расположены почти все существующие на земном шаре географические зоны, начиная с влажных субтропиков и до зон вечных снегов. И все это на сравнительно небольшой площади. Высоко в горах прыгают по скалам красавицы туры, бродят в горных лесах бурые медведи, а в низинах рыщут лисицы и волки, поют степные жаворонки, плещутся в морской синеве дельфины.

Но если взглянуть на нее утилитарно, глазами сельского хозяина, площади, пригодной для обработки, окажется совсем немного, лишь семнадцать процентов территории. Поэтому в оборот взят каждый поддающийся обработке клочок. Поэтому, когда летишь над горной частью Грузии, видишь сплошную мозаику пашен. И только в долинах рек, редких степях и на горных плато разместились крупные хозяйства: возделывается хлеб, цветут фруктовые сады, чайные плантации и виноградники, табак, цитрусовые, герань, казанлыкская роза, фейхоа... Защищенные мощными хребтами, овеваемые влажным дыханием Черного моря, все эти теплолюбивые чувствуют себя здесь прекрасно.

Человеку прежде всего нужен хлеб. В Грузии его немного. Но пшеница, особенно та, что вызревает в верхних ярусах, под ярким горным солнцем, дает отменную муку. Как известно, Кавказ является мировой родиной пшеницы, и возделываемые ныне культурные ее сорта содержат в себе специфику многовековой местной селекции.

В грузинском быту существует культ хлеба. Любопытно, что потребление хлеба на душу населения здесь выше, чем даже в хлебной России. Выпекаются местные сорта хлеба способом, который пришел к нам из глубокой дали столетий. Правда, работники современной (хлебной) промышленности сумели внедрить этот способ в культурное производство, и грузинский лаваш ныне выпекается на заводах. Но кое-где еще остались старинные пекарни, где колоссальные глиняные кувшины врыты прямо в землю, раскалены, и пекарю приходится нырять внутрь, дабы с космической скоростью налить куски теста к стенам кувшина. Хорошо еще, что готовый лаваш он уже подцепляет длинным шестом...

Чайный куст, это пышное вечнозеленое растение — иностранец на грузинской земле. Он появился здесь с конца прошлого столетия отдельными экземплярами у ботаников-энтузиастов. До революции была лишь одна промышленная плантация чая близ Батуми. Сейчас чаем заняты огромные площади Причерноморья. На склонах гор, пока руками (три тысячи молодых побегов надо оборвать с чайного куста, чтобы получить килограмм чая!), а на равнинах чаеуборочными машинами, созданными в республике, снимается урожай и идет в переработку на восемьдесят чайных фабрик республики.

До сих пор считалось, что многолетнее чайное растение не поддается селекции. Но вот, приобретя себе еще одно отечество в Грузии, чайный куст отдал себя во власть ученых. Академик Ксения Бахтадзе, поселившись в Чакве, десятки лет скрещивала различные сорта, получала популяции и программировала нужные ей свойства: рост куста, величину листа, вкусовые качества и т. д. И создала впервые в мире селекционные сорта чая, прекрасного «бахтадзевского» чая, который, увы, пока еще не выпускается в чистом виде. Но постепенно он вытесняет с плантаций давно завезенные из Китая и сильно постаревшие растения. И этот неуклонный процесс благотворно отражается на качестве теперь уже истинно грузинской чайной заварки.

Но самое традиционное, самое любимое растение грузина, его кормилица, его гордость — виноградная лоза. Около пяти сотен сортов лоз в Грузии. Круглый год виноградарь лелеет лозу, бережет, подкармливает и, конечно, делает из винограда вино. В наше время виноградники опрыскиваются с помощью вертолетов. В виноградарских районах Кахети работает специальная государственная Служба по борьбе с градом, а на сборе винограда действует современная автоматическая система управления. Да, осенью приходит время пожинать плоды своего труда. Наступает «ртвели» — уборка винограда. В громадных глиняных сосудах начинает бродить молодое вино. Можно садиться с друзьями за стол. Русский советский писатель Николай Тихонов, большой друг Грузии, сказал о таком столе: «Когда вы видите деревенского тамаду, грузинского крестьянина, который поднимает тост с таким вдохновенным, народным, мудрым словом, то вы ему завидуете. У этого человека особые отношения с небом, горами, лесами, облаками. Он разговаривает с ними, как с родными, как с братьями, как с членами одной семьи...»

Очень точное наблюдение и, как нам кажется, ничуть не обидное для других народных застолий, где добрый глаз отыщет всегда свою мудрость и простоту. Бывают народы, привязанные к одному только морю, и это само по себе величольно, красиво, мощно и просторно. Бывают привязанные к лесам, степлям или горам, что тоже сулит встречу с характерами своеобразными, неповторимыми. Но есть земли пестрые, и всего здесь понемногу от моря, от леса, гор и долин. И все как-то близко распределено, будто стоит букетом перед глазами, или светит щедро, или щедро брызжет дождем, или гонит облака на тебя, или, наоборот, угоняет их далеко. Словом, работает, работает, работает не покладая рук. Не отсюда ли это ощущение единой вместе с природой трудовой семьи?

Ты, Тбилиси, — винный кубок мой,
Персики, маджами, мухамбазы,
Чаша звезд, наполненная тьмой,
Жар земли — кораллы и алмазы...
Георгий Леонидзе.

СТОЛИЦА

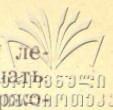
Город — это личность. Как рассказать о личности? Как рассказать о городе? Его надо воспринять тоже лично всеми пятью органами чувств. И еще одним, безымянным, шестым чувством, загадочность которого общеизвестна.

Какого цвета Тбилиси? Наверно цвета темного сурика. Это один из немногих городов, на который можно смотреть сверху, видеть его черепицу, его крашеные железные крыши. Каков Тбилиси на ощупь, если б можно было провести по нему рукой? Наверно очень негладкий, шершавый, весь в морщинах оврагов, в буграх холмов. Основатели города выбрали на берегу Куры небольшую площадку, но кто мог знать, что со временем она вытянется вдоль реки на сорок километров?

Звуковой символ Тбилиси — его речь, а в речи протяжные, певучие гласные. Согласные же или очень резкие, будто их выталкивают из гортани, или нежные, губные, как дрожь барабана. Что же это такое? Наверно маленький джаз-оркестр... Пахнет Тбилиси, увы, больше неистребимым запахом бензина, чем свежей листвой. Вкус? Теплого лаваша, терпких вин, чеснока, молотых грецких орехов, уксуса, киндзы. Букет всего этого. Но он же пахнет и жареной картошкой, и люля-кебабом, и украинским борщом. Все так субъективно!

И тем не менее...

Тбилиси — город, который с 458 года титулован столицей Грузии. В каком возрасте он получил этот титул, теперь трудно определить, но, видимо, в почтенном. За пятнадцать столичных веков его сорок раз грабили и разрушали. Он падал, почти умирал, снова поднимался. За последние полвека увеличился в четыре с половиной раза. Сейчас в нем больше миллиона жителей.



Тбилиси похож на котел, образованный горами. Если летом его накрывает крышка облаков, в котле нечем дышать. Стоят длинные очереди за водами Лагидзе или за боржоми. Зимой из крышки иной раз выпадает снег. Где-то, у самого асфальта, снежинка оборачивается дождевой каплей: на дне котла часто не хватает холода.

Тбилиси — город, о котором упоминали в своих трудах Маркс, Энгельс, Ленин. Город, в котором жили такие политические деятели, как Иосиф Сталин, Михаил Калинин, Сергей Киров, Серго Орджоникидзе, Степан Шаумян, Нариман Нариманов, Камо, Алеша Джапаридзе. Город, в котором завещал похоронить себя Александр Грибоедов, и просьба его исполнена. Город, в котором служащий Железнодорожных мастеров Алексей Пешков написал свой первый рассказ и напечатал его под псевдонимом, ныне известным во всем мире, — Максим Горький...

Тбилиси говорит по-грузински и, разумеется, по-русски. Но он говорит еще по-армянски, по-азербайджански, по-осетински, по-абхазски, по-гречески, по-курдски, по-украински, по-цыгански, по-еврейски, по-польски... Тут следует остановиться, потому что остальные, примерно семьдесят языков, звучат редко.

Тбилиси — город, который лежит на каменной подушке. Иначе говоря, подушка города набита камнем и... горячей водой. Там, где эта вода целебна, ею лечатся. Где просто горяча — ею моются. А также, добывая ее из глубоких скважин, пускают в отопительную сеть и на обогрев пригородных теплиц. Так оправдывается название города: «тбили» по-грузински «теплый».

Тбилиси — город, который не может (не в состоянии!) жить тихо. Шумят автомобили, или взбираясь на подъем или скатываясь вниз с гоночной скоростью. Водители, невзирая на строжайшие запреты, жмут на клаксоны, ибо как не жать, если клаксон заграничный. Матери и бабушки кричат вдогонку детям во всю мочь. Если раньше они это делали у порогов своих маленьких домиков, сейчас приходится надрываться с десятых этажей. Шумят свадьбы, шумят строительные механизмы, компрессоры. Все время что-то строится или переделывается. Шумят два человека, которые встретились на улице и, кажется, вот-вот разорвут друг друга, а у них, между тем, дружеский обмен мнениями по поводу прошедшего футбольного матча...

Тбилисец поет лиричные песни, а в меню предпочитает острую пищу. Существует понятие «хлеб-соль», здесь оно распространено. Но к нему еще можно добавить понятие «хлеб-сыр». Это то, чем довольствуется тбилисец, когда он очень поинструлся. Без хлеб-сыра, пожалуй, прожить невозможно. Поэтому в большое сырохранилище на окраине города каждое утро прибывают тонны сыров, выработанных в окрестных торных районах. Это в основном острые рассольные сыры «со слезой», о которых говорят: сыр плачет — покупатель доволен...

Тбилиси — город, который неизвестно почему (загадочное шестое чувство!) вызывает поэтическую окрыленность.

«Смертельно хочу побывать в Тифлисе!.. — писал великий композитор Петр Чайковский. — Вспоминаю Тифлис, как какой-то сладкий сон...»

Александр Дюма (отец) вспоминал о Тбилиси:

«...Город, расположенный ярусами по склонам гор, спу- скался до дна пропасти с домами, похожими на стаю распуган- ных птиц...»

Владимир Маяковский, глядя как-то на город с горы Мтацминда, сказал:

«Вот это трибуна! Отсюда можно разговаривать с ми- ром!»

«Поэты Грузии! — писал Сергей Есенин. — ...Я северный ваш друг и брат...»

Поэты Грузии, как и любые подлинные поэты, никогда не были только сладкозвучными соловьями. Они выражали ду- шу народа, его стремления и боль. Стала Грузия советской республикой — и тбилисцы свои лучшие проспекты назвали име- нами поэтов Шота Руставели, Ильи Чавчавадзе, Акакия Це- ретели, Важа Пшавела... Не свидетельство ли это высокого поэтического настроения тбилисца, того самого настроения, который стронть и жить помогает?

...Учение умудряет, дает свободу... пускает в плавание по морю и знакомит с тайнами его; позволяет взлететь и открывает перед нами все творения неба и земли...

Вахушти.

1745 год.

«История царства грузинского»

ТРУД, МЫСЛЬ...

С тех пор как человек помнит себя, он трудится, чтоб поддержать свое существование. В то же время пытается по- нять окружающие его предметы и явления, что тоже, в ко- нечном счете, необходимо для более благополучного и радост- ного существования. Так переплетаются в жизни труд и мысль.

Известно, что в Грузии, близ нынешнего портового города Поти, еще в IV веке был центр философского образования, что в начале XI века возле Кутаиси была основана Гелатская академия, а чуть позже такая же академия открылась в Во- сточной Грузии, в селе Икалто. Медицинские книги, написан- ные грузинскими учеными в средние века, говорят о высоком уровне тогдашнего врачевания. В XVIII веке в Тбилиси была своя типография. К этому же времени относится деятельность известного историка и географа Вахушти Багратиони. Изгнан- ный врагами, он писал свои труды в приютившей его Москве.

Мысль работала во все времена, мысль гениальных оди- ночек. Работали и руки мастеров, умельцев, великих искус- ников.

Как и всюду, наука и техника получила развитие и в Грузии. Научкой и техникой здесь заняты около 200 научно-исследовательских учреждений, в том числе и институты Академии наук Грузинской ССР. Основатель ее — известный миру математик Нико Мухелишвили. Сильная математическая школа, работающая в Грузии уже много лет, создала некоторый крен в сторону естественных наук: прикладной математики, физики, астрофизики, геофизики, кибернетики. Но им не уступают и традиционно чтимые в Грузии науки: история, философия, физиология, психология..

Ученые возвращают слух, создают новые машины, автоматизируют тяжелые для человеческих мышц процессы труда. Ученый — великий труженик ума. Но среди множества разнообразнейших профессий хочется особо выделить профессию металлурга, труд масштабный, звонкий, истинно мужской. К этому можно добавить: древнейший труд рабочего-грузина. Об этом свидетельствуют археологические памятники, в которых найдены следы железоплавильной деятельности на территории Грузии. Об этом сообщали древние: Эсхил, Ксенофонт. Аполлон Родосский. Последний пишет: «...несчастнейшие из людей, рабочие-халибы (халибы — одно из грузинских племен) заселяют скалистую и суровую страну, занимаясь обработкой железа». Да и как могли грузины не плавить железа и меди, если вся их жизнь была защита от нашествий, если тяжелая конница Вахтанга Горгасали шла в атаку закованная в латы и на конях, прикрытых броней?!

Но оставим древнее. Шла двенадцатая весна Советской Грузии. Промышленность только становилась на ноги после революции и гражданских битв. Но уже был построен ЗАГЭС, первая электростанция на реке Куре, и заканчивалось строительство второй, на реке Риони. Из горного месторождения Чиатура шел марганец в порт Поты, его переваливали на пароходы и увозили на металлургические заводы страны и за границу. В те годы ученый Георгий Николадзе трудился над созданием печей, в которых можно было бы получать сплавы марганца и железа, столь необходимые для производства стали. Он создал их, и в городке Зестафони в 1933 году начал работать первый современный ферросплавный завод. Крестьяне из ближних сел стали металлургами.

Пробежало еще одиннадцать весен. Около Тбилиси, там, где когда-то был древний город Рустави, началось строительство крупного металлургического завода с полным циклом производства: чугуна, сталь, прокат, трубы. Сейчас в Рустави уже произошла смена поколений первых металлургов, накопился опыт, намного расширилось производство. А в городе на отходах металлургии выросли заводы Большой химии.

И еще прошли годы. Геологи обнаружили в Грузии Медную Гору. Горняки начали разработку карьеров. Поднялись цехи горно-обогатительного комбината. И снова грузинские ученые встали рядом, нашли оригинальную технологию производства порошкового металла. И возник экспериментальный цех с автоклавами. А значит быть тут и медной металлургии!

Труд и мысль. В общем они неразлучны. Нет мысли без труда, и бессмысленный труд — не труд. Но кто-то берет на себя задачу первопроходцев мысли. Это, конечно, ученые.

Много лет предсказывали ученые нефтеносность грузинских недр. Много было поисков, разочарований, надежд. А прогнозы все-таки оправдались. Нефть пошла в 1974 году, и богатая, светлая! Но вот другой пример того, как из труда, будто из плодородной почвы, выбивается росток мысли, превращаясь со временем в цветущий куст. Железной дороге пошел уже второй век! Железнодорожные мастерские, обслуживающие эту дорогу, позже преобразованы в завод, который ремонтирует паровозы и вагоны. Тем временем дорога переходит на электрическую тягу. Постепенно завод ремонтирует не паровозы, а электровозы. Наконец паровозы сдаются в музей, дорога электрифицирована полностью. И вот тут возникает мысль: а почему бы не строить самим эти сложнейшие электрические машины? Так рождается в Тбилиси электровозостроительный завод. В 1961 году он выпускает свою первую машину ВЛ-10...

Громадную индустриальную революцию совершает крестьянская республика, особенно за послевоенные годы. Она выпускает станки, автомобили, самолеты, математические машины... Если в 1927 году электростанция ЗАГЭС казалась гигантом гидроэнергостроительства, сейчас на реке Ингури в строй вступила ГЭС, которая по классу технической сложности не имеет себе равных.

Все было: труд и мысль. Но не в одиночку. Ученый Тбилиси встречался с ученым Москвы, Ленинграда, Киева, Баку. Рабочий Рустави, Кутаиси ехал в другие города страны, становился рядом с другим рабочим, учился у него. Буровой мастер из Грозного прилетал к грузинским буровикам вместе вскрывать нефтяной пласт, потому что нефть — советская, потому что автомобили «Колхида» бегают по всем дорогам, а стальные руставские трубы нужны на всех стройках страны...

Пронеслась их жизнь, как будто сновидение
ночное...

Шота Руставели

ДЕСНИЦА МАСТЕРА

Если хочешь проникнуть в прошлое народа, надо знать, что делалось когда-то рукой мастера. Ведь этой рукой руководили чувство, идея, вкус. Знакомишься с работами древних мастеров, и вот воображение уже рисует тебе человека, который жил сотни, тысячи лет до тебя. А за ним представляешь и целое поколение, образ его жизни, силу разума.

Страницы древних фслиантов со старогрузинской вязью, обрушенные стены крепостей, остатки пещерных городов, фрески, передающие одежду, характер, лицо вельможи того времени. Не видится ли за этим другое лицо — сильное, вдох-

новенное лицо художника, труженика, который выполнил за-
каз вельможи?

Природа может чаровать глаз, но памятники культуры,
созданные людьми, обращают мысль к творцу. И чем спокой-
нее, чем счастливее живет народ, тем сильнее у него желание
(и возможности!) проникнуть в историю своей страны, познать
ее и поучиться у нее.

Советская республика Грузия охраняет сейчас около пя-
ти тысяч памятников строительного искусства. Мир «камен-
ных летописей» бесконечно разнообразен и красноречив. И
сила воздействия их на умы современников гораздо глубже,
чем может показаться на первый взгляд. Сила их в том, что
они вызывают уважение к Человеку, к тому, что он делал ког-
да-то, и к тому, что он делает сейчас.

Максим Горький, горячо любивший природу Грузии, «ее
красивых гордых детей», приехал в знакомый город Тбилиси
уже на склоне лет и говорил тбилисцам:

— То, что делает человек, значительнее всего того, что
делает природа, которой мы обязаны только тем, что она про-
изводит нас на свет, — да, она нас производит, а все осталь-
ное от нас...

Вот это «все остальное» оставляет культуре народа рука
мастера.

РУКА МАСТЕРА кладет камень на известковый раствор и
воздвигает стену храма. Такой была рука зодчего Арсаки-
дзе, строителя собора Светицховели в городе Мцхета (XII —
XIII вв.). О его трагической судьбе рассказал в романе «Дес-
ница великого мастера» советский писатель Константин Гам-
сахурдиа. И роман этот написан тоже рукой мастера пера.

РУКОУ МАСТЕРА философии Иоанна Петрици из Ге-
латской академии переведены на грузинский язык Аристотель
и неоплатоники, написаны свои, широко известные в Визан-
тии, философские труды.

РУКИ МАСТЕРОВ чеканки по золоту Бека и Бешкена
Опизари создали шедевры златоваения и оставили после себя
целую школу мастеров чеканного искусства.

РУКА МАСТЕРА поэзии Шота Руставели начертала
«Витязя в тигровой шкуре», поэму, которая на полтора-два
столетия опередила великих мыслителей Возрождения и вос-
славилась любовью и дружбу, мужество и добро, свободу и гума-
низм.

РУКА МАСТЕРА живописи VI века, никому не извест-
ного художника, «писала по мокрому», то есть создала фре-
ску на стене Давитгареджийского монастыря, и эта удивитель-
ная фреска впечаталась в стену на четырнадцать столетий...

РУКИ МАСТЕРОВ никому не известных каменотесов вы-
рубили в громадном туфовом массиве над Курой пещерный
монастырь Вардзиа (XII — XIII вв.) с его сотнями комнат и
таинственными лестницами, уходящими в глубь горы. Кто
знал этих людей? Кому приходило в голову оставлять потом-
кам их имена?

Около города Гори, в громадной скале, на фоне сказоч-
ных изломов и окаменелых лавовых волн темнеют проемы ка-

ких-то странных, затемненных глубиной зданий. Это Уплисцихе, Крепость Владыки, древнейшая цитадель сердцевины Грузии, провинции Картли. Дата возведения этой цитадели до сих пор не уточнена. Известно лишь, что создана она задолго до утверждения христианства в Грузии, в пору язычества. И так это было давно, что еще долго придется очищать ее от наносов времени, от переделок последующих архитекторов, чтоб добраться до первоначальных ее очертаний.

Но и сейчас уже облик Уплисцихе поражает строгостью пропорций, грандиозностью форм и необыкновенной чистотой обработки камня. Но и это не главное! Перед вами не грубо тесаные комнаты-пещеры, а высеченные в камне высокие здания, которые полностью воспроизводят формы деревянного зодчества, его конструкции, балочные перекрытия, своды с кессонной отделкой. Это сочетание «пещерности» и «наземности» — редчайший в истории архитектуры случай. И как тут не поклониться таланту рук человека, создавшего чудо из камня, «утепленное» иллюзией дерева?..

Иных не застали награды,
Но памяти их мы верны.
В Арагви их крови накрапы
На спинах форелей видны...

Иосиф Нонешвили

КИНЖАЛ

Грузинский кинжал увидишь сегодня разве что в танцевальных ансамблях, да у глубоких стариков, что по большим праздникам облачаются в национальные костюмы. И еще можно встретить изображение кинжала на обелисках, поставленных у восточных ворот. Как бы напоминают они о тех, кто не щадя живота своего отражал здесь неприятельские набеги.

Грузинский широкий кинжал с серебряной насечкой — символ защиты и символ борьбы. Кинжал — это революция.

Была в Тбилиси в 1903 — 1905 годах хорошо законспирированная подпольная типография большевиков. Она работала в глубоком подвале специально и хитро построенного для этого жилого дома. Отсюда, с печатных машин, сходили тонны нелегальных газет и книг, распространяемых по всему Закавказью. А наверху, над мощными кирпичными сводами, в мирном доме с колодцем во дворе (через колодец — потайной вход в подвал!) сидела у окна благопристойного вида тетушка. Она сидела в часы работы печатников и при виде прохожего на улице подавала сигнал: «Остановить машину!».

Острое печатное слово в ту пору разило как кинжал

В ту пору Грузия рабочая, ремесленная и служивая бурлила стачками и демонстрациями. Грузия крестьянская поднималась на восстания — деревнями, уездами. Восстание крестьян в Гурии, одной из грузинских провинций, заняло внимание большого русского писателя и мыслителя Льва Тол-

стого. Он записал в своем дневнике: «Народ решил быть свободным от правительства и устроиться самому... Это — кое дело».

Это было великое дело, великая репетиция к Октябрьской революции 1917 года. Но когда в Петрограде в октябре 1917 года победила Советская власть, в Грузии на гребень революционной народной волны удалось вскарабкаться отнюдь не революционерам, а эсерам, меньшевикам, социал-предателям. К сожалению, понадобилось три с половиной года для того, чтобы антинародная сущность этого правительства, его покорность интервентам, его полная беспомощность в делах экономики обнаружилась полностью. Коммунисты Грузии все это время вели массы к свержению кучки шовинистов. И это произошло в феврале 1921 года не без помощи 11-й Красной Армии. Спор о том, какому строю быть в Грузии, решился окончательно. Победили Советы, победило чувство пролетарской солидарности, выкованное долгими годами борьбы совместно со всеми народами России.

Голодные и босые, едва остывшие от боев, вышедшие из меньшевистских тюрем, бойцы революции немедленно принялись за восстановление хозяйства, доведенного до полного упадка. От 1921 до 1941 года — расстояние в двадцать лет. Но что такое двадцать лет в жизни только что народившейся республики? И между тем ровно через двадцать лет — снова битвы, оружие, огонь. Началась Великая Отечественная война. На фронт ушла одна пятая часть населения Грузии. Ушли грузины, абхазы, осетины, а с ними живущие в Грузии русские, армяне, азербайджанцы и представители многих других народов. Ушли для того, чтоб защищать земли России, Украины, Белоруссии. И свою любимую землю грузин.

Зимой 1942 года отборные горнострелковые части гитлеровской армии забрались с севера на перевалы Главного Кавказского хребта. Но их не пустили на юг, в Закавказье, в долины Грузии, к нефтяным вышкам Азербайджана, к богатым недрам Армении. Кавказцы и россияне, украинцы и представители народностей Средней Азии стеной стали на горных хребтах. Спусти много лет, в одно очень жаркое лето, вечные снега обнажили и открыли картину нечеловеческой стойкости защитников Кавказа: останки погибших бойцов, оружие, кучи стреляных гильз... Снова заново точили раны в сердцах близких и матерей. Но разве у матерей могут зажить раны?

Мама, простите мне:

Я не умею теперь улыбаться.

Что там в глазах моих нынче —

Не стоит заглядывать — страшно.

Можно у черного ветра

Да красных снегов допытаться,

Как ваш сегодняшний сын родился

И как умер вчерашний...

Так писал своей матери с фронта молодой грузинский полет офицер Мирза Геловани. Он родился в тушинских горах

в год Октябрьской революции. Он погиб на полях Белоруссии смертью храбрых в 1944-м, когда война уже шла к победе.

Каждый третий из тех, кто ушел в годы войны защищать Родину (а среди них были и девушки в шинелях!), пал в бою.

Кинжал — это символ борьбы за то, чтоб не было больше войн, никаких и никогда. Чтоб не было больше смертей как результата деятельности бесноватых правителей. Чтоб не было матерей в трауре, детей без отцов...

Уже полсолнца в море. Так олень,
Бросаясь вплавь, по грудь уходит в воду.
А тополя мингрельских деревень,
Как девушки, толпою ждут захода...

Симон Чиковани

М О Р Е

Течет с гор к Черному морю маленькая речушка Псоу, такая мелкая в летнюю пору, что можно ее перейти вброд. На правом берегу часы показывают 8 утра. На левом в то же самое время — 9 утра. Через Псоу проходит пояс времени. И через Псоу проходит граница республики. На правом берегу — село Веселое, Россия. На левом — село Леселидзе, Грузия. Точнее сказать — Абхазская автономная республика, входящая в состав Грузинской ССР. Только перейдешь мост через Псоу, из Веселого в Леселидзе, и начинаются 300 километров грузинского побережья вплоть до села Сарпи, что на границе с Турцией.

300 километров морского берега Грузии — самые теплые из тысяч километров советской земли, омываемой разными морями и океанами. Теплые они не только потому, что южнее других. От холодного севера оберегают их высокие горы — отроги Главного Кавказского хребта и Малого Кавказа. Осенью горы спешат нахлобучить на свои крутые лбы снежные папахи, а весной медлят расстаться с ними. Поэтому, когда на морском берегу еще (или уже!) тепло, когда в море еще (или уже!) купаются, снежные вершины с помощью ветров то и дело напоминают о себе ледяным дыханием. Но не страшно оно морю, долго еще хранит оно накопленное солнцем тепло.

300 километров морского берега Грузии — это множество следов древнейшей цивилизации. Они присутствуют на этой земле в виде руин старинных крепостей и храмов, остатков оборонительных стен, могильников и башен. Великая Абхазская стена, которой уже пятнадцать столетий, имела протяженность в 160 километров. Каменные гробницы (дольмены) у села Эшера построены из многотонных глыб и им четыре тысячи лет. Сторожевая башня у входа в Бзыбское ущелье возвышается семьсот лет. Анакопийской крепости на Ивер-

ской горе, вокруг которой сложилось Абхазское княжество, четырнадцать столетий. Городу Диоскурия, обнаруженному под водой в Сухумской бухте, по меньшей мере два с половиной тысячелетия... Не счесть диковинок прошлого и на территории Аджарской автономии. Особенно хороша тут крепость Гонио — огромный прямоугольник, замкнутый толстыми зубчатыми стенами, за которыми в первых веках нашей эры шумел большой город, а ныне цветут душистые мандариновые сады.

300 километров морского берега Грузии — это полная революция в растительном царстве этих мест, резкий поворот от сырых бесплодных джунглей к возделанным плантациям, садам и декоративным паркам с редкими экзотами субтропической флоры. Когда-то, в очень далекие времена, здесь тоже были сады. И цвел здесь таинственный сад богини Гекаты, что готовила снадобья из целебных растений и обучала тому дочь царя колхов — Медею. Когда-то Колхида была благословенным краем, и именно сюда устремился греческий герой Язон похитить у колхов золотое руно и царскую дочь Медею. Прошло много времени, и то, что застало здесь людей советского поколения, походило на кошмар: сотни гектаров заболоченной земли, топей, душных испарений. Комары, малярия. Гигантский труд затрачен для того, чтобы отвоевать все это для полезных растений и здоровой жизни. Ученые, ботаники, крестьяне, любители природы завезли сюда инземную флору, терпеливо акклиматизировали ее, и вот она уже украсила парки, вошла в сельскохозяйственное производство республики.

300 километров морского берега Грузии — это нанизанное на пляжи ожерелье черноморских курортов: больших и малых, импозантных и скромных, старых и только что нарождающихся. Солидная, всемирно известная Гагра — самое теплое место на этих теплых берегах. Батумская группа живописных курортных мест, среди которых выделяется своими лечебно-климатическими достоинствами Кобулет. Красавица Пицунда на мысу в сосновой роще — один из самых комфортабельных курортов Причерноморья. И десятки туристских баз. Только абхазские берега принимают ежегодно не менее четырех миллионов туристов. В основном это пешеходы, что идут через суровые перевалы Кавказского хребта к морю, которое их согреть, обласкает и даст хорошо отдохнуть. На трехстах километрах берега — не менее двухсот здравниц и туристских баз. Может быть, это и не много, но есть мнение, что «индустрия отдыха» не может быть отдыхом, что пляж, на котором яблоку негде упасть, — не пляж, а Ноев ковчег...

300 километров морского берега Грузии — это километры гостеприимства. Прежде всего потому, что таковы здесь традиции. Издавна на этих землях образовались эстонские и армянские, русские и греческие поселения. Люди бежали сюда от беды и здесь находили приют и клочок своей трудной земли. В кровь и плоть аборигенов побережья вошла готовность принять человека, на каком бы наречии он ни изъяснял-

ся. Главное, чтоб он был человеком. Именно на этих берегах, в устье впадающей в море Кодори, случай вынудил Максима Горького принять ребенка от незнакомой роженицы. А позже появился на свет рассказ «Рождение человека», произведение, исполненное глубочайшего гуманизма, и слова в нем: «Превосходная должность — быть на земле человеком...»

Человек и море. Человек потребляет, а море — дает. Оно дает соленую воду, жгучее солнце, легкие бризы... Море тащит на своей спине громадные дизельэлектроходы и маленькие «Кометы» на подводных крыльях. Море позволяет вылавливать из своих глубин живую добычу, посылает нам загадочных наших друзей — дельфинов.

Море надо любить, как любят его малые дети, которые чувствуют в нем что-то родное: наивность, широту, чистоту.

Лучше полнить душу, чем тело.

Народная поговорка

ПРЕКРАСНОЕ

Грузин исполняет свой народный танец упоительно. То парит, как орел, величаво расправивший крылья, то трепещет, как ласточка в синем небе. Чем быстрее скользят в танце ступни его ног, тем неподвижнее торс, превращенный как бы в изваяние. Между тем танцор прыгает на пальцах ног. Он бурно стремителен и в то же время почтительно уважителен к своей партнерше. У нее же за внешней сдержанностью угадывается сильный темперамент. Она быстро передвигается по кругу мелкими шажками, при этом руки ее выделяют мягкие, округлые, невыразимо нежные движения. Изъявления почтительных чувств принимает она благосклонно, однако с легким вызовом.

Оба они, мужчина и женщина в паре, а рядом с ними много женщин и мужчин составляют ансамбли танца. Не счесть, сколько танцевальных ансамблей в Грузии! И есть вершина: филигранно отточенный, известный всему миру Государственный ансамбль народного танца Грузии под художественным руководством Нино Рамишвили и Илико Сукишвили.

Ярко выраженная танцевальность народа внесла свой национальный дух в грузинский классический балет. Так же, скажем, как и его певучесть. В Грузии любят пение, особенно хоровое. Песня сплавляла людей в боевых походах, создавала соответствующий настрой в дни скорби и печали, а уж в пору веселья и дружеских встреч без песни совсем не обойтись. И что примечательно: сколько в Грузии этнических групп (а их много!), столько и песенных характеров. Исполнены гордого мужества песни сванов, величавы кахетинские застольные, лиричны мингрельские, искрятся задором и юмором песни гурийцев... И совсем особая сфера — песни городских трубадуров, исполнителей серенад. А также городские



романсы под гитару. Недаром грузинской современной эстраде очень близок стал русский классический романс, в котором прославились такие звезды, как Тамара Церетели, Кето Джапаридзе, Нани Бреговдзе...

Народные песня и танец. Классические опера и балет. Театру оперы и балета в Тбилиси более ста тридцати лет. Сюда хаживал еще Петр Ильич Чайковский. «Оперы мои играют здесь больше, чем где-либо...», — писал он отсюда. В Тбилисском оперном театре началась феерическая карьера никому тогда не известного двадцатилетнего Федора Шаляпина. Здесь расцвел талант гениального советского композитора Захария Палиашвили, чьим именем теперь назван театр. Здесь же вырос как композитор крупного плана народный артист СССР Отар Тактакишвили, много лет соединяющий свою активную творческую деятельность с постом министра культуры республики.

И жизнь грузинской драмы прекрасна своей интернациональностью. Но не только потому, что в государственных театрах (а их в республике 23) играют на грузинском, русском, армянском, абхазском, осетинском языках. Интернациональная суть его в более глубинных явлениях. К примеру: немецкий драматург Бертольд Брехт создал «Кавказский меловой круг», грузинский театр имени Руставели сделал по пьесе яркий, живописный спектакль, показал его в Москве, в Англии, Италии. Всюду он был бурно принят.

Тут хочется вспомнить слова чудесного грузинского поэта Акакия Церетели:

«У любого искусства есть своя родина, — писал он, — но не обособленное царство, не вотчина, а отчизна. Оно кровное детище той страны и того народа, где впервые появилось на свет, и вместе с тем возлюбленное, приемное дитя всего человечества».

Приемное дитя... Его любят порой не меньше, чем свое собственное. Незадолго до революции умер в Тбилиси в нищете и безвестности большой художник. И только спустя много лет, собрав его наследие, десятки, сотни картин, оказавшихся в разных руках, люди удивились его пронзительному таланту и кристальной душе. То, что он видел, то, что переносил на клеенку, картон, жез, стало сейчас достоянием и национальной гордостью грузинского изобразительного искусства, достоянием и радостью любителей искусства во всем мире. Картины Нико Пиросмани путешествуют из страны в страну. И везде неизменно, пользуясь выражением К. Паустовского, «берут человека за сердце и чуть сжимают его...»

Также, вдали от Грузии, близкими становятся картины народного художника СССР Ладо Гудиашвили, песни композитора Реваза Лагидзе, пронизанные добрым юмором хинги и пьесы Нодара Думбадзе. Все они по-своему зовут к прекрасному.

Прекрасное — возвышенно, эмоционально, полно света, улыбки, добра и всегда народно. Прекрасное воспитывается с детства. Ведь только в детстве человек бывает воистину гармоничен и прекрасен. И только тот, кто сохраняет в се-

бе «детскость» восприятия мира, его непрестанную новизну и удивительность, становится истинным художником в литературе, театре, музыке, танце, живописи...

041935940
3033010333

Вы — корни гор, грузины молодые,
Основа и опора всей гряды...

Михаил Луконин

КОРНИ ГОР

Раздел этот последний, о малых и старых, о тех, кто начинает солнцеворот, и о тех, кто уже на закате.

Первые просто еще не знают, не ведают — что есть жизнь. Вторые, если и приходят к мысли, что жить надо талантливо, мысль эта — увы! — уже бесполезна для них. Речь идет не о выдающихся, знаменитых, гениальных (такие рождаются не часто!), а о жизни самых обыкновенных людей. Речь идет о том, что хорошо бы каждому прожить небездарно, небесследно, небезынтересно. Нужны дела. Пусть маленькие дела, но непременно добрые, полезные не только для своей персоны.

Человек в круглой шапочке с лицом мудреца имел маленький дом в местечке Мцхета, и около дома — маленький клочок земли. Всю свою долгую жизнь он сгибался над этим клочком, выращивая цветы и делая из цветов, камней, сухих ветвей и мха различные сочетания. Эти сочетания как бы представляли в миниатюре горы и долины Грузии, ее ущелья, лесные балки, громады скал, присыпанные землей и поросшие травами. То не было копией, а только художественным видением. Калитка его сада всегда была раскрыта настежь для всех. И шли потоком гости Грузии, как они и сейчас идут в этот сад, оберегаемый уже дочерью этого человека. Идут и смотрят завороженные, а уходят просветленные. Старик в шапочке, Миха Мамулашвили, делал это для себя, любя природу своего края. И делал это для других, чтобы они, увидев, полюбили его красивую страну. Никто не требовал от него этого. Он просто сам умел радоваться жизни и радоваться людям, и так прожил без нескольких месяцев сто лет.

Мы хотим рассказать и о женщине в черном платке, перекинутом через плечо с некоторой долей кокетства. Она абхазка, имя ее Хфафь, что значит Посеявшая Золото. Когда в Кутоле, в селе, где она жила, создали коллективное хозяйство, ей было около девяноста лет. Она вошла в правление колхоза, стала первым бригадиром на чайной плантации и ездила в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. И в 130 своих лет она еще ходила на чайную плантацию «пока солнце не припечет», и не для того, чтоб прокормить себя (в семье на нее за это сердились!), а просто не могла без «аусуры», работы... Всему Кутолу на удивление жил человек!

В Грузии (Абхазии, Аджарии, Осетии) много людей, живущих долго. Ученые говорят о благоприятном климате,

пище, образе жизни. Наверно слагаемых много. И, наверно, при всем этом жить, принеся людям добро, — большое счастье. А у счастливого человека много стимулов к жизни.

Для того чтобы общество двигалось вперед, нужен труд молодых. Молодая рука тверже. Она строит высокую бетонную плотину ГЭС, держит резец у станка, водит трактор, стрижет шерсть овцы. Молодой мозг ищет открытий, он гибче старого. Молодое сердце стойче к ударам и невзгодам жизни. Не хилые и слабые телом, а молодые берут в руки альпеншток и прокладывают себе по вечным снегам дорогу на вершины. Молодые натягивают на себя полосатую телянюшку, чтоб поспорить с морской бурей, подружиться с соленым ветром. Молодость — опора и будущее республики, сила ее мускулов, свежесть ума.

Молодость хочет творить и творит вдохновенно, ей чужд меркантилизм. Молодость толпится у входа в науку: она хочет знать. Знание — сила. Молодость — это любовь, соединяющая двух перед дальней жизненной дорогой. И вьется нить поколений. Народ жив, бесконечен.

После четвертого нашествия полчищ Тамерлана на Грузию снег в долинах, по словам историков, от обильно пролитой крови принял цвет рубина и граната. Умиравшие войны, а войны всегда молодые. Лилась кровь молодых революционеров в борьбе за рабочее дело. Гибли молодые в восстаниях, ссылках и тюрьмах, на фронтах гражданской войны. Почти у каждой семьи в Грузии война отняла сына, мужа, брата. А народы всех советских республик выстояли, прогнали и добились фашистское чудовище там, откуда оно выползло.

Больше миллиона новых граждан родились в Грузии за последнее десятилетие. Больше миллиона детей учатся сейчас в школах республики на удобных для них языках. В высших учебных заведениях девяносто тысяч студентов — юношей и девушек.

Женщина в Грузии чтима. По-грузински говорят «мать и отец», «сестра и брат», ставя женщину впереди. Столица называется матерью городов — дэдакалаки. Родной язык зовется языком матери — дэдаэна. Пахаря величают гутнисдэда, матерью плуга, хотя пахарь всегда был мужчиной, но в глазах людей он выше мужчины, он — Мать плуга!..

Женщина — труженица нового общества. В просвещении, в культуре, в здравоохранении республики она составляет около двух третей, лишь одну треть отдавая в удел мужчине. Давно понято, что народ, который чтит женщину, только выигрывает. Особенно это относится к матери. Молодые говорят:

— Если ради матери сын изжарит яичницу на своей ладони, он и после этого останется перед ней в долгу..

Да будет сказано:

— Мир молодым. Они еще много доброго должны сделать на земле. Мир всем молодым на нашей планете!

Борис АНДРОНИКАШВИЛИ

ПАМЯТНИКИ ПРОШЛОГО

В МОСКВЕ, в разных ее местах, в том числе тесно связанных с русской историей, расположены многие памятники русско-грузинских культурных и политических связей.

О памятниках этих, к сожалению, мало кто знает. В силу тех или иных обстоятельств они не привлекали к себе развернутого внимания историков. Мы, современные люди, часто проходим мимо них, не подозревая даже о том, какая любопытная страница прошлого связана с ними.

Улица 25 Октября, в прошлом Никольская, была одной из самых оживленных и бойких улиц старой Москвы. Здесь в XVI веке Иван Грозный построил первую на Руси типографию — «Печатный двор», в которой была набрана первая русская книга «Апостол». На улице находилось также первое высшее учебное заведение Москвы — Славяно-греко-латинская академия, в которой учились Ломоносов, Кантемир и другие видные деятели. Рядом, в Заиконоспасском монастыре, Симеон Полоцкий обучал латыни и грамоте молодых подъячих. По сторонам Никольской стояли дворы бояр Шереметевых, Салтыковых, князей Хованских, Воротынских, Черкасских и других.

Здесь же был «Монетный двор», где чеканились деньги.

Рядом с этими зданиями, в том конце улицы, который выходил на Красную площадь, напротив нынешнего ГУМа, стоял Никольский православный греческий монастырь, известный с 1390 года, по которому и была названа улица. По нему же получила свое имя и Никольская башня Кремля. Сейчас в непосредственной близости от кремлевских стен сохранились только его остатки — жилые помещения, надворные постройки. Монастырь существовал еще до недавнего времени. Лишь в 1946 году Нижняя церковь Никольская была занята под гараж, а в Верхней — Успения — разместились жилцы.

Этому монастырю суждено было стать первым памятником русско-грузинских отношений.

XV век. На престол вступил великий князь московский Иван III. В Москву приехали грузинские послы, первые послы единой Грузии. Это было в 1491 году. Они доставили великому князю грамоту от кахетинского царя Александра I.

После падения Византии христианская Грузия оказалась в одиночестве перед чуждым ей мусульманским Востоком. Единственной близкой по духу была Москва.

«Пресветлый государь, — писал в грамоте царь Кахетии, — из дальние земли ближнего мыслью меньшей брат твой Александр челом бью».

«Мы еще здесь, в Иверской земле, в здравии живем». «Еще» прямо указывало на настоящие и в особенности грядущие бедствия от исконных врагов Грузии — турок и персов.

Александр I просил у Ивана III помощи и союза.

Кахетинский царь Александр I — фигура во многом недооцененная. В короткий исторический срок — неполных сорок лет, прошедших со дня падения Византии (1453), — он сумел правильно предопределить исторические судьбы Грузии на много веков вперед. Это был прозорливый государственный муж с широким историческим мышлением.

Но русский народ сам тогда боролся против своего главного врага — Золотой Орды. И все же уже тогда вокруг Москвы стали сплачиваться народы, видевшие в ней свою естественную союзнницу.

Этот год — 1491 — надо считать началом непрекращающихся дружеских политических и государственных связей Грузии и России.

Русские и грузинские цари шлют друг к другу посольства. История сохранила нам имена послов и подробности их переговоров с Иваном Грозным, Борисом Годуновым, Федором Ивановичем, Михаилом Феодоровичем. Грузия настойчиво ищет союза с Россией. И Москва в эпоху своего возвышения бережет и укрепляет связи с Грузией, оказывает ей всякую возможную помощь.

В ту пору в ознаменование крепнущих союзных и договорных отношений в единовенную Россию из афонского Иверского монастыря, являвшегося важнейшим центром грузинской культуры и известного во всем православном мире, доставляется икона Иверской божьей матери. Эта религиозная святыня почиталась русскими паломниками еще задолго до описываемого периода.

Вот тогда-то царь Алексей Михайлович пожаловал Никольский монастырь, с которого мы начали наш рассказ, в вечное владение грузинам.

Монастырь сразу стал культурным и религиозным центром грузинской колонии, давал приют грузинским сановникам и иереям при посещении ими стольного града.

И расположение монастыря — близко в Кремлю, и само существование в Москве грузинского подворья свидетельствуют о прочности и разнообразии отношений между русскими и грузинскими дворами и церковью.

Никольскому монастырю суждено было стать первым Пантеоном грузинских государственных деятелей в Москве. В его усыпальнице похоронены были представители старшего поколения грузинской колонии во главе с митрополитом Епифанием и царицей Екатериной Георгиевной, супругой царя Кайхосро Леоновича.

Надгробия из этой усыпальницы затем были перенесены в Пантеон Донского монастыря.

Старшее поколение грузинской колонии... Когда оно разо-
разовалось и почему?

Старый путь из Грузии в Россию был долгим и трудным. Послы преодолевали его в два-три года. Он шел через Дарьяльское ущелье на город Терки, затем на Астрахань и вверх по Волге, на Казань и Нижний Новгород, оттуда через Владимир и Суздаль — на престольный град... В 1653 году этой дорогой проследовал со своей матерью царицей Еленой Леонтьевной царевич Ираклий, внук Теймураза I, правнук великомученицы Кетеван. По всему пути ему оказывались небывалые почести. В Нижний Новгород для встречи царевича был послан князь Прозоровский со свитой, у Тверских ворот в Москве царский поезд был встречен другими приближенными царя, а при въезде в город — многочисленными толпами во главе со стольниками, стряпчими и московскими дворянами.

В Кремле в Грановитой палате царь Алексей Михайлович дал большой прием в честь грузинского царевича. На торжественном обеде он сидел по левую руку государя, патриарх всея Руси Никон — по правую.

Это все происходило 1 января 1654 года.

Царица Мария приняла мать царевича в Золотой палате Кремля. Обед и прием в честь нее были обставлены с той же пышностью. И матери и сыну были оказаны самые высокие царские почести.

Затем царевич сопровождает царя в подмосковный Звенигород, в монастырь к Савве Чудотворцу (ныне Саввино-Сторожевский монастырь). Это было излюбленное место богомолья Алексея Михайловича. Как раз в том году монастырь был заново отстроен. Он и сейчас поражает посетителя величием и законченностью архитектурных форм. Царь Алексей и вместе с ним Ираклий осмотрели новые каменные стены и храмы, сторожевые башни, живописную трапезную и дворец, а также колокольню и царицины палаты.

Современники отмечают, что государь везде появлялся в сопровождении царевича. Во время смотра на Девичьем поле в честь послов гетмана Богдана Хмельницкого царевич стоит рядом с царем, как самое близкое ему лицо.

Он часто бывает также на обедах у патриарха Никона в его резиденции на Патриарших прудах. Никон был фактическим правителем, когда Алексей Михайлович был в походах.

В том же (1654) году Алексей Михайлович выступает в поход против польского короля Яна Казимира. Ираклий сопровождает его. Впереди войска несут высококочтимую икону Грузинской божьей матери. Ее выносят затем к войскам перед каждым боем.

Но первый стан в этом походе был разбит на Воробьевых горах. Здесь в походном шатре государь принял посла имперетинского царя князя Кайхосро, который прибыл в Москву вместе с царевичем и все время находился в его свите.

Царевичу в то время было всего лишь одиннадцать лет.

46.05940
191033

Он часто бывал на Никольской у грузинского епископа

Епифания, с которым занимался богословием и литературой. На четвертый год пребывания царевича в Москве сюда прибыл его дед Теймураз I. Это был первый грузинский царь, который посетил Москву. Столица готовилась к торжественной встрече. Царь издал указ: «В улицах, по которым идти грузинскому царю, прибрать начисто. Лавки, которые без затворов, вычистить, и мостовой лес все прибрать, чтоб везде все было стройно...»

Была даже снесена «каменная харчевня с горном» у Воскресенских ворот, показавшаяся неприличной, и заменена каменной.

Алексей Михайлович принял Теймураза тоже в Грановитой палате. С ним были архимандриты и игумены, а также большая свита. Теймураз просил помощи для борьбы с турками и персами. Но Россия вела в это время войну с поляками и шведами, была занята и другими важными делами — Украиной, Крымом, денежными неурядицами, подавлением народных волнений.

В следующем году восставший грузинский народ сам изгнал захватчиков из Кахетии. Кахетинцы приглашали Ираклия на царство.

Ему был дан прощальный прием в Грановитой палате.

Перед самым отъездом он наносит визит государю в селе Покровском, которое было расположено в районе Бакунинской улицы и за Елоховской площадью. Карету его сопровождали 350 конных стрельцов. На площади стояли еще 300 стрельцов с развернутыми знаменами и барабанами.

На реке Яузе ждали готовые к отплытию струги.

Сейчас Яуза закована в гранитные набережные и напоминает собой ленинградские каналы. Тогда же это была судоходная река. В устье ее, напротив Андроникова монастыря, в котором расположен ныне музей великого русского живописца Рублева, музей, основанный стараниями нашего соотечественника Давида Арсенишвили, был причал. Отсюда царевич отплыл на царство.

Но в этот раз ему не удалось занять грузинский престол, и он вынужден был вернуться в Москву. Вместе с ним приехали многие грузинские вельможи и дворяне. Они влились в образовавшуюся уже в Москве грузинскую колонию, образовали первое («старшее») поколение ее.

Вскоре Алексей Михайлович вступил во второй брак.

На свадьбе государя старший свадебный чин занимал Ираклий. Он был посаженным отцом жениха, распоряжался свадебным поездом и всеми свадебными обрядами.

Через полтора года государыня родила сына Петра, будущего российского императора. На церемонии поздравления царевич выступил с приветственной речью.

Ираклий прожил в Москве в общей сложности 21 год. Время его пребывания в России — одно из значительнейших в русской истории. Это была далеко не тихая пора, хотя Алексея и называли «тишайшим». Боярская дума доживала последние дни. В России утверждалось лютое самодержавие.

Границы государства расширялись. Ожесточенную войну вели церковники. В суде над патриархом Никоном и грузинский архимандрит Пахомий.

Вскоре Ираклий стал царем Грузии. В Москве остались многие из его людей и мать, царица Елена. Они жили в доме князя Львова (женатого на грузинке) у Ильинских ворот.

В 1684 году в Москву прибыли другие царевичи — Александр и Мамука Арчиловичи и с ними 70 человек сопровождающих.

Торжественная встреча им была устроена в Басманной слободе. Изрядная толпа народа низко кланялась неведомым им царевичам и громко их приветствовала. Жили они в Москве на Покровке, где для них был подготовлен Давыдовский двор.

Царевич Александр стал принимать участие в военных играх Петра. Петр выбрал его в товарищи, конечно, не за царское происхождение — известно, что он не глядел на родословные, — а лишь за удаль и военное мастерство.

По Москве ходили рассказы о настоящих сражениях, которые разыгрывались между двумя «потешными» полками Петра. Они проходили на территории нынешней Преображенской заставы и прилегающих берегах Яузы.

Петр вообще предпочитал Кремлю привольное житье в Преображенском.

Здесь был Хамовный двор, где производилась парусина, канатный завод. Большая пильная мельница, «чем из бревен доски трут». На Яузе где-то возле мельниц — галерная верфь. Все это дало возможность построить небольшой флот. Маневры максимально приближались к боевым действиям. На Яузе был даже построен госпиталь для раненых в «потешных» битвах. Царевич Александр, будущий первый командующий русской артиллерией, принимал в них горячее участие. Он не расставался с Петром, который его очень любил.

Отец Александра, царь Арчил, находился в это время в Астрахани. Это был человек кипучей энергии. Весь день его был расписан. Он занимался литературой, но главной его мечтой было освобождение Грузии.

Но без совместных действий с Москвой это было невозможно.

Арчил едет в Москву.

В Москве его день был по-прежнему заполнен делами и заботами. Он ездил на Никольскую в Печатный двор, выясняя стоймость литер и станков (он хотел организовать в Москве книгопечатание на грузинском языке). Часто бывает в доме канцлера Голицына в Охотном ряду. В доме Голицына висели большие географические карты, часы со всевозможными секретами, художественные изделия. В нем были собраны многие редкости, чучела зверей, различные чудесные вещи и приборы. Не исключено, что Петр отсюда вынес свою идею кунсткамеры. После ссылки Голицына этот дом был подарен Петром князю Арчилу. В дальнейшем он известен

как дворец царя Арчила. В нем помещается музей калыной культуры.



Это трехэтажное здание, просторное, многооконное. Таких домов, называемых палатами, в Москве сохранилось уже немного. В этом доме царя Арчила не раз посещал Петр I.

Не менее тесными были связи между русской и грузинской церквями. Патриарх Иоаким и католикос Николоз обменивались посланиями. Архимандрит Лаврентий вел от имени Арчила переговоры с патриархом.

В 1686 году Ян Собесский (Польский) объявил войну туркам. К нему присоединились Москва и Венецианская республика. Царь Арчил решил, что пришла пора освободить грузинский народ от захватчиков. Он стал собираться в поход. В устье Яузы для него конопатились суда, на пристань свозились припасы и снаряжение.

Уезжая из Москвы, Арчил женил Александра. Свадьбу справляли при дворе московских государей. Правительница Софья принимала в ней участие как ближайшая родственница невесты.

Вскоре после торжественных проводов Арчил, взяв с собой сыновей, выехал в Грузию.

Однако ему не удалось освободить Грузию.

Вскоре царевичи Александр и Мамука вернулись в Москву.

К этому времени в Москве уже существовала довольно разветвленная колония. Это были остатки многочисленной свиты Ираклия и его матери, царицы Елены. Некоторые из них породнились с русскими боярскими родами и остались в Москве навсегда.

Петр взял власть в свои руки. Московское правительство было полностью обновлено. Правительница Софья пострижена в монахини, ее фаворит канцлер Голицын сослан.

Вскоре в Москве умер (1693 г.) второй сын Арчила — Мамука. Самый младший — Давид скончался еще раньше (1688 г.). Обоих их похоронили в Новодевичьем монастыре.

2 октября 1695 года ночью в Москве вспыхнул большой пожар. Огонь перекинулся на Георгиевский монастырь и расположенный рядом дом царевича Александра.

Но самого царевича в это время в Москве не было. Вместе с Петром в составе Великого посольства, в котором царь скрывался под личиной бомбардира Михайлова, он находился в Европе.

С дороги Петр писал Ромодановскому:

«Александр Арчилов поехал в Гагу бомбардирству учиться».

Обучение «бомбардирству» в Гааге было окончено. Петр был весьма доволен успехами царевича, которые тот проявил во время учений в Мейдерберге.

Во время пребывания в Европе царевич занимался также литературой, в частности перевел на грузинский язык Симеона Полоцкого. В истории русско-грузинских взаимоотношений он известен, таким образом, как первый перевод-

чик литературных произведений с русского на грузинский язык.

В Голландии он познакомился с этнографом и путешественником Витценом. Витцен ранее дважды был в России. Во время первого приезда он познакомился с царевичем Ираклием, во время второго — с Арчилом II.

Александр помог Витцену составить грузино-голландские азбуку и словарь. Витцен написал большую работу «География, или Иберия», в которой ему помогли Александр и царь Арчил, с которым Витцен состоял в переписке.

Вот как описывают голландцы (Схельтема, Ноомен и Кальф) отношения Петра и Александра: «Царю было отведено помещение на верфи. Он поселился здесь с небольшой свитой, в числе которой находились царевич Александр и граф Апраксин. Первый из них пользовался особым расположением царя».

Царевич обучался также в Утрехте и Амстердаме, «совершенствуясь в артиллерийских науках», за что его наставник получил от Петра 50 золотых и пару соболей.

Из Амстердама Петр выехал в Лондон, взяв с собой трех ближайших сподвижников — Меньшикова, царевича Александра Имеретинского и Шапского.

Короля Англии Вильгельма Оранского Петр принял в присутствии царевича.

Петр внезапно вернулся из-за границы, встревоженный сообщением о стрелецких мятежах.

Вскоре по приезде он подписал указ: «Которые дела в Пушкарском приказе, ведать генералу артиллерии Александру Арчиловичу».

Петр придумал для Александра новое, дотоле не существовавшее в России звание «генерал-фельдцейхмейстера». Сразу после назначения Александр принялся за реорганизацию артиллерии. Он принимал участие в разработке планов строительства Олонецких и Уральских заводов, при нем началась отливка орудий нового типа.

На нынешней Сретенке, там, где она вливается в Колхозную площадь, стояла еще после революции знаменитая Сухарева башня. Сооружением ее Петр увековечил верную службу полковника Лаврентия Сухарева, оставшегося верным Петру во время стрелецкого мятежа. Башня была столь красивой, что ее называли «невестою» Ивана Великого, имея в виду знаменитую кремлевскую колокольню. В башне Петр открыл «навигацкую школу» и обсерваторию, из которой наблюдалось в 1709 году солнечное затмение. Здесь преподавались и артиллерийские науки. Царь Петр и его ближайшие сподвижники — Брюс, Лефорт и другие — часто бывали здесь. Частым посетителем башни в качестве главы русской артиллерии был также и царевич Александр.

Однако Карл XII не дал не только произвести реорганизацию артиллерии, но даже и начать ее. Вспыхнула злополучная война со Швецией. Царевич лично снаряжал московский артиллерийский парк, а затем повел его к армии. Он принял под свою руку также псковскую и новгородскую артиллерию.

Но силы тогда еще были не равны. За счет превосходства артиллерии, лучшей тогда в Европе, шведы нанесли русским жестокое поражение. При этом Карл обманно тем пленил русских генералов. Он предложил им, сохраняя личное оружие, пройти через расположение шведских войск, но нарушил данное слово. Среди захваченных военачальников был царевич Александр Имеретинский.

Вновь потерпев поражение в попытке освободить Грузию, царь Арчил возвратился в Москву. Здесь его ждало известие о пленении единственного сына, наследника престола. Не знал он также и того, что ему самому уже не суждено когда-либо увидеть Грузию, что он покинул ее навсегда.

Петр ласково и с большими почестями встретил Арчила в Москве. Закрепив Всесвятское вместе с селом Пахра и московским двором Милославских за Александром, Петр выделил Арчилу из дворцовых имений три волости.

Переговоры со шведами об обмене пленниками Петр начал немедленно. Арчилу выкуп Александра казался делом двух-трех месяцев. Но прошел год, второй, третий, и стало ясно — вырвать Александра из плена труднее, чем кого-либо другого из русских генералов. Его держали в плену строже остальных, обращались как с арестантом, морили голодом.

Что было тому причиной? Высокое воинское звание Александра или возможное его воцарение на грузинском престоле?

Петр соглашался на все условия, лишь бы выволить царевича. Но шведы выдвигали все новые требования. В конце концов они потребовали за него одного десять бочек (тонн) золота! Петр не давал окончательного ответа. От такого выкупа, который мог только разорить русскую казну, отказался сам Александр. «Не только словом, но и в помысле своем, — писал он Петру, — не думали мы причинить ущерб отечеству. На то мы званы: терпеть и умереть за интерес государя и отчизны».

Поведение Александра в плену высоко ценили в Москве. Как мог утешал Петр стареющего Арчила, часто посещал его дом, был в дружеских отношениях с царицей Кетеван и царевной Дарьей.

Извещая о своих «викториях» над шведами, он приписывал: «...к государыням царевнам, к царю Арчилу, к Прозоровскому, к Голицыну...»

Несмотря ни на что, Арчил не менял распорядка дня. С раннего утра он садился за работу. Помимо своих поэтических произведений, которые дважды погибали при пожарах, он трудился вместе с Баграмом Сологашвили над подготовкой к печати грузинских церковных книг и переводами на грузинский язык рассказов из греческого «Хронографа».

Он пытался наладить в Москве печатание грузинских книг. Но не хватало ни литер, ни мастеров. В 1703 году по повелению Петра этому благородному делу был дан ход.

По просьбе канцлера Головина Арчил написал записку о Грузии, где, между прочим, говорил, что Грузию, «как древо упавшее, всяк расхищает». Он составил карту Грузии, над которой долго и упорно трудился. Переводил на русский

наиболее интересные материалы по Грузии, вел обширную литературную работу. Царь Арчил основал книгопечатание в Москве. Типография находилась в Донском монастыре.

Когда началось печатание грузинских книг, Арчил писал Петру, что «не малою росой утешения печального моего сердца пламень утолен».

Наконец король шведский согласился обменять Александра на 60 пленных шведских офицеров. Однако, когда дело дошло до обмена, шведы опять отказались выдать царевича.

В 1591 году крымский хан Казы-Гирей внезапно напал на Москву с несметными полчищами. Царь Федор Иванович и воевода Борис Годунов смогли противопоставить ему лишь немногочисленное войско, «сброд», как написано в летописях. Однако перед боем Годунов вынес к воинам икону Донской божьей матери, которая еще Дмитрием Донским бралась в походы против татар и как знамя участвовала в 1380 году в Куликовской битве. Икона с того времени почиталась как заступница-оборонительница от татар.

Москвичи одержали победу, хан бежал. На месте сражения царь в честь иконы Донской богородицы построил храм и учредил монастырь.

Другой царь, Феодор Алексеевич, в XVII веке расширил его.

С иконой Донской богородицы Иван Грозный разгромил и уничтожил Казанское царство. Между прочим, в речи перед взятием Казани Иван Грозный рассказал о царице Динаре. «Повесть о царице Динаре» (Тамаре) была очень популярной в то время.

Монастырь постепенно возвышается. В XVII веке он уже почитается третьим после Чудова и Симонова.

Сколько же велико должно было быть тогда значение и влияние грузин в Москве, как крепки русско-грузинские связи, чтобы Донской монастырь с его славным прошлым и значительным настоящим был передан в ведение царя Арчила, в пользу и для укрепления грузинской колонии в Москве.

В 1705 году настоятелем монастыря назначается архимандрит Лаврентий Имеретинский, разделявший с Арчилом все его невзгоды. До этого Лаврентий был игуменом московского Златоустовского монастыря.

При нем был достроен Большой собор, заложенный по обету сестры Петра Великого царевны Екатерины Алексеевны.

В Москве не хватало строительных рук. Мастеров скликали со всех сторон. Знакомых с каменными работами брали на особый учет. Разрешалось строить каменные здания лишь по личному распоряжению царя. Петр дал разрешение на возведение стен вокруг монастыря, так как он имел военное значение. Лаврентий в течение шести лет закончил основные строительные работы. Массивные кирпичные стены с бойницами и громадными круглыми башнями по углам замкнули ограду монастыря. Он принял грозный вид первоклассной военной крепости.

Строительству много способствовал царь Арчил. Он и вся его семья, в особенности Дареджан, были участниками всех монастырских дел.

В короткий срок Лаврентий построил к Тихвинской церкви каменную лестницу, окна с железными решетками; кельи наместничьи, погреб, кухню, квасоварню, ледник (деревянные); каменные монастырские службы — хлебню и братскую поварню, к ним жилые две палаты; каменные кельи для различных и пономарей; перемички каменные под Соборной церковью (всего 19); каменные кельи три — для казначея и для отправления монастырем письменных дел.

Соборная церковь вымощена железными плитами в количестве 353 штук на пожертвования царевны Дареджан.

Донской монастырь стал религиозным и политическим центром грузин, обретших в Москве свою вторую родину. Грузинская колония, зародившаяся при Ираклии — Николае Давидовиче, как его называли в Москве, — значительно увеличилась. В Москве обосновалось уже около двадцати княжеских родов, а также около 150 других фамилий людей зажиточных, служивых и низшего духовенства. Имена и фамилии их, часто до неузнаваемости искаженные, мы встречаем в различных русских документах — государственных, церковных, судебных.

Александра все не отпускали из плена.

Победа под Полтавой вселила надежду на его близкое освобождение. В Большом соборе Лаврентий отслужил торжественный молебен. На нем присутствовали царь Арчил, царица Кетеван, Дареджан, князья, стольники и ближние люди грузинского царя.

В честь победы Петра над шведами Арчил написал стихотворение. Но прошло еще три томительных года, а пленники все еще находились в неволе. Петр I в июле 1710 года в ответ на письма Александра писал: «Безмерною печалью вы суть одержимы и что в таких руках обретаетесь, с которыми никакими добрыми и обычаями воюющих христиан средства и благосердия сыскати возможно». В этом письме, написанном собственноручно, он уведомлял: «О сем бога в свидетели поставляем, что непрестанно о вас все возможное чиним». Петр поздравляет Александра со взятием Выборга и Риги и заверяет, что «как до сих времен, так и ныне о свободе вашей старатца не оставим».

Наконец, не дождавшись обмена, пленные, захватив шведский корабль со всем экипажем, бежали из Ботнических шхер и прибыли в Ревель.

Среди сорока четырех русских, вернувшихся на родину, был и имеретинский священник, духовник царевича Александра.

Посреди радостей и восторга, охвативших вырвавшихся на свободу людей, он один сошел на берег с опущенной головой. Не выдержав долгого заточения, изнуренный и больной, царевич Александр скончался на его руках на острове Питео.

Еще только через семь лет возвратились в Россию епо-
дрижники Петра князь Трубецкой и Автоном Головин, разме-
ненные на плененного под Полтавой фельдмаршала Рейнфель-
да.

«Увы нам бедным, — писал Арчил Петру, — смерть,
аки зверь лют, похитила нашего сына. Хоть бы кости его пе-
ревести к Москве».

Петр сделал все, чтобы получить останки царевича.

Под алтарем Большого собора Донского монастыря Ар-
чил выстроил Сретенскую церковь, где приготовил могилу
для царевича. Рядом с ним он похоронил его первую жену
Феодосию, а также его братьев Давида и Мамуку, прах ко-
торых был перенесен из Новодевичьего монастыря. В даль-
нейшем и он сам, и его дочь Дареджан нашли здесь свое
последнее успокоение.

Этим под алтарем Донского собора было положено нача-
ло самой крупной усыпальницы грузинских военных и поли-
тических деятелей XVIII столетия.

Ни в одном месте Грузии и ни где-либо еще мы не най-
дем уже такого количества похороненных вместе грузинских
прославленных исторических лиц.

Объясняется это прежде всего тем, что Грузия настоя-
чиво, начиная с пятнадцатого века, искала союза с Россией
для разрешения своей главной исторической задачи — осво-
бождения от турецко-персидских захватчиков и поработителей.

Один только перечень погребенных в Донском монасты-
ре лиц дает представление о разнообразии русско-грузинских
связей и о заметной роли, которую играли грузинские де-
ятели в русской истории.

Анна Георгиевна, жена царевича Бакара Вахтанговича...
Анна Матвеевна, имеретинская царица... Афанасий Леонович,
царевич, генерал-поручик... Багратион, дочь царевича Вахуш-
ти Вахтанговича... Багратионы Александра Ивановна и Дарья
Кирилловна... Багратион Кирилл Александрович... Василий
Егорович, меньшой сын царевича Георгия Грузинского... Ца-
ревич Георгий Вахтангович... Голицына, дочь светлейшего
царевича Георгия Грузинского... Светлейшая княгиня Алек-
сандра Яковлевна, урожденная княжна Сибирская, роду си-
бирских царей, в замужестве за грузинским принцем Леоном
Бакаровичем... Константин Давидович, имеретинский ца-
ревич, генерал-майор... Леон Бакарович, принц...

И так далее, и так далее. Грузинские князья, генералы
и священнослужители.

Здесь также погребен царевич Бакар, сын Вахтанга VI,
после кончины Арчила продолживший его дело — печатание
грузинских книг в Москве, и мать его царица Русудан.

В Пантеоне имеется вделанная в стену чугунная решетка
художественного литья. Есть предположение, что она уста-
новлена на месте погребения царевича Вахушти, географа и
историка. В решетке имеется герб Багратионов.

В ризнице Сретенской церкви, называемой еще иначе
Арчилловской, похоронен также царевич Давид, сын царя
Кайхосро Леоновича.

Еще при жизни Арчила Донской монастырь становится самым высоким по иерархии среди московских монастырей. Богослужение в нем приближалось во всем к патриаршему. Донской монастырь становится в глазах современников частью Грузии. Здесь подолгу живут ученые священнослужители, приезжающие из Грузии. И Вахтанг VI, и Бакар, и Вахушти, и католикос Антоний I приходят сюда почтить могилу Арчила. Царица Русудан громко оплакивает здесь умершего Арчила. Ее плач включает в свою поэму ее современник поэт Павленишвили.

С большими почестями хоронили здесь жену Арчила, царицу Кетеван. Ее отпевали архиереи всех московских монастырей с представителями зарубежного духовенства. Необычайная пышность обряда была сделана по личному указанию Петра — земле предавали прах верной подруги Арчила, матери генерал-фельдцейхмейстера Александра.

После смерти родителей во главе всех грузинских дел в Москве встает Дареджан.

Вскоре столица была перенесена в Петербург и монастырь потерял свое значение центра грузинской колонии. Здесь стали хоронить представителей родовитых дворянских домов, писателей и общественных деятелей. На живописном кладбище монастыря, осененном старыми деревьями, покоится прах некоторых декабристов, Чаадаева, приятельницы Пушкина и Лермонтова Смирновой-Россет, Хераскова, Дмитриева и Козлова, Сумарокова и Одоевского, В. Л. Пушкина (дяди поэта), Ключевского, С. И. Танеева, художника Серова, «отца русской авиации» Жуковского, героев бородинского сражения и многих других славных русских людей. Донской монастырь, несомненно, является выдающимся памятником русско-грузинских отношений.

Сейчас в нем расположен Музей архитектуры. Но ни в экспозиции музея, ни на одном из зданий — в виде ли мемориальной доски или какого-либо другого указателя — нет и намек на славное прошлое, с которым связано это место. Немногочисленные посетители, мамы с грудными детьми и начинающие художники, привлеченные поэтическими видами величественной старины, гуляют по старому кладбищу и липовым аллеям. Даже служители музея смутно представляют себе, почему тут оказались грузинские могилы. В одно из посещений они просили нас перевести надписи на нишах.

Знаменитая Салтычиха, забившая насмерть сто с лишним своих крепостных, удостоилась здесь указателя и таблички (она похоронена здесь из-за принадлежности к знатному роду Салтыковых), а деятели, столь много и успешно содействовавшие русско-грузинскому сближению, окружены молчанием. Будем надеяться, что приближающийся 200-летний юбилей присоединения Грузии к России положит конец этому случайному небрежению.

Поступки Петра были часто неожиданны, иногда загадочны и порой повергали историков в недоумение. Один из исследователей XIX века жалуется: «Историки Петра I не разъяснили до сих пор причину, по которой празднование мира со

Швецией начато было именно с села Всесвятского. Село упоминается в истории с 1599 года. В том году ясельничий М. Татищев по повелению Бориса Годунова встретил здесь шведского изгнанника принца Густава. Он предназначался в женихи дочери Годунова Ксении. Она была белолицая, румяная, «телом изобильна», умная — «чудного домьшления». Однако Густав повел себя в Москве разгульно и в результате был выслан в Углич.

С Всесвятского сливалось место на реке Ходынке (район нынешнего Азровокзала на Ленинградском шоссе), где князь Скопин-Шуйский, стоявший против Лжедмитрия II, Тушинского вора, основал свою главную квартиру, «Княжий двор», из которой поляки прогнали его. Именно здесь была затем резиденция Тушинского вора. Убегая, Вор зарыл в Княжем дворе награбленное им имущество.

Со второй половины XVII века село стало достоянием Милославских. Один из них был приверженцем царевны Софьи, организатором стрелецкого бунта. Дочь его вышла замуж за царевича Александра Арчиловича.

После смерти Милославского и его дочери село Всесвятское по именному указу было пожаловано царевичу Александру (1695 г.).

Здесь круглый год жило его семейство, сам же он по делам службы часто бывал в отлучках.

После его смерти в шведском плену за его бездетностью имение его перешло к родной сестре Дарье (Дареджан) Арчиловне, которая была, официально не нося этого звания, полномочным министром при российском правительстве, представителем царя Грузии Вахтанга VI, своего двоюродного брата. При ней был многочисленный придворный штат, постоянно проживали родственники, для которых во Всесвятском были выстроены отдельные домики.

Одержав победу над шведами и заключив с ними триумфальный Нейштадский мир, Петр I направлялся в Москву для торжественного празднования. Москва была иллюминирована, народ на улицах ожидал царя. Петр двигался по новому Петербургскому тракту на императорском корабле во главе целой флотилии разнообразных судов, поставленных на сани. С ним были: его супруга Екатерина, две дочки, в том числе будущая императрица Елизавета, князь-кесарь Ромодановский, князь Александр Меншиков, Апраксин, Брюс, придворный штат, иностранные министры, офицеры гвардии, иноземные негоцианты. «Костюмы разнообразные и оригинальные», сообщает описатель события. Некоторые гости ехали в санях, запряженных шестернею свиней или собак.

Есть гравюры, изображающие этот царский поезд.

Подъехав ко дворцу Дареджан, Петр дал залп из всех орудий. В тот же вечер во Всесвятском состоялся обед и бал-маскарад. Первый кубок в честь победы над шведами Петр поднял в доме грузинского царя.

На маскараде Петр и Дареджан отсутствовали. Они провели ночь в совещании, в котором принимали участие также

Георгий Дадвани, сын владетеля Мингрелии Левана IV, стольник царя Арчила, князь Петр Амбрасадзе (основатель русской княжеской фамилии Амбрасадцевых); князь Туркестанишвили, доверенное лицо Вахтанга VI. Это был год персидского похода Петра, и этим политическим актом — началом празднования мира со шведами в резиденции грузинских царей — Петр хотел показать, что, разрешив первую историческую задачу России (выход к Балтийскому морю), он приступает ко второй — завоеванию южных морей. Овладение Каспийским побережьем и взятие Азова реально ставили в повестку дня освобождение Грузии. Россия и Грузия соединяли свои силы для удара по исконным врагам Грузии.

Можно представить себе атмосферу и этого совещания и всего праздника в селе Всесвятском. Близилось разрешение той исторической задачи, служению которой посвятили свои жизни Александр I, Теймураз I, царь Арчил и другие большие государственные деятели Грузии, которые лишь в России видели избавительницу от терзающих ее врагов.

Незримые тени их витали над участниками совещания.

Утром ликующий Петр повел флотилию по новому Петербургскому тракту в Москву.

Всесвятская церковь у метро Сокол напоминает как раз об этих событиях. На этом месте в самом центре села стояла деревянная церковь, уже ветхая. Царевна Дареджан возвела новую на свои средства. Расписывали церковь грузинские мастера. Росписи эти сохранились в алтаре и в других местах. Внутри церкви имеются также надписи на грузинском языке.

Как строительница храма, Дареджан могла посвятить ее по своему усмотрению. Но она решила оставить прежнее посвящение. Она как бы подчеркнула этим, что в наименовании церкви Всех Святых она объединяет и грузинских святых, и святых своей второй родины, гостеприимно ее принявшей.

При этой церкви образовался третий пантеон грузинских деятелей в Москве. Здесь могилы царевича Грузинского (с гербом Багратидов) — отца генерала П. И. Багратиона, царевны Батратион и (по некоторым источникам) Саба-Сулхана Орбелиани.

Были и другие могилы, но теперь они утеряны.

У Дареджан не было прямых наследников. После нее Всесвятское было пожаловано ее ближайшим родственникам царевичам Бакару и Георгию Ваханговичу.

После смерти Бакара половина села досталась его вдове Анне Георгиевне с детьми Леваном и Александром. Вторая половина осталась за Георгием. К ним же перешло нижегородское Лысково, пожалованное Арчилу Петром.

Князь Георгий Александрович — сын царевича Александра Бакаровича, подновил зимний дворец, выстроил новый — летний, разбил роскошный сад, насаженный редкими деревьями и цветами; за садом тянулся английский парк, а за ним расчищенная роща. Громадные оранжереи служили для поддержания сада и для украшения комнат. Нынешний

Серебряный бор — это бывший парк царевича, в котором им устраивались гулянья с развозом экипажей, как в Марьиной роще.

После смерти Арчила печатание грузинских книг в Москве продолжил Бакар Вахтангович. Типография находилась в селе Всесвятском, в ней долго работал Христофор Гурамишвили, брат Давида.

В 1812 году Всесвятское постиг разор. По изгнании французов Георгий с еще большей роскошностью восстановил имение. В саду были поставлены статуи русских воинов в различной амуниции. По праздникам здесь пели цыгане, а гости в роскошных гондолах катались по пруду.

Все имения князя Георгия Александровича унаследовала его дочь, Анна Георгиевна, в замужестве за гр. А. П. Толстым, обер-прокурором Синода. Это та самая графиня Толстая, которая известна своей благотворительностью и покровительством Гоголю. У нее был дом на Садово-Кудринской с церковью, флигелями и садом, который она отказала в пользу приюта для престарелых. Дом был стоимостью в 100.000 руб., и еще столько же она завещала на его содержание, отопление и на первоначальное обзаведение. В находящейся при приюте ее домово́й церкви святой Троицы она оставила все свои драгоценные иконы, утварь и ризницу, за исключением лишь ковчега с мощами грузинских святых, который должен был быть передан в один из кавказских женских монастырей.

Типография во Всесвятском существовала до 1774 года. Сейчас от всего этого не осталось никаких следов. На месте Всесвятского раскинулся современный район Москвы — Сокол. Но уже в 1870-х годах, когда занимавшийся историей Грузии академик М. Броссе просил князя Давида Багратиони разыскать, где была в старину типография, там уже не было ничего из прежних грузинских поселений. Остался лишь только храм Всех Святых, построенный Дареджан. Он стоит прямо около входа в метро «Сокол».

С самой верхней точки высотного здания на площади Восстания открывается перспектива улицы Красная Пресня, кончающейся Грузинским валом. Чуть правее мы увидим зеленую территорию зоопарка с большими прудами, разделенными Большой Грузинской улицей, еще правее — купол Планетария, и еще дальше — гостиницу «Пекин». Весь этот большой район назывался раньше Грузинской слободой или просто «Грузинами». Да и сейчас старые москвичи называют его так.

До того как возникла Грузинская слобода, на этом месте стояло село Воскресенское — летняя резиденция царя Федора Алексеевича. Здесь часто бывал его младший брат — будущий Петр I.

В 1729 году село было пожаловано грузинскому царю Вахангу VI, приехавшему в Москву с сыновьями Бакаром и Георгием и с большой свитой.

На постройку домов Петр II дал им, помимо стройматериалов, фуража и съестных припасов, большую по тем временам сумму — 10.000 рублей — и скоро по обоим берегам реки Пресни появилась Грузинская слобода.

Сейчас же за современным зоопарком, на бывшей Георгиевской площади, находился дворец грузинского царя, возле которого царевич Георгий построил церковь святого Георгия. Здесь же стояла еще одна церковь — Цициановская.

Однако, по другим источникам, слобода «Грузины» около бывшего дворца Федора Алексеевича возникла в начале XVIII века. Впервые она упоминается в 1714 году. Во всяком случае, «район Пресни и Грузин» назывался так уже в середине XVIII века, когда он вошел в черту города.

На Б. Грузинской в сохранившемся доме одного из служателей царевича Бакара теперь находится Мемориал — филиал Музея Грузии. Здесь же, в сквере, воздвигнут памятник Шота Руставели.

В 1812 году «Грузины» уцелели.

Слободе было суждено сыграть большую роль в Декабрьском московском вооруженном восстании 1905 года. Б. Грузинская улица с прилегающими переулками находилась в руках восставших рабочих. В доме № 20 находилась Московская окружная организация большевиков.

Еще один, изумительный по красоте памятник русско-грузинских отношений находится в Ипатьевском переулке возле здания ЦК КПСС. Это церковь Троицы в Никитниках или бывшая Грузинская церковь XVII века.

В Москве свирепствовала чума, город был окружен заставами, из которых никого не выпускали. Царь Алексей Михайлович велел доставить из Красногорского монастыря чудотворную икону Грузинской богородицы, попавшую туда задолго до этого из Персии, куда она была вывезена из Грузии персидскими завоевателями. В Красногорском монастыре, где в честь нее была выстроена церковь, она прославилась чудотворениями, и вот Алексей Михайлович, отчаясь остановить эпидемию, хотел с помощью иконы хотя бы успокоить москвичей. Икону привезли, перед ней был отслужен молебен и — о, чудо! — мор, как по мановению, прекратился. Икона была поставлена в церковь святой Троицы, которая с тех пор стала именоваться церковью Грузинской богородицы. Прекращение эпидемии особенно прославило икону. В 1658 году по указу Алексея Михайловича и патриарха Никона было установлено ежегодное празднование иконы Грузинской богородицы «ради чудес ее». Этот день — 22 августа — праздновался 250 лет.

Церковь Троицы в Никитниках расписана Симоном Ушаковым. Сейчас в ней филиал Государственного исторического музея.

Другая икона Грузинской богородицы стояла в Успенском соборе Кремля (та, которую брал с собой в походы Алексей Михайлович). Сейчас она хранится в Музее Новодевичьего

монастыря. Другая икона и по сей день стоит в храме Воскресения в Сокольниках.

Архиереи, состоящие при Архангельском соборе Кремля были большей частью из грузин до времени императрицы Елизаветы, при которой этот пост был отменен.

Грузинские церкви в Москве находились также в районе Б. Грузинской (Георгиевская и Цициановская), на Воронцовом поле, в Грузинском переулке и в других местах, всего числом шесть. Богослужения в храме села Всесвятского совершались на грузинском языке до присоединения Грузии к России. Около Малого театра (впоследствии дом Хлудова, ныне Центральные бани) находилась домовая церковь грузинских царей.

Вахтанг VI продолжил дело Арчила.

В Москве он жил на том месте, где сейчас библиотека имени Ленина. Неподалеку у Охотного ряда был каменный дом Бакара.

При вдовении Анны Иоанновны Верховный совет пытался ограничить ее права. Она подписала ограничительные пункты в селе Всесвятском, где несколько дней вела переговоры. Тем временем ее сторонники или, лучше сказать, противники верховников собирались на совещания в доме князя Черкасского на Никольской улице. Прибыв из Всесвятского, Анна порвала соглашение.

Анна Иоанновна была первой из трех русских императриц, установивших тот особый стиль сплошных празднеств и необузданных развлечений, который имел наивысший взлет при Елизавете и получил законченные классические черты при Екатерине II.

Временщики и фавориты, взлеты и падения, непоследовательность внешней политики, бироновщина и вообще засилье немцев характеризовали период ее правления.

Вахтанг VI едет в Петербург.

Анна Иоанновна отлично стреляла. В академических ведомостях 1740 года (год ее смерти), например, сказано, что она застрелила в одно лето 9 оленей, 16 диких коз, 4 кабана, 1 волка, 374 зайца, 68 уток и проч. На большой охоте в Петергофе она собственноручно застрелила волка, кабана, оленя и несколько зайцев.

Анна Иоанновна приняла Вахтанга с почестями. Она устроила в честь Вахтанга поистине царский пир, подняла бокал за здравие царя. Признав обещания Петра I Грузии, о которых ей напомнил Вахтанг, она приказала собрать войска и двинуть их к Прикаспию.

Воодушевленные грузины стали готовиться к освободительной войне. Но Россия пошла на компромисс, уступив персам Прикаспие и оставив Грузию с врагом один на один. Фактически она добровольно отказалась от всех завоеваний Петра.

Для Вахтанга этот удар оказался сокрушительным. Он отрекся от престола и отошел от дел.

Отречение и смерть Вахтанга еще больше осложнили положение грузинских политических эмигрантов. До этого они пользовались некоторыми привилегиями: дворы их были освобождены от солдатского постоя, их не могли привлекать на государственную службу без разрешения царского дома и т. д. Теперь же, ценя их воинскую доблесть, им предложили поступить в русскую армию.

«Во всей Персии, — писал еще А. Волынский Петру, — лучшие войска — грузинские».

Ценили своих врагов и персы. Грузин часто назначали главнокомандующими иранских войск, начальниками шахской гвардии, правителями отдельных провинций, моуравами персидской столицы.

Сразу же, как только в Москве был создан из эмигрантов грузинский гусарский полк, он принял участие в боях под Хотинем (1739 г.). Командование русской армии отмечало:

«Грузины свою службу выполняют отважно... Грузины ведут себя как подобает отважным и надежным людям, так что большего от них требовать невозможно... Нам очень нужно как можно больше столь храбрых воинов».

Давид Гурамишвили был солдатом этого полка. Вместе с ним он участвовал в боях под Хотинем, Фридрихсгофеном (1742), Берлином (1757). Командовал полком Мамука Давиташвили (Давыдов), от которого пошла известная русская фамилия, давшая много общественных деятелей XIX века.

Гурамишвили приехал в Москву к Вахтангу после плена и был сразу же назначен Вахтангом «джабадар-баши» — хранителем доспехов. «Был начальником я сделан у Вахтанга в арсенале». Брат его, Христофор, помимо работы в типографии, перевел на грузинский язык книгу Феофана Прокоповича «Первое учение отрокам».

Грузин в русскую армию зачислила сама Анна Иоанновна.

Грузинский гусарский полк существовал еще в 1769 году. По-разному складывались судьбы отлученных от родины горячих ее патриотов. Одни образовали поселения — на Украине, под Оренбургом и Моздоком, в Воронеже. Другие служили. Третьи занимались научной деятельностью, как царевич Вахушти, иные стали дипломатами или государственными деятелями. Следы их кипучей деятельности и беспокойной жизни мы находим, иногда случайно, в самых разных местах.

Царевич Атанасе (Афанасий), брат Вахтанга VI, генерал-поручик, участник многих походов, был назначен оберкомандантом Кремля. Он уже шесть лет отправлял свою должность, когда вдруг 15 сентября 1771 года в 8 часов вечера Москва была всполошена набатом. Тысячи людей с дрекольем, дубьем и камнями сбегались к Ильинским и Варварским воротам, а затем бросились к Кремлю искать архиепископа Амвросия. Но Амвросий успел бежать в Донской монастырь. Его нашли там, выволокли на стены и убили.

На следующий день восставшие подступили к Кремлю, требуя присланного из Петербурга сенатора и генерал-поручика Еропкина. Но Еропкин отказался выполнить требова-

ние. Кремль был закрыт, в воротах стояли пушки. И губернатор, укрывшийся там же, тоже не захотел рисковать жизнью. К бунтовщикам вышел царевич Атанасе, обер-комендант. Он был один. Его встретили градом камней и «чуть... до смерти камнями не убили». Он спасся благодаря тому, что его сочли мертвым.

Поводом для взрыва послужило опечатание кружечного сбора у иконы Боголюбской богородицы у Варварских ворот (нынешняя площадь Ногина). В Москве была моровая язва — чума. Люди собирались у иконы, молились о спасении. Во избежание скопления народа и дальнейшего распространения заразы архиепископ Амвросий и приказал перенести икону в ближайшую церковь Параскевы, а деньги передать в воспитательный дом.

Шло время, эпохи менялись.

Петр часто и подолгу отсутствовал в столице. Цари и раньше нередко уезжали, но их выезды происходили в торжественной обстановке, в сопровождении семьи и двора. Петр же уезжал запросто, по-деловому, а приехав на место, шел на верфь, вооружался топором, беседовал и работал с мастерами. Так же в войсках. Последующая же эпоха посвящена была в основном удовольствиям. Смысл ее заключался не в преобразовательской деятельности, как это было во время Петра, а в прожигании несметных богатств потомков фаворитов и временщиков.

За Тверской заставой (нынешняя Пушкинская площадь) расстилалось поле, где по воскресеньям травили зайцев, которые выпускались из специальных «сатков». Зрелище это привлекало толпы народа, как и «голубиные гонь» графа Алексея Орлова-Чесменского (похитителя Таракановой) под Донским монастырем. В воздух взвивались сотни редких голубей, а на широком лугу ставили огромную серебряную чашу с водой, чтобы тучный граф мог следить за ними, не запрыкивая головы.

Средний по достатку помещик имел большую дворню из крепостных, в том числе и двух ливрейных лакеев, «трясущихся как в лихорадке на безрессорных запятках экипажа».

Пушкин вспоминает о роговой музыке и великолепных праздниках в рощах Останкино и Свиблово.

Российская империя готовилась к дальнейшим завоеваниям. Ей грезилась Европа и Балканы.

Столица окончательно переехала в Петербург. Москва стала центром ворчливой дворянской оппозиции, изнеженной «барыней», вновь обретшей прежнюю силу в нашествие Наполеона.

Грузинская эмиграция отражала время. Она рождала строителей, ученых и политиков во времена Петра, эпикурейцев при императрицах, но при Наполеоне выделила из своей среды целую когорту героев. Достаточно сказать, что в Бородинском сражении участвовало 12 грузинских генералов. Среди них — братья Багратиони, Яшвили, Панчулидзе, Джавахишвили и Гангеллидзе, Шаликашвили и Бибилури.

Каждый из них стоит отдельного рассказа, я лишь хочу отметить, что П. И. Багратион был любимцем Москвы и сейчас в Историческом музее хранятся принадлежавшие ему личные вещи. В Москве есть станция метро «Багратионовская», названная так в знак признания исторических заслуг перед Россией одного из самых ярких представителей грузин на русской службе.

К сожалению, в небольшой статье нет возможности рассказать обо всех местах, которые имеют отношение к жизни и деятельности грузин в Москве. Революционеры, деятели культуры и связанные с ними памятники ждут отдельной работы. Мне только хочется подчеркнуть, что на протяжении веков грузины в Москве не были эмигрантами в обычном смысле этого слова, то есть людьми, живущими своим укладом в ожидании благоприятного для них поворота событий. Наоборот, они принимали горячее участие в делах своей второй родины. Кроме того, они продолжали культурную работу в интересах своего народа. Они переводили русскую научную и учебную литературу и печатали в грузинской типографии грузинские книги.

Грузинская колония в Москве сыграла крупную роль в расширении и экономических, и политических связей между Россией и Грузией, содействовала их культурному сближению и, несомненно, в очень большой мере подготовила будущий союз двух братских народов.

НАВЕКИ ВМЕСТЕ

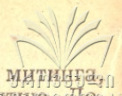
ЧЕРЕЗ два года Грузия торжественно отметит двухсотлетие присоединения к России.

В этом историческом факте важнейшую роль сыграло грузинское поселение в Москве. Здесь, на этой древней русской земле, закладывались прочные связи вечной и нерушимой дружбы.

Сюда, в Москву, был перенесен основной центр грузинской культурной жизни, когда в Грузии, в силу ряда исторических обстоятельств, надолго замерла культурная жизнь.

В Москве в дни, посвященные 60-летию Советской Грузии и образования Компартии республики, которые состоялись в июне нынешнего года, был открыт Дом-мемориал на Большой Грузинской улице.

Мощенная триалетским базальтом дорожка ведет к небольшому двухэтажному деревянному домику. Здесь собраны священные реликвии русско-грузинского братства, портреты политических деятелей, уникальные экспонаты. Эпиграфом к залу — строка Шота Руставели: «Другу верный друг поможет...» Во всю стену художественное панно — две женщины, россиянка и грузинка, хлебом-солью и виноградной лозой осеняющие свиток с текстом Георгиевского трактата.



Перед началом митинга, посвященного открытию Дома-мемориала в Москве, краткое вступительное слово произнес президент Академии наук Грузии Е. К. Харадзе. Перед собравшимися выступили Герой Социалистического Труда, поэт-академик И. В. Абашидзе, народный художник СССР, председатель правления Союза художников СССР, лауреат Государственной премии Н. А. Пономарев.

Председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР П. Г. Гилашвили перерезает алюю ленту.

В митинге и церемонии, посвященных этому знаменательному событию, приняли участие товарищи Г. Н. Енукидзе, Г. В. Колбин, Т. Н. Ментешашвили, З. А. Патаридзе, заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС П. К. Лучинский, секретарь МГК КПСС А. М. Роганов, заведующая отделом пропаганды и агитации МГК КПСС Т. П. Архипова, академик АН СССР, председатель правления Всесоюзного общества «Знание» Н. Г. Басов, заведующие отделами ЦК КП Грузии Н. Ш. Джанберидзе и Ж. К. Шартава, постоянный представитель Совета Министров Грузинской ССР при Совете Министров СССР Т. Ш. Хачидзе, другие ответственные работники, представители общественности Москвы.

* * *

ДВЕСТИ лет тому назад грузинский царь Вахтанг VI отправил послов в Россию на переговоры.

И теперь вновь из Тбилиси в Георгиевск отбыла группа грузинских всадников в национальных одеждах.

По инициативе Союза журналистов Грузии и республиканской газеты «Комунисти» экспедиция всадников пройдет примерно по тому же пути, что два века назад прошли выдающиеся грузинские политические и общественные деятели Вахтанг VI и Теймураз II, которые всю свою жизнь посвятили делу сближения двух народов.

Долгий путь длиной в 2.400 километров, который предстоит преодолеть экспедиции, берет начало в Тбилиси и пройдет по территории Северо-Осетинской АССР, Чечено-Ингушской АССР, Дагестанской АССР, Калмыцкой АССР, Астраханской области, Ставропольского края.

Экспедиция, посвященная 200-летию Георгиевского трактата, ставит перед собой цель еще раз продемонстрировать нерушимую дружбу всех народов нашей многонациональной Родины.

Руководит экспедицией заведующий отделом республиканской информации газеты «Комунисти» Г. Кокнашвили. В состав экспедиции входят 12 человек—люди самых различных профессий—сотрудник газеты Г. Папуашвили, заместитель директора Музея дружбы народов АН Грузии О. Кеинашвили, научный сотрудник кафедры журналистики Тбилисского государственного университета Ц. Албуташвили, сотрудник Института географии имени Вахушти АН Грузии Д. Джишкариани, член Союза художников Грузии Л. Давиташвили, оператор студии научно-популярных и документальных фильмов Р. Махатадзе, водитель объединения «Сельхозтехника» Т. Гиунашвили, водитель объединения «Грузмедавтотранс» И. Бериашвили, заведующий терапевтическим отделением 5-й клинической больницы г. Тбилиси Т. Рухадзе, а также И. Хаадзе и Р. Боргашвили, жители г. Ахмета, являющегося побратимом Георгиевска.

Игорь КАЛАДЗЕ

Михаил БУЯНОВ

К ИСТОРИИ ДВУХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Трудно назвать писателя, поэта или художника, хотя бы два-три дня пожившего в Грузии и не ставшего самым верным и восторженным ее почитателем.

В настоящем очерке я хотел бы на примере творчества Александра Дюма (1802 — 1870) и Кнута Гамсуна (1859 — 1952) показать роль разнообразных социально-психологических факторов, повлиявших на восприятие ими Грузии. Подобное сравнение тем более поучительно, что посмертная судьба этих писателей, их творчество как до поездки, так и после поездки в Грузию весьма закономерны. И Дюма и Гамсун много путешествовали, о большинстве своих поездок они оставили подробные отчеты, издававшиеся в свое время большими тиражами. По этим отчетам многие люди, никогда не слышавшие о существовании Грузии, создавали свое собственное представление об этой маленькой и яркой стране. Трудно представить двух писателей, более противоположных друг другу по психологии, по образу жизни и, самое главное, по идейно-политической позиции, чем Дюма и Гамсун. Именно поэтому их восприятие Грузии было далеко не случайным.

* * *

Андрэ Моруа в предисловии к вышедшему недавно в Женеве полному изданию записок А. Дюма «Из Парижа в Астрахань» пишет: «К чему нам сравнивать его с другими писателями-путешественниками? Его очарование как раз и состоит в том, что Дюма всегда Дюма, ничего кроме Дюма. Все, что мы можем ожидать, — это немного России и много Дюма. И вот перед нами книга, жизнерадостная, чарующая, полная историй и даже историй», — заканчивает Моруа свой очерк.

В июне 1858 года в Петербург приехал Александр Дюма. Он был восторженно встречен читающей публикой, его гости-примно принимали почти все известные петербургские писатели. Стоило Дюма появиться на улице, как за ним устремлялись толпы поклонников. Тютчев сообщал жене: «На днях вечером я встретил А. Дюма. Я не без труда протиснулся сквозь толпу, собравшуюся вокруг знаменитости». Герцен негодовал: «Со стыдом, с сожалением читаем мы, как наша аристократия стелется у ног А. Дюма, как бегают смотреть «великого и курчавого человека»...»

Дюма пробыл в России до февраля 1859 года. Из северной столицы он отправился в Москву, затем спустился по Волге до Астрахани, через Кизляр и Дербент добрался до Баку и Тифлиса, потом до Поти, откуда уплыл в Константинополь. В рекордное время Дюма опубликовал десяток объемистых отчетов о путешествии. Один из них под названием «Кавказ» в 1861 году был напечатан в Тифлисе.

В настоящем очерке я коснусь лишь двух проблем: 1) Почему так радостно встречали Дюма и 2) Действительно ли в его рассказах о русской жизни чересчур много фантазий, не явился ли Моруа жертвой легенды о том, что в книгах Дюма «немного России и много Дюма»? Ответить на первый из этих вопросов без анализа конкретно-исторических условий и психологического настроения тогдашнего русского общества невозможно: к моменту приезда в Петербург Дюма был третьим выдающимся французским писателем, посетившим Россию за последние 20 лет. Только сравнивая обстоятельства его приезда с поездками других знаменитых французов, можно понять, отчего его встречали так приветливо.

В 1839 году в Петербург прибыл маркиз Адольф де Кюстин (1790 -- 1857). Известный путешественник, объездивший всю Европу и Азию, по приезде в Россию он был принят Николаем Первым. Царь долго беседовал с изысканным аристократом, отец и дед которого были гильотинированы якобинцами. Консерватор до мозга костей, Кюстин не скрывал, что на примере России он намерен продемонстрировать преимущества монархического правления перед республиканским. Кюстин посетил Москву и Нижний Новгород. Вернувшись в Париж, он в 1841 году опубликовал книгу «Россия в 1839 году», которая произвела в затхлой николаевской империи впечатление разорвавшейся бомбы. Ознакомившись с книгой, царь бросил ее на пол и в злобе вымолвил: «Моя вина! Зачем я говорил с этим негодяем!» Русское правительство напечатало во Франции и в Германии несколько сочинений продажных журналистов, доказывавших, что бессовестный маркиз оклеветал Россию, что на самом деле это наиболее свободное и цивилизованное государство планеты.

Что же увидел Кюстин в этой стране? Увидел только то, что и было в ней в годы мрачного николаевского правления — то, что Герцен подробно показал в «Былом и думах». После разгрома декабристского движения пошли ссылки, аресты, казни. Страх и всеобщая подозрительность парализовали нацию. Это породило немыслимый бюрократизм, раболепие,

апатию в общественной жизни, ксенофобию, косность мышления. Все это и заметил наблюдательный маркиз. Он резко критиковал не Россию вообще, а ту страну, которой правит тупой солдафон, всеми силами стремившийся превратить великую державу в громадную тюрьму-казарму. Герцен писал: «Горько улыбаешься, читая, как на француза подействовала беспредельная власть и ничтожность личности перед нею. Без сомнения, это самая занимательная и умная книга, написанная о России иностранцем... И это страшное общество и эта страна — Россия... Тягостно влияние этой книги на русского... оттого, что чувствуешь страшную правду, и досадно, что чужой дотронулся до больного места».

«Мое путешествие по России началось... уже в Эмсе. Здесь я встретил наследника великого князя Александра Николаевича. Первое, что бросилось мне в глаза при взгляде на русских царедворцев во время исполнения ими своих обязанностей, было какое-то исключительное подобострастие и покорность. Они казались своего рода рабами, только из высшего сословия. Но едва лишь наследник удалялся, как они принимали независимый вид и делались надменными, что создавало резкий и малопривлекательный контраст с их обращением за минуту прежде. Впечатление было таково, что в свите царского наследника господствует дух лакейства, от которого знатные вельможи столь же мало свободны, как и их собственные слуги. Здесь было рабское мышление, не лишённое в то же время барской заносчивости. Эта смесь самоуничтожения и надменности показалась мне слишком малопривлекательной и не говорящей в пользу страны, которую я собирался посетить», — начинает свой рассказ Кюстин.

«Военная дисциплина господствует в России... Тень смерти реет над этой частью земного шара», — продолжает он. Заканчивается книга так: «Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, предоставленную народам в других странах Европы, каков бы там ни был образ правления. Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: Поезжайте в Россию! Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый, кто близко познакомится с царской Россией, будет рад жить в какой угодно стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немислимо счастье, ибо по своей природе человек не может быть счастливым без свободы». Итак, французский аристократ приехал в николаевскую империю, чтобы оправдать самодержавие, а уехал откровенным его противником.

В книге Кюстина много нелицеприятных характеристик прогнившей монархии, но в ней нет ни единого слова, направленного против жертв царизма и против русского народа. Разгневавшись на Кюстина, русский император запретил пускать в Россию французских литераторов. Книга Кюстина была строго-настрого запрещена в России. Впервые ее издали в Москве в 1930 году по постановлению Всесоюзного общест-



ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Из этого издания приведены упомянутые цитаты.

В 1843 году — в самое неподходящее время, как показано выше, — в Петербург пожаловал Бальзак. Он приехал сюда частным путем: не как литератор, а только как приятель графини Ганской. По этой причине, но главным образом оттого, что запуганные реакцией царя на книгу Кюстина столичные литераторы избегали контактов с иностранцами — Бальзак не встречался с коллегами по перу и его визит прошел незамеченным. К тому же Бальзак был известен как давний приятель Кюстина. Ему он посвятил рассказ «Красная гостиница» и повесть «Полковник Шабер». Отправляясь в Россию, Бальзак предполагал, что знакомство с Кюстином поможет ему сблизиться с русскими аристократами, но когда те узнавали, с кем дружил Бальзак, они немедленно прекращали общение. Быстро поняв, в чем дело, Бальзак снял посвящение в «Полковнике Шабере» и объявил, что Кюстин оклеветал Россию, что лучшего царя, чем Николай Первый, не было и не будет, что он не допускает мысли, будто француз мог написать такие дерзкие слова по адресу Российской империи: не иначе как Кюстин находился под влиянием какого-то русско-либерала, ненавидевшего царя-батюшку.

«Здесь ходят слухи, что я напишу опровержение Кюстина и что я вернулся нагруженный серебряными рублями. Я отрицаю только рубли», — сообщает он Ганской.

В частных же беседах Бальзак отзывался о николаевской монархии почти так же, как Кюстин, однако, если Кюстин во всем винил «мундиры голубые», а потом «послушный им народ», то Бальзак публично ни словом не задел русскую аристократию, но зато много несправедливо резко и оскорбительных слов адресовал народу. Не владея русским языком, будучи совершенно равнодушным к проблемам России и ее народу (а ведь Бальзак провел в этой стране без малого три года), он всячески заискивал перед аристократами, не замечая, как он смешон в своем тщеславии. Русские же аристократы относились к нему в высшей степени презрительно. Для них он был всего лишь наивным нахалом, мечтавшим попасть в их среду. После истории с Дантесом Бальзак представлялся очередным искателем богатств, прикатившим в чужую страну для «ловли счастья и чинов», а фальшивое дворянское «де» всерьез воспринималось лишь самим Бальзаком. Этот неутомимый труженик, этот пролетарий умственного труда, работавший от зари до зари, больше всего в жизни мечтал о том, чтобы титулованные бездельники и эксплуататоры приняли его за своего, чтобы графиня Ганская подарила ему свои миллионы. Тут великий писатель выступал не как критик буржуазного общества, а как уродливое его порождение. В этом трагическая несовместимость Бальзака-человека и Бальзака-писателя.

Таким образом, аристократ Кюстин заклеил царский режим, плебей же Бальзак его воспел. Обе крайние точки зрения по разным причинам не разделялись многими русскими интеллигентами. Дюма же удалось избежать полярных

высказываний, к тому же он прибыл в Россию совсем в другое время — поэтому он нравился всем слоям русского общества.

Когда Николай Палкин умер, страна будто воспрянула ото сна. Начался бурный подъем общественной жизни. Вся психология русского общества стала другой. Чувство раскованности, ожидания свободы, борьба мнений — все то, чего Россия была лишена на протяжении многих десятилетий — появилось вновь, да к тому же в захватывающей воображение форме. Сам Александр Второй (тот самый наследник престола, окружение которого так сурово высмеял Кюстин) одно время даже поощрял либеральные надежды.

И в этот пышущий иллюзиями и радостью Петербург прибыл лучезарный фантазер, известный своими демократическими взглядами, автор известных слов — «руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм — это руки рабочего». И хотя Дюма грешил детской любовью к орденам и прочим побрякушкам, тем не менее в нем в первую очередь видели представителя передовой европейской интеллигенции, еще в 1840 году выпустившего «Записки учителя фехтования», в которых он критически отзывался о николаевском строе. Героями этого романа были декабрист Анненков и мужественная француженка Полина Гебль, последовавшая за своим возлюбленным в Сибирь (приехав в Нижний Новгород, Дюма повидался с этими людьми — случай в истории литературы исключительный). Николай Первый не мог простить Дюма этого романа. Стало быть, дело не только в самой личности Дюма и уж тем более не только в пресмыкательстве русской аристократии, а в комплексе причин и в первую очередь в социально-психологической атмосфере русского общества после смерти ненавистного императора. Именно поэтому совершенно заслуженно в России так восторженно встречали Дюма.

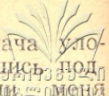
Конечно, очень большую роль в этом играла фигура самого Дюма — лишенного чопорности и заносчивости, откровенно доброжелательно относившегося к русскому народу. Все это привлекало к нему сердца людей. Бальзак оказался в России, чтобы устроить свои финансовые проблемы, он вел себя, пользуясь современным языком, как колонизатор. Дюма же приехал с открытой душой. Бальзак-художник был неизмеримо выше Бальзака-человека. Что касается Дюма, то здесь все обстояло наоборот. Дюма воспринимался в первую очередь как яркая личность, искрающаяся любовью к жизни и ненасытной, энергичной любознательностью. Поэтому и встречали его как друга и как брата.

Теперь перейдем ко второй теме очерка. Искусство — это ложь, позволяющая лучше узнать истину, — считают многие. Но чем меньше правда прибегает к помощи лжи, тем лучше. Много ли лжи в сочинениях Дюма о России? Во всяком случае о Кавказе?

Я внимательно перечитал эту книгу и нашел в ней мало грубых погрешностей. Знакомясь с ней, не перестаешь удивляться феноменальной трудоспособности, проницательности и энциклопедичности этого человека. Не понимая русского язы-

ка, прожив в России всего около 8 месяцев, он понял страну куда лучше многих исконно русских писателей. «Кавказ» — по существу первая в истории книга, которая обстоятельно знакомила западного читателя с историей, географией, бытом и нравами кавказских народов (в первую очередь грузинского). Хотя бы поэтому ее следует оценить в высшей степени положительно. В ней — как и в других книгах Дюма о России и Кавказе — приводится много отрывков из произведений Пушкина, Лермонтова, Вяземского, Рылеева, Некрасова. Это своеобразная хрестоматия, написанная добродушным, но в то же время дошным иностранцем в расчете на нерусского читателя. Поражаешься, как за столь короткое время Дюма так много узнал о Кавказе. Пишущий эти строки исколесил весь Кавказ, много лет изучал его историю и культуру, но читая «Кавказ», обнаруживал много пробелов в своих знаниях — Дюма же все это знал хорошо. Подозрение в том, что это компилятивная работа, не снижает ее высочайшей оценки: чтобы сделать хорошую компиляцию, нужно иметь большой талант, отличную интуицию (не говоря об эрудиции) — это громадный труд, с которым Дюма справился в удивительно короткое время. Это не исключает некоторых ошибок и неточностей в описаниях Дюма, но они вполне естественны для иностранца и было бы удивительно, если бы их не было. Иными словами, положительное в книгах Дюма о России и Кавказе куда более весомо, чем отрицательное, однако, поддаваясь инерции общественного мнения, многие и сейчас думают, что все, что вышло из-под пера Дюма, это развесистая клюква. Кстати, выражение «развесистая клюква» пошло тоже от Дюма. В одной из книг он пишет, что сидел на Кавказе под развесистой клюквой. Меньше всего в этом виноват Дюма — сообщать гостю названия деревьев дело ботаников и переводчиков, а коль последние перевели неточно, то причем здесь француз? В книгах Дюма о Кавказе очень мало Дюма, но зато много Кавказа. Они переполнены историческими экскурсами, географическими сведениями, в них подробно излагается история тех мест, которые посетил путешественник. Прошлое и настоящее, история знатных фамилий, крупнейшие события из жизни Грузии — всем этим насыщены книги Дюма. Дюма очень чутко улавливает различия между разными народами, населяющими Кавказ. Особенно подробно он описывает Грузию. Тут я бы хотел сказать, что по своему темпераменту, по своим личным свойствам Дюма был чем-то похож на грузина. Он сам говорит об этом много раз. Было бы удивительно, если бы Грузия не понравилась этому человеку, умеющему самозабвенно трудиться, веселиться и быть верным другом. Жажда жизни, любовь ко всем ее проявлениям, умение понять всех людей, чрезвычайная отзывчивость — вот что такое Дюма, рассказывающий о Грузии.

Есть главы, в которых ни разу не упоминается местоимение Я — тут речь идет лишь о том, что писатель видел и слышал. Вот, например, самое, если так можно выразиться, эго-



центрическое описание тбилисской жизни. «Два палача уложили меня на одной из деревянных лавок, позаботившись положить под голову намоченную подушку, и заставили протянуть обе ноги и руки во всю длину тела. Тогда они взяли меня за руки и начали ломать мне суставы. Эта операция началась с последнего сустава пальцев. Потом от рук они перешли к ногам, затем очередь дошла до затылка, позвоночника, поясницы. Это упражнение, которое, по-видимому, должно было совершенно вывихнуть члены, совершалось очень естественно, не только без боли, но даже с некоторым чувством удовольствия. Мои суставы, с которыми никогда не случилось ничего подобного, выдерживали так, будто до того постоянно подвергались ломанию. Окончивши первую часть разглаживания членов, банные служители повернули меня и в то время, как один вытягивал мне изо всей силы руки, другой плясал на моей спине, иногда скользя по ней ногами, и странно, что этот человек, который мог весить 120 фунтов, на мне казался легким как бабочка. Он снова влезал ко мне на спину, сходил с нее, потом опять влезал — и все это составляло ряд ощущений, производивших невероятное блаженство. Я дышал как никогда, мои мускулы — насколько не были утомлены, а напротив, приобрели, или по крайней мере казалось, что приобрели, невероятную гибкость: я готов был держать пари, что могу поднять распростертыми руками весь Кавказ. Наконец, к моему великому сожалению, ломание членов кончилось и приступили к последнему этапу, который можно назвать мыльным. Человек с перчаткой, находя, что обычной воды недостаточно, взял какой-то мешочек. Я вскоре увидел, что он надулся и испустил мыльную пену, которой я совершенно покрылся. За исключением глаз, которые мне немного жгло, я никогда не испытывал более приятного чувства, как то, которое было произведено этой пеной, текущей по всему телу. Почему Париж, этот город чувственных наслаждений, не имеет персидских бань? Почему никакой спекулянт не выпишет двух банщиков из Тифлиса?»

В этом описании нет ни слова неправды. Точно так же рассказывал о посещении этих бань Пушкин. Точно так же рассказывает каждый, кто хотя бы один раз побывал в них. Так же обстоятельно и точно он передает содержание легенд и историй, слышанных на Кавказе. Например, в Баку Дюма посетил все то, что обычно посещает и современный путешественник. Рассказ Дюма о Девичьей Башне (Кыз Галасы), о Старом городе (Ичери-Шехер), о храме огнепоклонников в Сураханах и т. д. — все достоверно, без всяких фантазий и все занимательно. 10 октября 1858 года Дюма видел праздник в честь мусульманского святого Хуссейна. Он был потрясен. «Шииты отличаются своей нетерпимостью. Ненависть их к христианам столь велика, что шиит ни за что не сядет за один стол с христианином, хотя бы ему пришлось умереть с голоду, а христианину от жажды, так как шиит из опасения осквернить свою чашку никогда не предложит ему воды», — сообщает Дюма. Изуверский фанатизм шиитов никогда не

проявляется в большей степени, чем во время праздника шахсей-вахсей, который застал Дюма. Описания этого праздника, данные Дюма, совпадают с тем, как описывали его А. В. Вагнер и другие путешественники, побывавшие здесь до и после Дюма.

И здесь Дюма не допускал никаких выдумок. Он скорее выступал в роли ученого, чем романиста. Нет, видно, ошибался месье Моруа, думая, что Дюма таков, каким придумал Дюма он сам. Во всяком случае, в описании Грузии Дюма был совсем иным. Разъезжая по Кавказу, Дюма восторгался тем, что видел окрест себя: природа, люди, обычаи — все вызывало в нем доброжелательное любопытство. Он приехал сюда как друг и брат. В его отношении к кавказцам нет ни намек на высокомерие или пренебрежение. Его раздражали лишь фанатизм, ненависть, нетерпимость. Он восторгался Добром и не скрывал своего неприятия Зла. Он открыто симпатизировал жертвам произвола. На страницах «Кавказа» часто упоминаются Лермонтов, Марлинский и другие.

Из Тбилиси, где Дюма прожил шесть недель в доме французского консула барона Фино, он часто выезжал то в Пасанаури, то в Мцхета, то в другие места, в том числе в Цинандали — родовое имение князей Чавчавадзе. Незадолго до приезда Дюма тут умерла от холеры Нина Грибоедова-Чавчавадзе, которой Дюма посвятил много проникновенных строк. Большое впечатление произвела на писателя сестра Нины — царица Мингрелии Екатерина Дадияни-Чавчавадзе. Царица славилась не только удивительной красотой, но и величайшей отвагой. Однажды, когда турки осадили ее замки, она собрала всех женщин, посадила их на боевых коней, и эти amazonки разгромили захватчиков. Это может показаться очердным сюжетом из фантастического сочинения Дюма на историческую тему, однако все здесь правда. Поэтому разве повинен Дюма, что ему не верили, когда он рассказывал о действительно имевших место событиях?

Дюма был феноменальной личностью, рождаемой, быть может, один раз за всю историю цивилизации. Личностью необъяснимой и загадочной. Чтобы не утруждать свой разум излишними и в конечном итоге бесперспективными размышлениями о сути этой уникальной фигуры, люди стали думать, что Дюма — это всего-навсего безответственный фантазер, к сочинениям которого нужно относиться свысока. Ясно, что по романам Дюма (как и Толстого или драмам Шекспира) нельзя изучать историю, но дух ее можно понять быстро и верно. Но изучать места, которые Дюма посетил и о которых он писал, можно: лжи в них практически нет. Точности его могут позавидовать даже ученые.

И в Цинандали и в имени Екатерины Дадияни-Чавчавадзе Дюма много рассказывали об истории Грузии. Собственно, и сами рассказчики были частью этой истории. Особенно поразили Дюма рассказы о шиитских нашествиях на Тбилиси, о гибели в Тебризе от рук озверевших фанатиков-шиитов Гри-

боедова. Дюма быстро уловил, что если бы не присоединение Грузии к России, то она была бы обречена на вымирание из-за непрерывных набегов безжалостных южных и восточных соседей. И в этом Дюма показал себя тонким наблюдателем и разумным политиком.

Книга Дюма о Кавказе обширна (в ней более 700 страниц), она восхитительна не только художественными достоинствами, но и объективными сведениями, поражающими точностью описаний: выдумщик выдумщиком, но Дюма в первую очередь был великим тружеником и наблюдательным человеком. При всех обстоятельствах он оставался верен своему призванию: запоминать, записывать и занимательно пересказывать. Каждый, кто хотя бы один раз побывал в Грузии, никогда не забудет необыкновенного гостеприимства грузин. Можно представить, как было трудно Дюма удержаться от соблазнов.

Существует легенда, будто Дюма был несравненный обжора и гурман. Во всяком случае именно таким его рисуют авторы художественных сочинений. На самом же деле все обстояло иначе. Дюма спиртного не брал в рот (особенно во время посещения России), не курил и всю жизнь держал себя на строгой диете, хотя поесть любил, а еще больше любил поговорить об этом. К тому же, где бы он ни находился, он везде записывал рецепты местных кушаний и по возвращении в Париж публиковал их. Немудрено, что его воспринимали как отъявленного гурмана. Можно представить, как тяжело было Дюма на Кавказе из-за того, что приходилось бдительно следить, чтобы его не обкормили и не опоили коварным кавказским вином — уж в таком случае Дюма вряд ли что-нибудь запомнил бы из того, что ему рассказывали словоохотливые собеседники.

Автор предисловия к «Кавказу» — весьма придирчивый тбилисец, — следуя установившейся традиции видеть в Дюма лишь поверхностного и легкомысленного сочинителя, с удивлением пишет: «Конечно, тот же романист сказался в нем и с невыгодной стороны, разумея под этим страсть к фантастическому искажению фактов, которое, впрочем, касается очень немногих частных случаев». Вот именно: «очень немногих». Остальное — безупречно.

Дюма любил развлечения, он рассматривал жизнь как скопление мистификаций, превращал скучные проявления бытия в веселую, зажигательную игру, в которой всегда побеждают счастье и отвага. Он населил нашу планету добрыми и удачливыми персонажами, которые всегда будут скрашивать жизнь реальных людей. Вот почему Дюма знает весь мир. Люди разных эпох, поколений, возрастов и социальных слоев, ученые и малограмотные, школьники и старцы, артисты и шахтеры — все любят книги Дюма, все их на самом деле читают, а не делают вид, будто читают. Его книги избежали

судьбы классических романов, о которых много говорят, но мало кто берет в руки.

Россия и Кавказ были той частью света, которая давала Дюма безграничную возможность развернуться в творческом домысливании фактов. Но тут фантазия Дюма оказалась беднее реальности: история великого государства и таких ее составных частей, как Грузия, располагала обилием головокружительных, почти неправдоподобных сюжетов, перед которыми даже такой сказочник, как Дюма, терялся. И когда он добросовестно записывал все, что рассказывали сопровождавшие его лица, то читатели во всем мире воспринимали эти рассказы как очередную фантазию неистощимого выдумщика. Так и пошла слава о его «русских книгах», как о какой-то чепухе, сочиненной бессонными ночами. На эту удочку попадались многие авторитетные биографы величайшего развлекателя новейшего времени, попадались и благодаря этому еще больше распространяли досужие вымыслы о Дюма.

* * *

В 1902 году вышла книга «В сказочной стране (пережитое и передуманное на Кавказе)». Ее автором был Кнут Гамсун — один из самых популярных писателей рубежа веков. Бедняк, тяжким трудом выбившийся в люди, безработный, исколесивший весь мир, сочинивший такие великолепные романы, как «Голод» и «Пан», Кнут Гамсун считался едва ли не самым серьезным и глубоким писателем Норвегии, Европы да и всего мира. А в России некоторые почитали его чуть ли не как нового мессию, затмившего собою Толстого и Достоевского.

Пытаясь сопоставить психологические портреты А. Дюма и К. Гамсуна, я бы хотел сказать, что посещение Грузии — это своеобразная лакмусовая бумажка, как бы псказывающая истинную сущность человека. Человек, способный восхищаться, удивляться, любить мир и людей, не может не любить Грузию как олицетворение жизни. Человек же эгоистичный, мрачный, замкнутый будет равнодушен к Грузии. Именно таким был Гамсун. Хотя его книга называется «В сказочной стране», ее название никак не вытекает из ее содержания. Это Дюма так должен был бы назвать свои очерки, со страниц которых Кавказ предстает действительно как сказка. Гамсуновские же описания — это нечто бухгалтерское, спокойное, ровное, мелкое, неинтересное, неожиданно называющееся «В сказочной стране» и так же неожиданно кончающееся обещанием тосковать по Грузии. Если Дюма — человек неравнодушный и менее всего погруженный в свои переживания, то книжка Гамсуна совершенно иная, ей бы больше подошло другое, примерно такое название: «Что я думал о себе, находясь то ли в Грузии, то ли где-то недалеко». Лишь изредка автор отвлекается от своих переживаний и обращает взор к Грузии. «Мы смотрим из окна вагона на несравненную, богом благословенную страну, — она так богата и прекрасна, и нам суждено было увидеть ее. Луна взошла еще ранее захода солнца, проглянули целые рои звезд, и поезд скользит над землей, весь облитый серебряным сиянием. Мы видим теперь лишь смутные очертания, но и очертания прекратились. Силуэты хол-

мов, гор и долин проносятся перед нами. Здесь и там мерцает в деревушке огонек, похожий на каплю крови в этом море беловатого сияния. Тих и тепел длинный вечер, тиха и тепла ночь...» Но и такие — хотя бы косвенно касающиеся Грузии — описания очень редки у Гамсуна: его интересует лишь он сам. До чего же силен был эгоцентризм этого человека, если даже поездка в Грузию, в страну, увлекающую собою практически любого человека, не смогла преодолеть его фиксации на себе, на своем индивидуализме. В нем нет добродушия, мягкости, энергии, широты души — всего того, что было в избытке у Дюма. И уж чего-чего совершенно нет, так это чувства юмора. Страницы «Кавказа» переполнены добродушной, искрящейся радостью, смехом, жаждой жизни. Книга же Гамсуна — педантичное, брюзжащее перечисление виденного и почувствованного в себе, никакой радости жизни, никакого веселья, никакой улыбки. Все сухое, мрачное, расчетливое, мелочное. Порой читатель забывает, о чем же рассказывает Гамсун — о России, Грузии или Норвегии. В своей книге Гамсун лишь мимоходом упоминает, что в Грузии жил Грибоедов, что в Тбилиси числится 160 тысяч жителей (мужчин в два раза больше, чем женщин), что грузины и армяне — это не одно и то же. Местные жители для Гамсуна — это ничтожные туземцы, к которым следует относиться как к существам второго сорта.

Человек, неспособный улыбаться, неспособный удивляться и радоваться — заведомо ущербный человек — не может любить Грузию, и Грузия не может любить его. Так случилось с Гамсуном. Кавказ, изобилующий нациями разных вероисповеданий и уровней экономического развития, давно бы изжил себя и лишился бы населения, если бы здесь исповедовался расизм. Сама кавказская жизнь исключает национализм, а если последний и появляется, то лишь в результате пропаганды внешних сил, подстрекательства и клеветы (национальные конфликты на Кавказе при царизме были обусловлены именно этими факторами). Понятно, что Гамсун — фанатичный сторонник германского национализма, бесконечно влюбленный в прусский порядок, в военную дисциплину древних германцев, больший ариец, чем сами немецкие нацисты — свысока относился к кавказским народам, они для него некое подобие недочеловеков, рожденных лишь для одной цели — быть рабами арийцев.

«Время не реабилитировало Гамсуна как политика, но книги его живут», — сказал Тур Хейердал. Книжки Гамсуна читают, в них много хорошего, но какими бы они ни были, нужно всегда помнить, что стоит за ними: презрение к прогрессу, культ сильного человека, жестоко расправляющегося со всеми, кто не признает его право быть господином. Философия Гамсуна — это философия антигуманизма, облеченная в красивые формулы и блестящий литературный стиль.

Ни один герой Дюма не кончал самоубийством, ни одному персонажу Дюма это и в голову не придет: слишком эти люди любят жизнь, природу, человеческое общение. Герои же Гамсуна кончают с собою сплошь и рядом, некоторые из

5520
10333

них являются духовными самоубийцами или живыми мертвецами (как Ивар Карено в конце жизни). Впрочем, оледеневшую и мрачную душу самого Гамсуна не смогло оживить даже путешествие в Грузию. Поездка Гамсуна началась с Петербурга, оттуда он на поезде прибыл во Владикавказ (Орджоникидзе), затем на извозчике проехал по Военно-Грузинской дороге. Из столицы Грузии он отправился в Баку, потом вернулся в Тбилиси, съездил в Батуми, оттуда вновь переместился в Баку и затем покинул пределы России. Путешествовал Гамсун со своей женой. О том, общался ли он с литераторами России, кто его сопровождал, с кем он познакомился по пути — ничего Гамсун не сообщает. Ни одного языка, на котором говорят в России, Гамсун не знал. Судя по всему, он не обременял себя специальным изучением истории и культуры мест, которые он намеревался посетить. Неточностей в его путевых заметках почти нет, т. к. сами заметки очень короткие (в три раза короче, чем «Кавказ» Дюма) и в них почти ничего не упоминается из того, что путешественник мог бы узнать и прочитать. «Кавказ» — это своеобразная энциклопедия, и, коль скоро неточности в ней неминуемы, поразительно, что их так мало. Книга же Гамсуна диаметрально противоположна книге Дюма, как несоединимы и противоположны темпераменты этих людей, их общественно-политические взгляды. Лишь изредка талант писателя пробивается сквозь гамсуновскую идеологию и что-то человеческое появляется в его рассказе о Грузии. «В громадном ущелье в цепи гор мы видим налево далеко-далеко в стороне другую долину, также усеянную деревьями, хижинами и желтыми пятнами подей по склонам гор. И там также живут люди, думаем мы, быть может, они там счастливы, как мы, у них тоже свои радости и горести, свой труд и свой отдых. В молодости у них есть своя любовь, а под старость свой клочок земли и свои бараны. Нет ничего, ничего на свете, что походило бы на то чувство, которое охватывает человека, когда он вдали ото всего, думал я. Я помню это из моего детства, когда я пас скот у себя на родине...» (далее идут рассуждения о себе).

В общем Грузия для Гамсуна — экзотический, грязный и ленивый Восток и не более того. Понятно, что Гамсун не может не любоваться природой Грузии, некоторыми ее обычаями, но к людям он равнодушен, они его несколько не интересуют. Дюма, мечтавший быть с людьми и органически вписывающийся в людское общество, и Гамсун, мечтавший властвовать над людьми и презиравший их — разве могут быть люди более психологически несовместимые, нежели эти два таких не похожих друг на друга писателя?

* * *

А может, это все мифы; и о Дюма, и о Грузии, и о Гамсуне? Кто знает. Во всяком случае в психологическом отношении Дюма, Гамсун и Грузия таковы или почти таковы, какими я их показал на основании изучения отзывов Дюма и Гамсуна о Грузии, которую я люблю всем сердцем.





Заза АБЗИАНИДЗЕ

ПОСЛЕ ЗАТИШЬЯ...

Каждый, кто мало-мальски знаком с современной грузинской литературой, может заметить разительные перемены в ее «жанровой иерархии». До шестидесятых годов никому не приходило в голову оспаривать жанровое превосходство поэзии. Шестидесятые годы сегодня воспринимаются годами «жанрового равновесия», и вот уже в семидесятых все чаще стали раздаваться голоса, что традиционному в грузинской литературе первенству поэзии пришел конец. Подобные заявления всегда рискованны, но все-таки посмотрим, какова основа этих выводов и есть ли в сегодняшнем «ренессансе» грузинской прозы (а это, по-моему, действительно так) свои внутренние закономерности.

Грузинская проза нашла ключ к самым животрепещущим вопросам современности, возможно именно поэтому (да простится мне этот парадокс) ее нынешняя жанрово-стилистическая модель менее традиционна, чем модель поэтическая. Неудивительно, что новейшие тенденции грузинской прозы прежде всего выявились в ее жанрово-стилистических новациях. Но здесь же надо отметить, что духовный аспект этих жанрово-стилистических новаций важнее панорамы формального утверждения их в литературе.

Давайте заглянем «вовнутрь» грузинской прозы двух последних десятилетий и попытаемся уловить хотя бы некоторые глубинные истоки происходящих в ней процессов.

Всем нам памятна «лирическая волна» на рубеже 50 — 60-х годов. Грузинская литература не была исключением — в ней безраздельно властвовала лирика. Лирическая проза, лирическая поэма, даже «лирическая критика», эссе — вот доминантные литературные жанры тех времен.

Концептуальная основа подобного круговорота жанровой стихии верно подмечена Эдуардасом Межелайтисом: «Было время, — писал он в «Лирических этюдах», — когда поэта больше интересовала судьба масс. Ныне взор художника все

чаще устремляется на каждого отдельного человека. Неизбежно то, что по мере развития общества на общем фоне все отчетливей виден каждый человек в отдельности».

Приглядываясь к «человеку в отдельности», грузинская проза начала 60-х годов должна была припомнить несколько старых истин. Постепенно исчезли с ее горизонта «рыцари без страха и упрека», внешнее обаяние и внутренняя цельность которых служили залогом жизненного успеха. (И, в свою очередь, общественный статус которых свидетельствовал об их человеческих достоинствах). Лирическая проза с ее проникновенностью, с ее обращением к читателю как своему единственному, доверительному слушателю явилась стиливым антиподом литературной напыщенности и суесловия. Оказалось, что во внешне незамысловатой, задушевной беседе можно рассказать и о чуде Элиозе, замерзшем в поисках волшебного древа желания (это, как вы помните, персонаж прекрасной поэтической прозы Георгия Леонидзе), и о проделках Зурикелы Вашаломидзе, героя известного романа Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион».

Повествование о жизни, любви, горестях и радостях внешне ничем не примечательных, «маленьких» людей понемногу обесценило в глазах читателей значимость удачливых и безупречных героев предыдущего литературного периода.

В грузинской прозе совершенно явственно вырисовывалась новая шкала ценностей, высшие строчки на которой занимали нравственное чутье и великодушие, внутренняя чуткость и дар сопереживания.

Эту гуманистическую концепцию восприняла и проза 70-х годов: щемящий лиризм последних рассказов Нодара Думбадзе, повесть о добродушном, чудаковатом трубаче из провинциального джаз-оркестра по имени Беко («Бассейн» Тамаза Чиладзе); любовное созерцание деревенского пейзажа в «Рассказах вечерней поры» Реваза Иванишвили и, как непосредственное продолжение этой стиливой традиции — литературный дебют Нугзара Шатаидзе и Годердзи Чохели. Тяготение к лиризму в прозе Резо Чей или, ранее закамуфлированное («Динозавры ходят по городу»), теперь открыто проявилось в его последнем романе, который не только лирически озаглавлен — «Ветер доносит музыку», но и композиционно продуман как единение лирических новелл.

Противоположные стиливые тенденции служат выражению разных нравственных позиций. Мы помним бунинского Захара Воробьева, помним писательский приговор безысходной, мрачной жизни, раздавившей мужика. Дидро, герой одноименного рассказа Нодара Думбадзе, также становится жертвой пари. Но Нодар Думбадзе не спешит винить кого-либо в смерти своего героя. Не от злого сердца подшучивали над бедным Дидро односельчане... Что делать, если жажда самоутверждения завладела даже его бесхитростной душой и ему захотелось доказать окружающим, что он не недоумок по прозвищу Дидро, а непревзойденный в деревне силач.

Обращение Нодара Думбадзе к этой теме не случайно. Так же, как в свое время не случайно именно осиротевший

подросток Сосо Мамаладзе и беспомощная слепая девочка Хатия испытывали на себе доброту окружающих (роман «Я вижу солнце!»).

У грузинской прозы 70-х годов есть и другая стилистическая концептуальная тенденция. С одной стороны, она восходит еще к концу прошлого века и началу нынешнего — к прозе Эгнате Ниношвили, Чолы Ломтатидзе и Михаила Джавахишвили. С другой, она непосредственно продолжает традицию «Клада» Демны Шенгелая и «Алавердоба» Гурама Рчеулишвили, «Солнца мертвых» Георгия Шатберашвили и «Возвращения Авеля» Арчила Сулакаури. Эти произведения никак не укладывались в общее русло лирической прозы рубежа 50 — 60-х годов. В их предгрозовой атмосфере сгущались тучи трагических характеров и коллизий, ощущалась непримиримая поляризация нравственных ценностей, уже никак не разряжаемая спасительным юмором, всепрощающей шуткой и улыбкой. Еще немного, и грянет гром...

В 70-х годах эта тенденция нравственного максимализма наиболее четко проявилась в произведениях самого молодого поколения грузинских прозаиков. Если герой романа «Гость» Гурама Гегешидзе (автор принадлежит к среднему поколению писателей) чувствует себя гостем в родном городе и, изнывая от бездуховности своего окружения, сбегает учительствовать в деревню, то дилеммы, стоящие перед героем Мераба Абашидзе (это уже самое молодое поколение наших писателей), не оставляют спасительного выхода: он должен решить, где лежит грань между добром и злом (вспоминаются слова Толстого, что каждый человек должен сам находить эту границу!), когда иссякает запас человеческого терпения и обретается внутреннее право на возмездие. Такова нравственная проблематика рассказа Мераба Абашидзе «Факелы, Квазимодо!»

Таким же беспощадным веризмом отличается рассказ Георгия Баканидзе «Сорок дней и сорок ночей»; рассказ о сбежавшем из ФЗУ подростке. Вот стоит он, после страшной ночи, сброшенный с товарного состава, и первые лучи безрадостного солнца уже не могут согреть ни его озябших плеч, ни его навечно охладевшую к людям душу. Здесь же вспоминается неприкаянный герой рассказа недавно скончавшегося Джемала Топуридзе «Диоскурия, город, затопленный морем» и блаженный актер-любитель из рассказа Сосо Пайчадзе «Последний дубль».

Все эти «странные герои», ущербные натуры, обиженные судьбой — носители самых светлых духовных качеств, словно их создатели тайно уговорились опровергнуть известную всем расхожую мудрость: «В здоровом теле — здоровый дух!».

Так и хочется перефразировать слова Межелайтиса и сказать: «Было время, когда художника больше интересовало правило, ныне взор художника все чаще устремляется на исключение».

В какой-то мере этот парадокс характеризует еще одну тенденцию, под знаком которой прошли семидесятые годы в грузинской литературе.

зинской прозе. Я имею в виду тенденцию «нового историзма» и, в частности, «нового мифотворчества».

«Интерес к исключительности» проявился в новой грузинской исторической романистике еще в конце пятидесятых годов. Ожесточенные споры вокруг романа Григола Абашидзе «Лашарела» свидетельствовали не только о том, что автор размышлял об исключительно сложных характерах и ситуациях, но и о том, что имел смелость отойти от общепринятых стереотипов и установок.

Как уже было сказано, семидесятые годы в грузинской прозе прошли под знаком исторического романа. Тут же надо отметить, что концептуальное и стилистическое многообразие исторической романистики семидесятых годов расширило само понятие «исторического романа»: оно вмещает и приближенные к классическим жанровым образцам романы «Цотне, или падение и возвышение грузин» Григола Абашидзе и «Тяжелый крест» Реваза Джапаридзе; образцы нового мифотворчества в романах Отара Чиладзе «Шел по дороге человек» и «И всякий, кто встретится со мной...»; драматическое повествование о недавнем прошлом в романах Отара Чхеидзе («Ветер, которому нет имени»), Григола Чиковани («Одишские рассказы») и Нодара Цулейскири («Тутарчела»); условность вневременной деревни у Тамаза Бибилури («Помоги! — сказал он») и экзотических реалий у Гурама Дочанашвили («Большой аметист»).

Даже этот простой перечень показывает, что и сама историческая тематика и даже символическое обращение к этой тематике, к мифу и к преисторическому прошлому значительно расширили жанрово-стилевые границы современной грузинской прозы.

«Новый историзм» оказал воздействие на различные прозаические жанры. Так, например, произведение, созданное по жанровым законам авантюрного романа — «Дата Туташиа» Чабуа Амирэджиби — перерастает формальные жанровые границы, и рассказ о вечном противоборстве добра, воплощенного в образе «благородного разбойника», и зла воспринимается ярким образцом «нового историзма».

Показательно и проникновение мифологического мышления в стиль «ретро»: трагическая коллизия повести Арчила Сулакаури «Лука» построена на архетипе древнегреческого мифа об Исиде и Осирисе.

Однако, повторяю, главное не в стиливых новациях, а в их духовном аспекте. Стремление рассматривать нравственные проблемы не только в личной, но и общественной плоскости — отличительная черта романа Нодара Думбадзе «Закон вечности»: мы видим, как в изолированном от внешней среды микромире больничной палаты сфокусировались важнейшие проблемы нашего бытия, не дающие покоя писателю сердцу.

В романах Гурама Панджикидзе «Камень чистой воды» и «Год активного солнца» мастерски воссозданные экстремальные ситуации беспощадно обнажают импульсы и побуждения героев, и читатель отчетливо ощущает «демаркацион-

ную линию» между нравственным компромиссом и гражданской непримиримостью. Таким же бескомпромиссным началом проникнут роман Георгия Цицишвили «Одолей, адичность свою», с беспощадной правдивостью рассказывающий о той растлевающей человеческую душу атмосфере, которая царяла во времена «расцвета» т. н. «негативных явлений». Нельзя не упомянуть о другом произведении Георгия Цицишвили, сборнике новелл «Любовь поры кровавых дождей», заголовок которого подчеркивает, что в центре авторского повествования — узел безбожно запутанных войной человеческих судеб. Георгий Цицишвили говорит не только и не столько о самой войне — о битвах и сражениях, сколько присматривается к тем «песчинкам», которые подхватил этот фатальный смерч войны.

«Новая волна» грузинской «военной» прозы ярко и интересно представлена в рассказах Константина Лордкипанидзе «Смерть может подождать», в рассказах Тенгиза Гоголадзе.

Стилевым антиподом этих рассказов можно считать проникнутые игривым юмором рассказы Реваза Мишвеладзе, но в главном — в пристальном внимании к своему герою, в нравственной оценке его духовных качеств — эти произведения, конечно же, едины.

В русле современной грузинской прозы заметны и другие тенденции. Не могу не упомянуть о сказках-притчах Арчила Сулакаури и Гурама Петриашвили. О возрожденной традиции документальной прозы можно судить по роману Теймураза Маглаперидзе, посвященному недолгой жизни поэта-фронтовика Мирзы Геловани. «Новая волна» документальной прозы представлена также живой и интересной повестью Нугзара Церетели, посвященной Гураму Рчеулишвили.

Особый общественный резонанс вызвало появление документального романа Константина Лордкипанидзе «Что произошло в Абаше» и его очерка «Горец вернулся в горы», свидетельствующих о том, что грузинские писатели уделяют особое внимание острейшим социально-экономическим проблемам и поддерживают благотворные общественные тенденции.

Мне всегда казалось, что жанр киноповести обойден вниманием грузинской критики. Хотя бы символически хочу восполнить этот пробел, тем более, что за обманчивой «жанровой поверхностью» кинорассказа в течение двух последних десятилетий кроются весьма любопытные явления.

Когда в 1957 году была опубликована киноповесть Тенгиза Абуладзе и Реваза Чхеидзе «Чужие дети» (в ту пору оба автора были молодыми режиссерами), грузинские читатели впервые почувствовали «вкус» кинорассказа как литературного жанра, его стилевое своеобразие, выгодно оттенявшее унаследованные от его «прикладного» происхождения качества — лаконизм, эмоциональную сдержанность, отказ от возвышенной патетики.

Киноповесть Тенгиза Абуладзе и Реваза Чхеидзе рассказывала о «маленьких людях», наделенных удивительным запасом душевной щедрости. Казалось, весь мир сомкнулся



на горестях и радостях одной семьи. Но вот, спустя двадцать лет, лесничий Лука Чохели, герой одноименной киноповести Важа Гигашвили, заявляет о своем нравственном праве противостоять окружающей его среде уже не своей частной жизнью, а фанатической преданностью вверенному ему островку леса. (Тут напрашивается сравнение с героем рассказа Нодара Цулейскири «Камень Давида Строителя» — стариком-учителем Панте Джава, которому ценой жизни обошлась защита памятника старины). Преданность своему делу отличает и героев кинорассказа Р. Инанишвили и Г. Шенгелая «Пески остались...», посвященного строителям Алазанской оросительной системы.

У «микромира» данного жанра есть и своя мифологическая ветвь — кинорассказ Владимира Сихарулидзе «Эдип» и гротескно-юмористическая — «Дюма на Кавказе» Реваза Габриадзе.

Что же произошло «под сенью» жанра? Киноповесть в миниатюре повторила двадцатилетний путь новой грузинской прозы. Жанр киноповести наглядно показал, что сегодняшнюю грузинскую литературу нельзя представить себе без нового героя, бескомпромиссно защищающего свои нравственные и общественные идеалы. Защищающего и в том случае, когда эта бескомпромиссность становится причиной самых драматических последствий.

Этот новый герой не смог бы утвердиться в грузинской прозе, если бы в ее лоно в новом качестве не возвратился эпос — с возросшей гражданской ответственностью художника в осмыслении исторических судеб народа и сложнейших проблем современности.

Сегодня, в начале восьмидесятых годов, не только у нас, критиков, но и у каждого читателя, искренне интересующегося новой грузинской прозой, возникает внутренняя потребность осмыслить ее недавний путь, отметить и характерные только для нее особенности, и типологически родственные для всей советской литературы явления.

Как говорят, раздумывая о прошлом — прозреваем будущее. Не будем гадать. Скажем лишь, что и вчерашний, и сегодняшний день грузинской прозы убеждают нас в ее полнокровной жизни, пристальном внимании и к отдельной человеческой душе, и к сложнейшим общественным процессам, и все это вместе вселяет в нас уверенность, что и завтрашние читатели не останутся равнодушными к книгам грузинских прозаиков.

УТРО НАД ГОРАМИ

«Гудамакарское ущелье представляется мне большой книгой. Обложкой этой книге, в которой огромное количество рассказов, служат горы. Солнце и месяц — мои светильники, передо мной раскрыта эта удивительная книга, и я читаю ее», — пишет в одной из своих книг Годердзи Чохели, даже не подозревая о том, что говорит от имени нескольких мужественных молодых горцев, чьи произведения влились в нашу литературу, как вливается в большую реку прозрачный ручей. Я не говорю, что ручей этот подобен Арагви, только потому, чтоб это не показалось преувеличением, хотя смело мог бы сказать так.

Чего только не увидел в этой огромной книге Годердзи Чохели! Прежде всего присущий нашим горцам добрый юмор, который и по сей день как-то не замечен. Хотя нельзя было не заметить юмора тех, кто, отправляя прошение к царю Ираклию, бросил своего посланца в Арагви со следующим наказом: «Доберешься до Мцхета, а от Мцхета река на равнину выходит и тебе будет поспокойнее. Сыр и хлеб у тебя с собой, в воде недостатка не будет!» Это не бесхитрость невежественного народа, как может показаться на первый взгляд, это тонкий юмор, и корни его уходят в далекое прошлое. Вот, например, что я услышал на берегах весенней, вздувшейся Арагви:

«Хвтисо попросил жену напечь каду и качапури, залил в бурдючок водки и, взвалив все это на спину, отправился к своему зятю, который жил на другом берегу Арагви. Стояла весна, и Арагви было тесно в своем русле. Пешеходный мостик над ней был мокрым и скользким. Люди толпились возле, не решаясь ступить на него. Хвтисо прошел мимо, бросил небрежное «Здравствуйте» и ступил на мостик: смотрите, мол, каким должен быть мужчина. Он дошел до середины моста, и тут то ли волна ударила в мостик, то ли что другое случилось, никто ничего не понял поначалу. Верно только то, что Хвтисо упал в воду. «Эй, люди! Человек тонет!» — в один голос закричали несколько человек, а самый мудрый из них, Абро, спокойно произнес: «Вот каду и водку действительно жаль, а человек... он что собака, как-нибудь да вылезет...»

Я вспомнил эту притчу, когда читал рассказ Г. Чохели «Тяжба из-за вороны». Сельский дьякон Бутула пришел в суд с жалобой на Хвтисавара, который якобы переманил его ворону, переманил, а теперь утверждает, что она его.

«— Что значит твою ворону? Ты что, дурачить меня вздумал?

— Все знают, что ворона была моей. Она всюду следова-

ла за мной, и на покос и на пахоту.... Она была моей, а они переманили ее...»

И идет тяжба из-за «переманенной» вороны. В итоге выигрыше остается судья. Он оштрафовывает и жалобники и село. Все свои деньги, предназначенные на богоугодные дела, дьякон Бутула потратил из-за вороны.

Судья приказал привести ворону, пригрозив в противном случае еще раз оштрафовать всех.

«— Хотя бы не жила она триста лет, можно было бы сказать, что она состарилась и умерла.

Ходят и ищут.

«А Бутуле что? Умер себе от старости».

Так заканчивает эту своеобразную эпопею Г. Чохели.

Рассказ «Исполнитель главной роли» своими внешними атрибутами перекликается с «Тяжкой из-за вороны», но психологически он более глубок. Это история о перерождении человека, о превращении его в существо, роль которого ему поручено сыграть, о постепенном вживании его в образ, обретении им нового естества.

Молодой режиссер снимает картину, в которой роль оленя поручена Адаму Нислаури по прозвищу Хечо.

«Хечо — высокий мужчина со странным и в то же время сильным характером, никогда не отступит от сказанного.

Он пятнадцать лет сидел в тюрьме. Никто не знал, за что. Сам он тоже не знал».

Рассказывают, что Хечо ходил вечно взлохмаченным. Лысый председатель колхоза с насмешкой сказал ему: «Дай мне расческу, Адам, мои волосы растрепались».

А Хечо в ответ пропел ему:

«Твоей голове так же нужен гребешок, как моей мельнице замок».

Председатель нахмурился, но ничего не сказал, а Адама вскоре арестовали.

На протяжении двух месяцев, пока снимался фильм, на плечах Хечо стояли оленьи рога — он исполнял роль оленя. Он кричал оленем, и однажды из лесу на его крик отозвался настоящий олень. И с криком «Я — олень» Хечо помчался в лес. Целый месяц он бегал по лесу, перекликался с оленьями. Много усилий потребовалось и близким, и режиссеру, чтоб вновь очеловечить Адама. Им пришлось прибегнуть к таким психологическим приемам, которые должны были потрясти душу Хечо, вернуть его к людям. Раз он, исполняя роль оленя, так вжился в роль, что сам превратился в оленя, то теперь в новой картине Хечо будет поручена роль человека. И прием этот сработал.

Годердзи Чохели родился и вырос в Гудамакари. Мальчиком он, как губка, впитывал в себя красоту окружающей природы, обычаи и традиции жителей своего края. Об этом ярко свидетельствуют два его рассказа «Моя книга» и «Селившиеся за пределами села» (к этому же циклу можно отнести и рассказ «Кровник»).

В рассказе «Селившиеся за пределами села» с большим мастерством рассказано о формировании общины и зарождении божества, которому поклонялась община, а затем об уста-

новлении границы вдоль горы и разделении общины. Отныне те, кто нарушит законы общины, будут селиться за пределами села. И вскоре там появились первые поселенцы: детоубийца, распутная красотка, Гигола, укравший сено. Выселили предавшего своего брата Кораи, не пощадили и Легу, не поберегшего общинное добро, Бобгия, поленившегося съездить в лес за дровами и срубившего фруктовые деревья, которые с любовью посадили Чохели.

Размножились живущие за пределами села и, в свою очередь, установили границу для тех, кто нарушал их законы, а те, наверное, свою, и так продолжалось бы бесконечно, если бы не наступило новое время.

Годердзи Чохели обнаруживает такое знание этнографии, которому позавидовали бы многие этнографы.

Грузинская литература богата тематикой гор. Вспомним «Хевисбери Гоча» и «Элисо» Александра Казбеги, «Змееда» и «Алуду Кетелаури» Важа Пшавела. Но горы неиссякаемы. И доказательством тому служат произведения этих молодых горцев.

Книга Шота Арабули «Перхиса» вышла в 1980 году. В ней опубликовано 12 рассказов. Из них два — «Волк и хевсур» и «Собака думает о человеке» — о взаимоотношениях человека и животных. Тематикой своей они напоминают северные рассказы Джека Лондона.

Особо следует отметить рассказ «Сельский радетель и грек», который поднимает большую проблему, пожалуй, самую болезненную на сегодня — опустения горных сел.

В рассказе «Волк и хевсур» приводится, казалось бы, простая и обычная для горных сел история — в село повардился волк, который убивает собак. Одинокий, сильный, выносливый, волк стал несчастьем для всего села. Горцы всполошились и обратились с просьбой к Чачаури, известному на селе охотнику, убить волка. Но он ничем не может им помочь, кто-то донес на него, и у него отобрали ружье. И он назло ничего не хочет делать. Но в конце концов сдается на уговоры. Однако ни одна из предпринятых им попыток успеха не имела. И тогда, по совету торговца сыром, в раймаге купили капкан и поставили его. Однажды утром исчезли и капкан, и чурбан, к которому он был прикреплен. Молодые горцы во главе с Чачаури пошли по следам волка и вскоре подошли к ущелью, на крутых склонах которого лежал подтаявший, готовый рухнуть снег. С минуты на минуту лавина могла погрести под собой все. Вскоре заметили и волка. И именно на этом, готовом рухнуть снегу Чачаури не разрешил к нему приблизиться. И действительно, вскоре прошел гул, лавина понеслась вниз, увлекая за собой волка. Началась смертельная схватка волка со стихией, впечатляюще описанная автором. Чачаури, восхищенный мужеством волка, борющегося за свою жизнь, сочувствует ему.

«На отвесном склоне лавина подмяла волка и швырнула его вниз». Ребята не то восторженно, не то изумленно загомонили.

«Сердца у вас нет, сукины дети, — закричал задыхающийся охотник. — Разве вы мужчины?!».

Настоящий мужчина всегда знает цену мужеству. Когда лавина выбросила волка к краю, кто-то приготовил дубину, но Чачаури остановил его окриком. И снова она ушла за собой волка, и у большинства мужчин, наблюдавших за этой схваткой, «на лице выразилось сожаление».

Волк погиб. Горцы похоронили его, потому что, как сказал Чачаури, «он не заслужил участи быть растерзанным волками и шакалами».

Вспомните, ведь сначала все село было готово выследить и убить волка. Но, став свидетелями его смертельной схватки со стихией, поразившись его мужеству, люди почувствовали, как в них пробуждается доброта, и не захотели оставлять волка на растерзание шакалам.

Второй рассказ «Собака думает о человеке» начинается так: «Печально закончился этот день в маленьком горном селении. Хевсуры по сей день с сожалением вспоминают случившееся». Вспоминают, как убили собаку — овчарку, оставшую от стада овец. Казалось бы, что может значить для села убийство собаки. Она искала своего хозяина и шла своей дорогой, никого не трогая, сельские же псы не давали ей покоя. Долго терпела она их назойливые наскоки, под конец, выведенная из терпения, в драке убила двух собак. И тогда ее застрелили.

На следующий день появился и хозяин собаки (ее звали Гониэри), тушинский пастух, узнав, что собаку убили, он попросил лопату, снял с седла накидку, завернул в нее Гониэри и похоронил ее. А хевсурам, стоявшим с опущенными головами, бросил следующие, запомнившиеся им слова:

«— Негоже мужчине стрелять собаку, идущую своей дорогой. Кто не пожалеет животное, тот не пожалеет и человека... Но не всякую собаку назовешь собакой, как и не всякого человека человеком.

— Чтоб никто не смел оскорбить этого человека, — приказал старец, и никто не промолвил в ответ ни слова».

Еще более ярко показаны взаимоотношения человека и животного в рассказе «Сельский радетель и грек».

Ушиша — старый охотник. Но выполнив два азара, т. е. убив 200 туров, он бросил охотиться. (По обычаю гор, убивший 100 туров, т. е. выполнивший азар, охотник зарывал свое отягченное грехами ружье на три дня в землю).

Но в горах оставался краснорогий старый тур, который не давал охотнику покоя. Сколько раз он пытался подстрелить его, но напрасно. Ушиша решил было уже, что его убили кистины, но затем узнал, что тур жив. Оставив гостей, он перекинул ружье через плечо и отправился в места, где, по его мнению, должен был находиться тур. И встретил-таки не раз стрелянного им тура. Началась смертельная игра между охотником и туром. Тур покорила охотника своей осторожностью, смелостью, и хотя он легко мог убить животное, не стал этого делать. Перекинув ружье через плечо и пробормотав: «Пойду, а то моя Бубайло заскучает», он, напевая, пустился в обратный путь.

В этом же рассказе очень остро, как мы уже говорили, поставлена и другая, весьма актуальная на сегодняшний

день, проблема опустения горных сел. Если опустеют горы, если в селах будет все меньше и меньше людей, тогда что же, в Грузии останутся одни города?! Нет, без села Грузия существовать не сможет. Прочтите хотя бы эти рассказы, вы увидите, сколько она потеряет в таком случае добра и благо-городства, издревле присущего нашему народу.

Дети Ушиши живут в городе. Получив весточку, что они едут, старик спускается вниз встречать их. Долго он ждал их, но они не приехали, и на этот раз нарушив свое слово. Обиделся Ушиша, пытался было задушить обиду в душе, но под конец не выдержал и выплеснул ее в гнев.

«— Не приехали, и пусть живут там, где они есть, — сказал он в раздражении. — Дождутся того, что в один прекрасный день придут сюда из-за гор неизвестно кто, без роду без племени, и назовутся Очаури. Поселятся тут, перепашут могилы наших предков, осквернят нашу землю, превратят все в средство наживы и насыщения своего желудка. И под конец назовут наше место собачьим и как собаки будут огрызаться на нас. А потом обявят нашу землю удельным владением своих предков еще от Адама, и возразить на это будет некому...»

Трудно сильнее выразить крик души и боль горца. И эта боль—боль каждого грузина. Невольно вспоминается мне белый стих Бесика Харанаули «На картошке».

В этом глубоко лирическом произведении очень остро поднята большая и важная проблема. Еще никем с такой сердечностью не говорилось об опустении села, о молчаливой неугасимой скорби матери, от которой ушел сын, но который еще связан с ней общей нитью, а вот внуки уже полностью оторваны от нее.

Да и помимо всего прочего, природные богатства гор требуют освоения. Эти богатства неиссякаемы и весьма значительны. Современная индустрия и экономика нашей страны много потеряют без них, развитие их может не только замедлиться, но и стать невозможным. А эти силы может привести в движение только местное население.

Все три названных мною автора — писатели разного толка, но их объединяет тематика гор и связанные с ними проблемы. Даже одного взгляда на произведения этих талантливых писателей достаточно для того, чтобы понять, насколько неисчерпаемы проблемы гор.

Манера повествования у всех авторов различна: Чохели лаконичен, пишет большей частью в стиле притч, сказаний, стиль Шота Арабули — вольный, свободный, нигде ни пенечка, о который может споткнуться читатель. Но чему я рад, так это тому, что в последнее время с гор идет талантливая молодежь.

Можно было еще много сказать об этих авторах, но с меня довольно и этого. Своей статьей я хотел только напомнить нашим критикам, чтобы они чаще и более квалифицированно рассматривали и делали предметом широкого обсуждения творчество наших молодых писателей.



საქართველოს
საქართველოს

Тедо БЕКИШВИЛИ

СЛЕЗА СЧАСТЬЯ

Солнечный, жаркий августовский день. По изборожденной оврагами Мулахской роще медленно едет «виллис», подпрыгивая на кочках и раскачиваясь, словно телега. Слева, на пологих склонах высокой горы, виднеются совсем свежие, еще не выгоревшие аккуратные стога. А над противоположной горкой тянется ярко-синее небо, и когда машина на поворотах сворачивает влево, я вижу в правом окошке чудом вырвавшиеся из цепи гор белоснежные склоны Тетнульда. Мы почти что приехали.

Над ущельем виднеется сванское селение Мулахи, дорога лежит перед ним как на ладони, и любой человек, появившийся на ней, будь то недруг или доброжелатель, тотчас оказывается в поле зрения мулахцев. Сегодня здесь ждут дорогого гостя, мужчины и женщины, стар и млад — все вышли на широкое зеленое поле в самом центре села. Реваз Маргиани сидит рядом с водителем, я не вижу его лица, но по тому, как он курит сигарету, одну за другой, причем в присутствии жены, нетрудно догадаться, что он волнуется.

Было это четыре года назад. На родине поэта, в родном селе Мулахи, праздновали его шестидесятилетие. Я не собираюсь рассказывать подробно об этой встрече, скажу только, что больше всего запомнилась мне слеза на щеке поэта, который стоял перед своими односельчанами, взволнованный и растерянный.

Трудно, вероятно, объяснить, откуда берет начало эта слеза, какие чувства обуревали тогда поэта... Но одно очевидно: истоки поэзии Реваса Маргиани — здесь, в этих горах, в этом народе, в этих удивительных песнях, которые пели не профессиональные участники хора, их пел весь народ. Реваз Маргиани слушал песни родного края жадно — так человек, измученный жаждой, глотает к чистому холодному роднику...

Сохранившиеся до наших дней бесчисленные памятники материальной культуры Сванети, самобытные песни, блестящие образцы фольклора красноречиво свидетельствуют об органичной связи Сванети с жизнью Грузии в целом. Однако были в нашей истории времена, когда в силу национальных бед Сванети оказалась настолько оторгнутой от остальной Грузии, что долго не слышался здесь знаменитый сванский гимн солнцу — Лилео.

К счастью, это было в далеком прошлом, разрушенный некогда мост единства сегодня полностью восстановлен, жизнь и творчество поэзии Реваза Маргиани не ограничивается рамками творчества одного поэта. Новые мотивы и интонации, привнести которые в грузинскую поэзию суждено было именно Ревазу Маргиани, быть может, потому так значительны и дороги, что рождают в читателе ощущение этого единства, этой взаимосвязи, этой целостности. Реваз Маргиани первый среди грузинских поэтов талантливо и естественно внес в грузинскую поэзию мелодию и колорит сванских песен, не только экзотические краски и лексические орнаменты, характерные для этого края, но и внутренне спокойное, сдержанное, укрощенное, но в то же время мощное поэтическое дыхание, которое, разумеется, выражает в основном его личностные характерные особенности, но ведь, как правило, в личности концентрируется заключенный в крови или генах дух и характер далеких предков. На мой взгляд, именно отсюда берет начало характерный уже в ранний период творчества поэта мотив неудовлетворенности. Вспомним хотя бы известное его стихотворение «Соль». Тема эта не случайна; она звучит и в новом сборнике стихов Реваза Маргиани «Риха» (Издательство «Мерани», 1980): «За какой же песней следовать мне до конца? За песней Иори? Техури? Терека? Риони? Быть может, мне лучше следовать за теми, у кого в пути мало дружков? Как же мне следовать за доблестными рыцарями, как мне похитить у них веселье? Ведь не уместить столько песен в моей крохотной сванской переметной суме?»¹.

Это не только слова, сказанные с поэтической скромностью. В них ощущается стремление поэта охватить своей песней всю Грузию, а что касается его «крохотной сванской переметной сумы», то она вмещает в себя целую антологию. Послушаем поэта: «Билеба, смеркается, смеркается у Лагами, билеба, нынче ночью спокойное небо заиндевет, билеба, билеба, стемнело, почти уже ночь настала, билеба, билеба, горы, словно прядями, покрыты снегом, билеба...»

Мягкая, музыкальная звукозапись этих строк созвучна новому для грузинского классического стиха, но довольно естественно ритмическому рисунку.

На отличной от предыдущей ритмической и интонационной структуре построено стихотворение «Риха — свет»: «Риха, издавна считали тебя светом, риха, риха, светом. Явись негасимым светом, риха, освети долины и лужайки, риха, протяни народу ветви света, риха!»

Только глубокое знание грузинской классической поэзии, органическое чувство природы грузинского слова, искусное владение им могли позволить поэту так естественно пересадить сванские песни в лоно грузинской поэзии. Это плод творческого процесса, который обогатил ее многоголосие еще одним прекрасным родным звуком.

Сборник стихов Реваза Маргиани «Риха» интересен во многом, но мне в первую очередь хочется отметить удивитель-

¹ Здесь и далее перевод подстрочный.

тально светлый, я бы сказал, юношеский настрой, непринужденное, естественное течение мысли. Поэт, умудренный годами и опытом, в недоумении: «Не знаю, что происходит, что происходит со мною, кажется, вернулся ко мне прежний задор.. Почувствовал я жажду — и зажурчал родник! Вспомнил о дожде — и дождь замочил меня! Подумал о зное — и зной опалил все окрест, возмечтал я о стихе — и бог мне напомнил его!»

Эти стилизованные поэтические строки, отмеченные самобытностью, — из открывающего сборник стихотворения «Сон — явь», следующее же стихотворение «Мои шестьдесят лет» начинается так: «Сном и явью, сном и явью были мои шестьдесят лет». От стихотворения к стихотворению раскрывается душа поэта, как лейтмотив сложной симфонии, который звучит в каждом стихотворении, по-своему ярком и своеобразном.

Поэзия не является приоритетом молодости, в этом нас убеждает новая книга поэта. Не раскрой сам писатель свой возраст, читатель наверняка не заметил бы, что автору этих юношески энергичных и пламенных строк перевалило за шестой десяток. Разумеется, книга отмечена также степенностью суждений, мудростью, обретенной жизненным опытом, и многие стихи становятся понятными именно с учетом возраста их автора. В стихах этих — частички его духовной и жизненной биографии, неотъемлемой части жизни всего нашего народа, в них проявляется общий, характерный для нашей современности настрой. Как луч в зеркале, отражаются в стихах душевные перипетии поэта, его сокровенный шепот, сдержанная радость, сыновьи думы об Отчизне, о будущем.

Новая книга Реваза Маргиани — свидетельство глубокой, органической связи поэта с гражданственными позициями грузинской поэзии в целом. «Я беседую сам с собой, разделяя судьбу стихов; я слышу множество разных песен своих предков. Что мне сказать, отличное от сказанного ими, вот в чем задача, издалека льют свет звезды, и я готов молиться...»

Из «звезд», которым поэт готов молиться, самая яркая — Илья Чавчавадзе. «Вечно и всюду...» Стихотворение это можно считать лучшим за последние годы посвящением Илье Чавчавадзе. Каждая строка его освещена светлой памятью великого предка, оно свободно от присущей стихам с посвящениями поверхностности и панегиризма, на передний план выдвинуто отношение нашего современника к вечным идеалам, завещанным Ильей своему народу и отчизне: «Не выжег каленым железом и не развеял невзгоды времени, запавшие мне в душу! Отчизна — это ты, ты — вечная Грузия, наша совесть, вера, любовь и защитник!»

К этому куплету стихов относятся и стихотворения «Картлис цховреба» на тему «Стол» и «Снова читая «Картлис цховреба». В них остро, ощутимо переживает полная борьба, крови и горести история нашей страны: «О боже мой, меч рассек ангела, на куполе затрепетало отчаяние. В выстроенных войском


строках пылает пожар, в дыму и чаду утонул белый храм.
Мне жжет руку, но я на ощупь шарю рукой по горячим
угольям, словно ребенок, выдавливаю из себя эти слова
я спасся от потопа! И копье твое застряло в пасти дракона. О,
боже мой, какая сила сберегла тебя!»

В этих искренних строках видятся картины тяжелого
прошлого нашей страны и надежда на лучшее будущее наро-
да. Нужно помнить и знать свое прошлое, чтоб прокладывать
дорогу в будущее. Сила духа грузинского народа, выкован-
ная в неисчислимых кровавых битвах и пожарищах, течет из
поколения в поколение бесконечной рекой, и возглас поэта:
«Какая сила сберегла тебя!» насыщен именно верой в силу ду-
ха народа.

Органично влетают в общую канву книги стихи о
дружбе и братстве народов. В посвящениях Ованесу Тума-
няну, Кайсыу Кулиеву, Михаилу Луконину с присущей Рева-
зу Маргиани лирической непосредственностью раскрывается
мысль о том, что грузинский народ всегда жил в мире с со-
седом и другом, что луна одинаково освещает склоны Чеге-
ма и Мулаха, и смысл жизни в том, чтоб под этим небосвод-
ом сердца людей были бы согреты светом дружбы и братства.
Это не просто стихи так называемого тематического характера,
когда обычно чувства и эмоции отходят на второй план и оста-
ется лишь голая иллюстрация темы. Это стихи, написанные
сердцем поэта — широким и открытым сердцем человеколюба.
О чем бы ни писал Реваз Маргиани, будь то строительст-
во ИнгуриГЭС или же воспоминания о грозных днях Вели-
кой Отечественной войны, стихи его дышат идущим из глу-
бины сердца лиризмом. Яркий поток чувств оживляет стихи,
начисто лишённые схематичности и ложного публицистическо-
го пафоса. Даже такое большое стихотворение, как «Если
я мечтал о чем-то, или мое воспоминание», проникнутое ду-
мой о детях, о будущем нашей страны, написано в удиви-
тельно тонкой лирической интонации, характерной вообще для
всего сборника.

Вместе с поэтом, посетившим родные места, читатель
ощущает величие и красоту гор Сванети, пронзенную молни-
ей туманную пелену на склонах Ушбы и Тетнульда, севшую
на ветку ясеня крохотную иволгу, читатель, казалось бы,
насквозь промокает под идущим в Мулахи проливным дож-
дем, вместе с поэтом ждет прихода ночи после «одного бес-
цветного дня», ибо все это знакомо нам, дорого и любимо.
Сколько бывает у нас серых, безрадостных дней, и печаль
этих дней столь же естественна, как радость от ярких свет-
лых дней в нашей жизни. Стихи эхом отзываются в сердце
читателя благодаря тому, что поэтом найдена общая для них
струна, пережитое поэтом чувство, вылившись в гармонию
слов, становится стихотворением и начинает по-настоящему
независимую жизнь.

Каждый поэт, беря в руку ручку, думает написать хорошее
стихотворение. И все-таки мало истинных поэтов и поисти-
не прекрасных стихов. Поэзия по природе своей приравнива-
ется к чуду. Одним же из непременных условий для написа-



ния подлинного стиха является, вероятно, полная самоотдача. Если поэт, не колеблясь, не принесет всю свою душу, свои силы и чувства на алтарь поэзии, стихотворение не лучится. И еще... Божество поэзии принимает жертву далеко не от каждого. Для того чтобы зазвучал этот таинственный инструмент, нужны искреннее сердце и чистые руки. Чистые руки Мастера.

Одну из особенностей нового сборника Реваза Маргиани, да и, пожалуй, всей его поэзии, я вижу в том, что поэт стоит выше повседневноности жизни, исключает из своей поэзии мелкие настроения, переживания, вызванные личными обидами. Мотивы эти, к сожалению, довольно распространены сегодня в нашей поэзии и, следует отметить, не приносят удовольствия читателям. Воинственный, гражданственный пафос поэзии проявляется прежде всего в преодолении этих мелких тем. Эпиграмма сама по себе, как жанр, разумеется, никогда не достигнет уровня лирики.

Поэзия Реваза Маргиани, как бы ни была она субъективна, всегда пытается преодолеть границы узкого субъективизма, она созвучна общим, широким мыслям и настроениям, пронизана духом нашей бурной действительности. Именно эти свойства и придают подлинное гражданственное и общественное звучание новой книге Реваза Маргиани.

И что удивительного в том, что в душе поэта не гаснет сомнение — вечный спутник, дар и мука подлинного Художника. Это — мечты о надежном попутном ветре для поэта, вышедшего в безграничное море Поэзии... Слово, которое «он тысячу раз держал в руках», вновь ускользает от него, казалось бы только для того, чтобы на завтра поэт снова жил в его поисках. «Не обижайся, если я сказал не так, как задумал, хотя и растаяло на теле моем немало рубашек, как туманов на склонах Тетнульда, не обижайся, если даже в солнечный день я не мог выкроить время для этой песни и вот уже давно не говорил тебе слов, которых ты достойна...», — читаем мы в одном из стихотворений поэта, который всю свою жизнь ищет слова, «достойного» своей отчизны, своего народа. Реваз Маргиани посвятил своему народу немало искренних, идущих от самого сердца слов, и тот поистине удивительный настрой, которым пронизана новая книга поэта, дает читателю право ждать новых приятных встреч с ним. И слова, которые хотелось бы сказать поэту при новой встрече со своим народом, со своим дорогим читателем, еще не раз выльются слезою счастья...

Мне же хочется закончить мои фрагментарные записи словами самого Реваза Маргиани: «Не обижайся, если я сказал не так...»



КНИГА, КОТОРУЮ ЖДАЛИ

МНОГОВЕКОВЫЕ традиции дружбы русского и грузинского народов проявились и в широких русско-грузинских и грузино-русских литературных взаимоотношениях. И если русско-грузинские литературные связи широко изучены, то вторая сторона вопроса — русские связи больших грузинских писателей — хотя изучалась и изучается, но нужного размаха еще не получила. Поэтому книга И. С. Богомолова «Важа Пшавела и русская действительность» («Мерани», Тб., 1980) — явление примечательное. Это первое монографическое исследование взаимоотношений великого грузинского художника слова Важа Пшавела с русской литературой, а шире — с русской действительностью.

Исследование И. Богомолова отличает ряд достоинств. Ученый собрал и систематизировал большой, разнообразный материал. В течение ряда лет он обращался ко многим архивам, собраниям сочинений грузинских и русских литераторов, мемуарной литературе, данным дореволюционной и советской прессы и т. д. Речь идет о капитальном просмотре всех возможных материалов, систематическом поис-

ке под определенным углом зрения. Конечно, постоянно будут выискиваться и вводиться в научный оборот новые факты о Важа Пшавела, но это будут уже дополнения, уточнения, которые не смогут повлиять ни на основные положения рассматриваемой книги, ни на ее концепцию. Это делает исследование И. Богомолова этапным в изучении определенной части творческого наследия В. Пшавела.

В книге, кроме вступления, шесть глав. В первой рассказывается о становлении писателя и гражданина Важа Пшавела, его отношении ко всему русскому (стр. 10 — 56).

Во второй — систематизированы высказывания грузинского писателя о представителях русской культуры, особенно о его отношении к наследию русских революционных демократов, поскольку в высказываниях о русских писателях он во многом руководствовался принципами революционно-демократической критики (стр. 57—83).

В третьей главе повествуется о русской теме в его творчестве, а шире — о творческих аналогиях с передовыми русскими литераторами (стр. 83 — 106).

В четвертой главе говорится о переводах произведений, выполненных Важа с русского языка (стр. 106—136).

В пятой главе анализируются данные о другой стороне вопроса — об отношении

к грузинскому писателю русских литераторов (стр. 137—155). И, наконец, в последней, шестой главе — об отношении к Важа Пшавела русского печатного слова (стр. 156—200).

Такая архитектоника во многом способствовала «освоению» громадного материала, его наглядной систематизации.

Большое достоинство работы И. Богомолова заключается в том, что она относится к грузино-русским взаимоотношениям. Книгу писал знаток русской литературы, который внимательно изучил грузинские материалы, касающиеся этой темы, и умело сопоставил их с русскими фактами, именами, датами. Его аналогии в большинстве своем убедительны, интересны и наводят на размышления. В работе имеются как уже известные данные, так и малоизвестные, а также новые, впервые введенные в научный оборот.

В настоящее время наступил качественно новый этап изучения национальных литератур — комплексное изучение литератур в их взаимосвязях с литературами других народов мира. Таков новый аспект, в котором рассматриваются внутренние процессы отдельных литератур, а точнее новый аспект воспитания широких народных масс.

Настало время сказать о том, что Важа Пшавела, прожив всю жизнь в горах, в условиях бедности и изолированности, оказывается, зорко следил за событиями современности, знакомился с образцами русской и мировой литературы. Об этом уже го-

ворили исследователи (М. Зандукели, Г. Кикнадзе и др.), которые указывали отдельные точки соприкосновения грузинского поэта с русской действительностью. Однако они касались этих проблем в связи с другими темами биографии и творчества Важа. Рецензируемая же работа — первая попытка создания монографии о русских связях Важа Пшавела. В ней грузинский ученый определяет значение грузино-русских литературных взаимосвязей для творчества самого писателя, а с другой стороны — говорит о роли этих взаимосвязей в развитии грузинской литературы того времени. Так он вносит свою лепту в развешивание мифа о «некоей духовной изоляции» Важа Пшавела от внешних влияний, литературы, действительности.

Книга И. Богомолова убеждает, что Важа Пшавела был на уровне своего времени, прекрасно знал литературу (Шекспира, Сервантеса, Гете, русских писателей), активно реагировал на общественные явления времени.

Книга прекрасно написана, легка для понимания, снабжена научно-справочным аппаратом. Следуют постоянные сноски, ссылки на прессу, мемуары, исследования, статьи. По книге легко установить все, что написано Важа Пшавела и о нем. Автор учитывает работы предшественников, постоянно говорит об их вкладе в исследование интересующего его вопроса. Все это делает работу значительным явлением и в смысле библиографическом.

К сожалению, книга не свободна от некоторых шероховатостей. Часто недостатки являются продолжением достоинств. Автор стремился охватить все аспекты темы, очертить контуры проблем, назвать все фамилии (это похвально тем более, что последняя глава может рассматриваться как заявка на будущее), но сейчас некоторые места выглядят несколько перечислительно и выпадают из исследовательского контекста.

Кроме того, в работе нет оглавления, главы не имеют заглавий, отсутствуют заключения по теме. Отдельно рассказывается о биографии писателя (стр. 10—15). Этот материал следовало растворить во второй подглаве, в

которой обрисовано становление Важа Пшавела — поэта и гражданина.

В главном же работа И. Богомолова «Важа Пшавела и русская действительность» — это первая книга, в которой собран и систематизирован основной материал общественно-литературных взаимоотношений с Россией великого Важа Пшавела — гордости грузинского народа, чье творчество составило славную страницу истории грузинской литературы. Это одна из первых работ типа «Грузинский писатель и русская действительность», которых значительно меньше, чем работ типа «Пушкин и Грузия».

Дмитрий ТУХАРЕЛИ

ЗАКОНЫ ВАХТАНГА VI В НОВОМ ПЕРЕВОДЕ

Государство и право зародились у грузинских племен еще в середине первого тысячелетия до н. э. Правовые памятники, составленные на грузинском языке в дофеодальную и раннефеодальную эпохи, до нас не дошли. Из дошедших до нас памятников

самыми важными являются: Судебник Баграта Куропалата (XI в.), Малый Номоканон, Великий Номоканон, Постановления Руисско-Урбнисского Собора (XII в.), Судебник Бека и Агбуга (XIV в.), Судебник Георгия Блистательного (XIV в.), Законы католикосовы и др. Особо важное место среди памятников грузинского права принадлежит судебнику царя Вахтанга VI, составленному в начале XVIII в. По распоряжению последнего был составлен т. н. корпус (сборник) законов царя Вахтанга VI, который кроме судебного самого царя Вахтанга содержит: 1) еврейские законы (законы Моисея), 2) греческие (византийские) законы, 3) армян-

¹ Законы Вахтанга VI. Перевод, введение, примечания, глоссарий и указатели Д. Л. Пурцеладзе, Тбилиси, «Мецниереба», 1980.

ские и сирийско-римские законы, 4) Судебник грузинского царя Георгия Блистательного, 5) законы Бека и Агбуга и 6) католикосовы законы.

Критическое изучение и русский перевод грузинских судебных кодексов XI—XVIII вв., начатые еще старшим поколением дореволюции о н н ы х ученых, с успехом продолжают в советское время. Перефразируя слова акад. В. В. Бартольда, можно сказать, что в области востоковедения далеко еще не выполнена первоначальная задача каждой отрасли филологической и исторической науки — сделать доступным для исследователей путем печатных изданий и переводов основные правовые памятники и исторические источники. «Законы царевича Вахтанга» или «Законы Вахтанга VI», как обычно именуется этот юридический памятник, — важная веха в истории грузинского национального законодательства. Они явились первым и последним крупным нормативным актом общего значения в позднефеодальной Грузии.

Составление «Законов Вахтанга VI» было задумано и осуществлено в связи с необходимостью привести действующее право в соответствие с изменениями в хозяйственной и социально-политической жизни грузинского общества, когда к концу XVII — началу XVIII вв. перед страной открылась перспектива возрождения. Реализация этого замысла привела к созданию, в согласии со стародавней традицией, целого законодательного корпуса, охватившего наряду с пред-

шествовавшими отечественными судебниками и библейские, византийские, армянские юридические памятники. В результате критического отбора и творческой переработки этого обширнейшего материала специальной законодательной комиссией, деятельность которой протекала под руководством и при непосредственном участии самого Вахтанга, тогда еще царевича, заключительная часть корпуса, отражая правосознание тогдашнего феодального общества, составила новый кодекс современного грузинского права.

Вахтангов законодательный корпус, особенно же его собственный кодекс — важный источник истории грузинского права и истории Грузии в целом. Он представляет большой интерес для общей истории права и сравнительно-исторического правоведения. В свое время И. П. Петрушевский отмечал, что в мусульманских провинциях Закавказья фактически существовавшие феодальные отношения не нашли достаточного отражения в мусульманском праве. Здесь феодальные отношения существовали как своего рода местные обычаи. Феодальные отношения в мусульманских ханствах, писал И. П. Петрушевский, отличаются от грузинского крепостничества тем, что они не нашли того отражения в законодательствах, какое получили последние. Поэтому неудивителен вывод автора, что по сравнению с грузинским феодальным правом мусульманское право оказалось гораздо более консервативным и косным, менее гибким и ме-

нее способным в полной мере отразить существовавшие в жизни действительные отношения. Это обстоятельство, конечно, усиливает интерес к памятникам грузинского права.

Законы Вахтанга VI, отобразив с надлежащей полнотой общественную, политическую и хозяйственную жизнь грузинского народа начала XVIII века, служат ярким памятником правосознания и чаяний передовой части феодального класса, продиктованных тогдашними обстоятельствами и, в известной мере, требованиями прогресса и праворазвития.

Нынешнее издание «Законов Вахтанга VI» вышло спустя полтора столетия после выполнения и напечатания (для служебного пользования) первого их русского перевода и почти целое столетие спустя после его открытого издания (1887). В отличие от старого свободного, подчас ошибочного перевода, пользующегося устаревшей русской терминологией, носящего отпечаток тогдашнего официального юридического мышления, новый перевод выполнен с необходимым соблюдением особенностей оригинала, возможно точной передачей его текста, сущности регулируемых правоотношений и смысла их регламентации.

В некоторых случаях настоящие русское издание точнее иных грузинских публикаций и в целом способствует лучшему пониманию текста памятника.

Перевод снабжен обширным научным аппаратом. Наряду с построчными примечаниями и, в известной мере,

комментариями издание содержит указатели, в том числе подробнейший предметный и вместе с тем систематический указатель, а также, что очень важно, глоссарий оригинальных грузинских терминов. Среди приложений, имеющих целью показать систему Вахтангова права, выделяется принадлежащее самому издателю «Содержание «Законов царевича Вахтанга», дающее полное представление о построении кодекса и его слоях.

Читателю предлагается не только новый точный перевод, но наряду с ним, в ряде случаев, новая, обоснованная привлечением историко-правового и документально-материала, трактовка предметов и сущности регламентации.

Вахтангов кодекс представит во всем своем важном историко-культурном значении.

Во вступительной статье в общих чертах прослеживается путь развития грузинского права, приведший к созданию Вахтанговых законов; представлена история их перевода и публикации; охарактеризованы его рукописи, сохранившиеся в количестве более ста списков, представлены имеющиеся материалы по их типизации, значение важнейших из них.

Новый русский перевод судебного царя Вахтанга VI выполнен по двум грузинским изданиям последних лет: 1955 года, отдельному, под редакцией Т. Энукидзе, и 1963 года, в составе всего корпуса, под редакцией И. Долидзе.

«Оба издания, — отмечает Д. Л. Пурцеладзе, — производят, можно сказать,



аутентичный текст памятника и поэтому обращаться непосредственно к самим рукописям приходилось не так уж часто. Мы прибегали к ним главным образом для сверки вызвавших сомнение различий и для сличения всего или части текста статей, подлинный смысл которых затемнен неудачной редакцией» (с. 31).

Д. Пурцеладзе обращает внимание читателей на то обстоятельство, что, по дошедшим до нас сведениям, в списке царевича Фарнаоза после 267 ст. судебного чтения следующая форма присяги евреев. Еврей присягает так: «Анухи Адона Ело аше-ра осетса мерес мисрами» — повелеваю Адонай, Бог твой и Бог отца твоего, изведший тебя из земли Египетской. Сему я верю истинно и потому присягаю на св. Библии. Так заставляйте присягать евреев, ибо в этом состоит правильная присяга их». Д. Пурцеладзе пока не удалось установить, какая именно из известных ныне рукописей есть «список царевича Фарнаоза», но ему удалось обнаружить, что Фарнаозов список не единственный, уделяющий внимание еврейской присяге; сведения о ней содержат и некоторые другие списки. Так, в одной рукописи после 270-й статьи имеется приписка, сообщающая и об обрядовой стороне: перед Библией зажигались четыре восковых свечи; еврей, приносящий присягу, задувал три свечи, одну за другой, именем Авраама, Исаака и Якова, посылая погибеть присягающему и прикасающемуся рукой к Библии ложно;

перед четвертой, горюющей свечой он, положив одну руку на Библию и воздев другую, произносил присягу во имя господина Адоная, по повелению которого Моисей переревел израильтян через Чермное море, присовокупляя: да взыщется с него и потомков его, если неправда то, в чем он клянется (с. 57).

Важное значение имеет и указание Д. Пурцеладзе в примечании к тексту, что присяге мусульманина на Коране должно было предшествовать омовение; и таких примеров можно привести множество.

Вместе с тем переводчик проявляет некоторую нерешительность в применении удачных переводов ряда специальных грузинских терминов. Такие, например, как: ет аше-, млаше- и среднебратское, или раздельительное («саупросо», «саумцросо», «сашуа.†»), «гасамкрело»), или единодомец («сахлискаци, чужечадец («схвисхвили») и др. В соответствующих пояснениях в глоссарии они предлагаются как возможные термины.

Профессору Д. Л. Пурцеладзе пришлось проделывать большую и кропотливую работу. По полноте и широте охвата историко-юридических материалов и по ценности перевода рецензируемое издание знаменует качественно новый этап в изучении судебного Вахтанга VI. Это значительное и оригинальное произведение современного востоковедения и грузиноведения.

**Георгий НАДАРЕИШВИЛИ,
Отар КАЦИТАДЗЕ**

„ДВОРЕЦ ПОСЕЙДОНА“ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

По инициативе Общества польско-советской дружбы, журнала «Пииязьнь» и ряда других организаций в Польше основан Клуб советской книги «Калина красная». Его задачей является популяризация современной советской прозы и поэзии среди самых широких кругов польских читателей. Члены клуба пополнили свои библиотеки произведениями Алиева, Астафьева, Быкова, Гуля, Евтушенко, Маяковского, Рытхэу, Трифонова и других. Грузинская литература представлена сборником прозы Т. Чиладзе «Дворец Посейдона», вышедшим в издательстве «Ксённяжка и ведза» («Книга и знание»).

В краткой аннотации к книге говорится: «...Автор поднимает современные и в то же время вечные проблемы. Его герои, представители грузинской интеллигенции, люди в силу каких-то причин неприспособленные, внутренне несобранные, полные противоречий и заторможенности, ищут способа существования в мире, не подверженном историческим катаклизмам, но и не свободном от страданий, сознания собственного или чужого ничтожества, неисполненных желаний, неудовлетворенности, непрочности и неуловимости счастья в отношениях между людьми».

Еженедельник «Пииязьнь» («Дружба») откликнулся на выход книги обширной рецензией Майи Порайской, в которой говорится:

«На протяжении многих веков в грузинской литературе царствовала поэзия. Проза интересовала творцов меньше и в целом не поднималась до уровня поэтических произведений. Подобная ситуация была характерна для грузинской литературы практически по сегодняшний день. Лишь в последние годы в грузинской критике заговорили о выдвигании прозы на первый план, причем процесс этот еще не завершен.

Больше всех имеет что сказать поколение сорокалетних. Писатели Нодар Думбадзе, Арчил Сулакаури, Тамаз Чиладзе ищут темы уже не в истории (долгое время доминировала именно историческая тематика), а в современном мире, в конфликтах сегодняшнего дня.

Я думаю, с тем большим интересом стоит присмотреться к этой прозе. Издательство «Ксённяжка и ведза» подготовило том, в который вошли новейшие произведения Тамаза Чиладзе, в том числе высоко оцененная советской критикой повесть «Прошла зима».

«Дворец Посейдона», «Жильцы», «Прошла зима» являются произведениями, весьма характерными для Тамаза Чиладзе. Их герой — чаще всего человек неприспособленный к жизни, психически неуравновешенный. Он чрезмерно впечатлителен, беспомощен, с трудом налаживает повседневные контакты, подчиняется профессиональной или семейной дисциплине. Психологическая сторона стага, пожалуй, наиболее сильным козырем автора, который, естественно, вовсе не намеревается давать рецепты, как жить, а наоборот — хочет трактовать каждого человека индивидуально. Можно задуматься, не подбирает ли Чиладзе слишком «клинически» очевидные случаи: Гига, Иона, Заза — люди, на первый взгляд, преуспевающие, а потому, должно быть, счастливые, они не умеют найти себе места в жизни, полны внутренних противоречий и недовольны собой. Однако это несомненное сгущение красок служит основному, исповедуемому писателем принципу — люди в обществе не могут жить разъединенно, нужно им разъяснить, что каждый человек является индивидуальностью, переживает внутренние кризисы, полон противоречий, зачастую нуждается в помощи. И редко получает ее от окружения.

Чиладзе — писатель с большим опытом, его книги всегда встречают очень живой отклик читателя, вызывают дискуссии. Они завоевали ему популярность во всем Советском Союзе.

Для нас эти произведения будут иметь еще одну ценность. Они являются прекрасной картиной грузинского быта, постоянно поражающего своим отличием. Несмотря на весьма принципиальные преобразования, какие произошли в жизни этого народа на протяжении последних десятилетий, реликты традиций — например, принципы общественной или семейной жизни — сохранили свою силу.

«Дворец Посейдона» — вторая встреча грузинского писателя с польским читателем. Первым был переведен на польский язык рассказ Тамаза Чиладзе «Журавль» в сборнике рассказов «Ночной петух» (1970).

А. ГЕРШТЕНБЛИТ



Шота ДЗИДЗИГУРИ,
Юрий ЗЫЦАРЬ

БИЛЬБАО—ТБИЛИСИ

НОВЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ БАСКСКО-ГРУЗИНСКОЙ ДРУЖБЫ

25 — 30 августа прошлого года в Испании близ Бильбао проходил Международный симпозиум лингвистов, исследующих баскский язык, явившийся первым в истории науки международным форумом такого рода.

Вообще говоря, конгрессы или съезды баскологов бывали и раньше, и на одном из них (в 1918 году в Оньяте) присутствовал даже испанский король Альфонс XII, сказавший тогда, между прочим, следующие замечательные слова: «У вас, басков, нет более высокой и священной миссии, чем сохранение и передача последующим поколениям живого сокровища вашего языка». Все пять прежних таких конгрессов были, однако, встречами лишь самих баскских ученых — хотя и с приглашением иногда некоторых иностранных специалистов (главным образом французов и испанцев). Нынешний же симпозиум в отличие от предыдущих является прежде всего именно международным, хотя, разумеется, и включающим большое число самих басков; на него съехалось несколько десятков ученых разных национальностей и стран, в том числе Испании, Франции, США, Японии, ФРГ, Великобритании, Польши, Швеции, Австрии, Канады и т. д. Наша страна была представлена на этом симпозиуме делегацией, состоящей из четырех человек: авторов настоящей корреспонденции и сотрудников Академии наук Грузинской ССР Н. Стурúa и С. Габуния.

Такой состав и самый факт проведения симпозиума свидетельствуют прежде всего, конечно, о международном росте баскологической науки и превращении ее в самостоятельную отрасль мировой лингвистики. Еще более важно, однако, что данный симпозиум был не только первым действительно международным, но также — как это особо отмечено в докладе на симпозиуме Ш. Дзидзигури — и первым симпозиумом, протекающим в такой обстановке, в таких условиях, когда у баско-

логов есть основания надеяться, что сам баскский язык будет жить. А такая надежда не может не радовать сердце каждого басколога, не заставляя его горячо заботиться, потому что «баскский язык является единственным живым ключом к самым корням, к местным истокам западноевропейской цивилизации и составляет гордость ее как феномен культуры»*.

Организатором указанного симпозиума явилась Королевская Академия баскского языка (Бильбао), основанная еще в начале нашего века. Большое внимание симпозиуму оказало также правительство новой автономной Страны Басков, которое и непосредственно присутствовало на симпозиуме в лице его председателя и одного из министров, выступивших с обращениями к членам симпозиума на первом (пленарном) заседании.

Симпозиум был открыт этим заседанием в знаменитой Гернике (близ Бильбао) в том самом помещении Бискайского самоуправления, на той самой площади и перед тем самым дубом, на которые когда-то были сброшены бомбы, положившие начало всем преступлениям фашизма перед человечеством и всему его варварству в Европе. Этими бомбами, обрушенными на чисто символический очаг независимости, древнейший административно-культурный и исторический центр западных басков (г. Гернику), международный фашизм заявлял тогда не только о своем намерении уничтожить саму баскскую национальность, оказавшую ему непреклонное сопротивление во время обороны Бильбао, но и стереть с лица земли любые негодные народы и национальности — стереть физически, не говоря уже о всем бесценном наследии их этнической психологии и их культуры. И как бы в ответ на это, будто реакция протестующей памяти, открытие описываемого симпозиума в Гернике символизировало обратное: конечное торжество сил демократии и, в частности, демократии баскской, над мракобесием, неистребимую волю этого народа к жизни.

Начиная с Герники, на баскский народ сбрасывались, впрочем, и не только бомбы, с ним и вообще сводился особый счет — черный даже на фоне тех «долгих лет ночи» (как называют сейчас этот период испанцы), в которую во время франкизма была погружена вся Испания: многие у нас, вероятно, помнят, например, о том, что за одну лишь речь на баскском языке в общественных местах в определенный период грозило тюремное заключение и что дело доходило даже до стирания баскских надписей на могильных плитах.

* Ю. В. Зыцарь. Введение в баскскую современность (о состоянии языка и культуры) — Литературная Грузия, 1980 г., № 2, стр. 194. В иной формулировке (принадлежащей одному американскому ценителю) баскский язык остается «единственным средством к тому, чтобы надежно установить, какими были самые старые слова Европы», а по оценке норвежского ученого Х. Вугта, «если бы баскский язык исчез, то будущие поколения оказались бы лишенными сокровища, содержащего ключ ко многим тайнам самого отдаленного прошлого». О значении баскского языка см. более подробно также только что указанную работу.

Несмотря на все это, баскское движение в защиту своего языка и культуры не было сломлено и вышло в конечном счете на простор, сделав своим символическим центром как раз ту же возрожденную Гернику, в которой в один из дней года (называемый «День родины») проводились и проводятся грандиозные национально-патриотические манифестации. Это движение на западе всей баскской области сейчас достигло, как известно, успеха и в смысле обеспечения западобаскской области собственной государственностью, по существу первой за всю многотысячелетнюю историю баскского народа.* И все это тоже знаменовалось открытием симпозиума именно в Гернике, т. к. дань научного изучения, воздаваемая в мире баскскому языку, тесно связывается в представлении самих басков с судьбами этого языка и самого их народа**.

Наш читатель, разумеется, знает и помнит также о том, что гильбер Герники была в свое время увековечена в прославленной картине Пабло Пикассо «Герника», которая после смерти этого знаменитого художника хранилась в США и по его завещанию должна быть возвращена в Испанию (после восстановления в этой стране демократии). О возвращении сейчас этой картины в Испанию все время говорится по радио и телевидению, в частности нашему Центральному, и если бы к моменту открытия описываемого симпозиума эта картина тоже оказалась в Гернике, то понятно, что для полноты впечатления и полной завершенности торжества лучшего просто незачем было бы и желать. В августе этой картины ни в Мадриде, ни в Бильбао, однако, еще не было, а после нашего возвращения из Испании сообщения о ее возвращении продолжались.

В сравнительно небольшом, имеющем форму амфитеатра, зале Бискайского самоуправления симпозиум начался с официального взаимознакомства: представитель академии вызывал по списку всех членов одного за другим и представлял каждого всем остальным. В числе первых были представлены такие лингвисты с мировым именем, как Андре Мартине

* Испанской республикой баскам в свое время тоже была предоставлена автономия, и во время гражданской войны первое баскское автономное государство и правительство существовали несколько месяцев. Оно-то и организовало в то время оборону Бильбао против войск фашистской колонны генерала Мола.

** В этой связи член Академии баскского языка Шабьер Кинтана во время первого пребывания у нас в Тбилиси, между прочим, подчеркивал, что «история баскского национального движения сложилась так, что своего первого, да и единственного по существу союзника за рубежом баски в ходе этого движения привыкли видеть только в тех выдающихся иностранных филологах и лингвистах (Л. Л. Бонапарт, В. Гумбольдт, Г. Шухардт и др.), которые так или иначе обращались к баскскому языку» (публичная лекция от 20/VI 1978/). Как именно своего союзника все баскское общество и принимало сейчас иностранных баскологов, прибывших на симпозиум в Бильбао.

(Франция), Антонио Тобар (Испания) и Луис (Кольдо) Мичелена — признанный ведущий лингвист самой Страны Басков, заведующий кафедрами Мадридского и нового Бильбаоского государственных университетов.

С особой теплотой был встречен также руководитель нашей делегации Шота Дзидзигури.

Со вступительным словом к собравшимся обратился затем президент Академии баскского языка Л. Вильясанте; в дальнейшем выступления ораторов на этом заседании чередовались с выступлениями занимавшего одну из трибун прекрасного национального хора, вероятно, лучшего из многочисленных самодеятельных хоровых коллективов современной Эускади (Басконии).

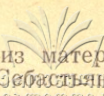
Завершением этого большого дня явились посещение палеолитической пещеры Сантимаминье недалеко от Герники и обед в обширной таверне с крестьянским сидром (сагардо), в который, кроме редкостной рыбы, входило, между прочим, блюдо, сильно напоминающее лобио.

Как стало ясно уже во время взаимного знакомства, наиболее многочисленная делегация прибыла из США (7 человек во главе с профессором баскологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Т. Уильбуром, а также Джоном Бильбао из штата Невада, автором известного многотомника полной баскской библиографии, включающей более миллиона комментированных единиц). Такого преобладания, правда, следовало и ожидать, поскольку в США сейчас баскский язык изучается в 6 университетах и двух специально посвященных ему НИИ. Страна традиционно развитой баскологии Франция была представлена делегацией из 6 членов, включая нового друга нашей страны профессора Тулузского университета и члена Академии баскского языка Жака Альера. Далее по числу участников шли мы, СССР, затем Япония и др.

С наиболее интересными докладами по анализу структуры баскского языка в последующие дни симпозиума выступили уже перечисленные выше Мартине, Тобар, Мичелена, а также Гунтер Бреттшнейдер из Кельнского университета, блестящий молодой лингвист, свободно владеющий баскским и многими другими языками и, между прочим, принявший наше приглашение приехать в Тбилиси. Здесь же надо сказать, что очень быстро, в самом начале работы симпозиума, мы познакомились и с Антонио Тобаром, крупнейшим лингвистом Испании, бывшим ректором Мадридского университета, который был очень обрадован подарком нашей Нателы Стуруа, переведшей одну из его книг на грузинский язык (издание А. Тобар, «Васкури зна». Перевод Н. Стуруа, под редакцией А. Чикобава, Тбилиси, 1980).

Стоит, пожалуй, специально упомянуть о том, что из трех делегатов от Японии (все из Токио) японка Сузуко Тамура сумела добиться особой популярности благодаря своему практическому владению баскским языком, а Тадао Шимомия поразил нас отлично изданными и составленными на японском языке грамматиками грузинского и баскского языков.

Но самым крупным, пожалуй, событием или неожиданным



ностью симпозиума, как это видно, в частности, и из материалов, публиковавшихся в прессе Бильбао и Сан-Себастьяна, был дискуссионный успех гипотезы баскско-кавказского языкового родства, развивавшейся в докладе Я. Брауна и др. (см. ниже), а также параллельное «мирное наступление» нашей советской делегации по той же линии и по линии укрепления дружбы грузинского (вообще кавказских) и баскского народов.

Как известно, баскско-картвельское (и вообще баскско-кавказское) языковое родство, несмотря на свое развитие в XX веке (усилиями К. К. Уленбека, Р. Лафона и др.), остается до сих пор гипотезой, имеющей не только сторонников, но и многочисленных убежденных противников, выдвигающих против данной гипотезы тот основной довод, что из сравнений баскского языка с картвельскими до сих пор не выведены так называемые звуковые соответствия.

Профессор Варшавского университета (прошедший в свое время школу А. Г. Шанидзе в Тбилиси) Ян Браун вслед за покойным Р. Лафоном давно уже занимается, однако, проблемой выведения таких именно соответствий, и вот теперь, на описываемом симпозиуме, Я. Браун выступил со своего рода итогом этой работы, представив в своем докладе обширный, интересный и доказательный материал.

Со своей стороны, с интересными сравнениями баскского языка с картвельскими выступил на симпозиуме и Шабьер Кинтана, который два года назад, пройдя у нас в Тбилиси, по его выражению, «школу дружбы», поразительно вырос за эти два года как в теории, так и в практике грузинского языка, став своего рода нашим полпредом у себя в Басконии*.

В дискуссии, развернувшейся затем вокруг двух этих докладов, они были очень высоко оценены Луисом Мичелена, который в то же время занял, однако, несколько выжидательную позицию, отметив, что он бы «очень хотел, чтобы благодаря этим докладам баскско-картвельское родство получило в мировой лингвистике если не окончательное, то, так сказать, новое, дополнительное признание».

Иной, более решительный, итог работам Я. Брауна и Ш. Кинтана (а также своим опубликованным ранее попыткам вывести баскско-картвельские звуковые соответствия) попытался в той же дискуссии подвести Ю. В. Зыцарь.

«После работы, проделанной и сообщенной в своем докладе Я. Брауном (а также новых сравнений Ш. Кинтана и др.), — отметил Ю. В. Зыцарь, — уже нельзя сказать, что в баскско-картвельской сравнительной лингвистике нет регулярных звукосоответствий, а одновременно с этим отпадает и одно из основных возражений против гипотезы баскско-картвельского языка».

* Я уже не говорю здесь о том, что за эти же два года Ш. Кинтана издал свои опыты по переводу на баскский язык Ш. Руставели, перевел и опубликовал на том же языке «Манифест коммунистической партии», выпустил книгу «Международные рассказы» с отражением, в частности, своего пребывания в Грузии и т. д. Сейчас он вновь находится в Тбилиси — со вторым визитом.

вого родства, которая все более предстает поэтому как складывающаяся теория».

«Вместе с тем, — утверждалось далее в том же выступлении, — в этой работе Я. Брауна представляется наиболее ценным скорее доказательство самой конкретной возможности (принципиальной) установить между баскским и картвельскими языками регулярные звукосоотношения. Главной же задачей остается углубление в сами сравнения данных языков, из которых можно будет вывести впоследствии и разного рода более глубокие закономерные соотношения».

Подтвержденные на примерах в конкретной (так сказать, с мелом в руках) полемике, эти положения в дальнейшей дискуссии оказались в конечном счете молчаливо принятыми, причем сложилось такое общее впечатление, что в указанных докладах и последующих выступлениях у многих членов симпозиума, включая всю баскскую делегацию, впервые был сломан лед недоверия к самой идее баскско-кавказского языкового родства.

В этой связи вновь весьма показательна позиция как раз Л. Мичелены. Как известно, этот ученый всегда довольно прохладно относился к данной идее, не забывая особенно подчеркнуть свое незнание языков Кавказа (и это несмотря на то, что по кавказским языкам им изучены десятки книг, и он свободно читает по-русски и по-грузински). Конкретно эта позиция обычно формулировалась им так: если данное родство действительно существует и если оно достаточно элементарно, то сейчас (в наше время) оно все равно «невскрывается». Эту свою позицию Л. Мичелена шуточно акцентировал и при первой личной встрече с нами на симпозиуме, когда, обращаясь к Ш. Дзидзигури, как баск к грузину, он сказал (по-испански):

— Ну, вот мы встретились. Мы родственники? На каком же языке будем мы говорить?*

Далее в ходе дискуссии по докладу Я. Брауна профессор Л. Мичелена, как мы уже знаем, выразил страстное желание, чтобы усилия Я. Брауна оправдались и получили международное признание.

— Тогда, — сказал он, — и я как специалист по языковым сравнениям перестал бы быть полубезработным, ибо сейчас я провожу сравнения только внутри самого баскского языка, а разве это не безработица, подобная той, которая все более захлестывает сейчас наш западный мир? Но чем сильнее я желаю успеха работе Я. Брауна, Ю. Зыцаря, Ш. Кинтана, тем более одолевают меня всякого рода сомнения.

* Даже при минимально допустимой «глубине залегания» баскско-картвельского родства оно все равно не могло бы обеспечить прямого общения баска с грузином (подобно тому, как, например, родство болгарского и русского языков обеспечивает общение их носителей, и Л. Мичелена это, конечно, знает (в отличие от непонимающих этого некоторых журналистов и даже писателей). Однако, поскольку он именно шутил, он сделал вид, что этого не знает или забыл об этом.

В последующей полемике с Ю. В. Зыцарем (особенно) и Я. Брауном лед этих сомнений был, однако, если не сломан, то, во всяком случае, «подтоплен», как это видно, в частности, из намерения Л. Мичелены принять наше приглашение посетить Тбилиси, к которому у него пробудился явный деловой интерес (туристских же интересов у этого ученого вообще нет).

Во время, как Браун, Кинтана, Зыцарь вели свое «мирное наступление» по линии теории, Ш. Дзидзигури выступил с докладом о **жизненной актуальности** (если можно так выразиться) тех же баскско-картвельских связей. Официально его доклад носил название «Настоящее и будущее баскологии в Грузии», но по всему своему пафосу он выходил далеко за пределы этой темы, касаясь, в частности, той же теории баскско-картвельского языкового родства, традиционного взаимного интереса грузинов и басков, значения текущего симпозиума для изучения этого родства (как, конечно, и для изучения самого баскского языка), а также того всеобщего энтузиазма, с которым воспринимается в современной Грузии все, что касается Страны Басков*. Кроме того, в том же докладе содержалось и приветствие от всей Грузии баскскому народу, а также приветствие, адресованное Академии баскского языка академиком А. С. Чикобава и руководимым им Оргкомитетом по координации изучения иберийско-кавказских языков.

Зачитанный в переводе на испанский язык, этот доклад был встречен с особым интересом. И сразу же на нас буквально посыпались запросы о возможности приезда в Грузию, исходившие, в частности, от таких представительных для новой Басконии лиц, как, например, Э. Кнорр — глава комиссии по развитию национальной культуры Алавы или Х. Л. Лисундия — зам. секретаря Оргкомитета симпозиума, сотрудник Академии баскского языка и др. Текст доклада Ш. Дзидзигури был широко воспроизведен в бильбаоской газете «Дейя» от 30/VIII 1980 (с заголовком «Мы считаем этот симпозиум поворотным для развития баскологии») и прокомментирован в ряде других баскских газет (как мы надеемся, он будет напечатан и в тбилисской прессе). Независимо от этого ряд баскских газет также уделил место и для интервью своих корреспондентов с Ш. Дзидзигури и Ю. В. Зыцарем в разные дни симпозиума. Например, газета «Эль Коррео Эспаньоль (Эль Пуэбло Баско)» от 30/VIII 1980 посвятила (по ее выражению) «двум грузинам Шота и Зыцарю» одну из своих страниц под названием «Советская революция была решающей для развития языков».

Поскольку речь тут вообще зашла о газетах, следует отметить и то, что в общем, несмотря на отдельные неточности, баскская пресса очень хорошо справилась с задачей освещения хода симпозиума, а уж о ее оперативности

* В этой связи Ш. Дзидзигури говорил, в частности, и о фильме покойного Георгия Асатиани, и о намерении Резо Чхеидзе организовать новую киноэкспедицию в Эускади.

(благодаря которой интервью нынешнего вечера утром уже можно было прочесть в газете) незачем и говорить. И все же работа и баскской прессы была не всегда ровной — ли обычной для западного мира погони за сенсацией, или особенностей «объективности» того или иного отдельного журналиста, или же — прямо скажем — просто потому, что кому-то не импонировала растущая популярность (все более отражаемая в прессе) советской делегации на симпозиуме.

Кстати, в силу, видимо, той же популярности к нам попытались апеллировать и некоторые ретроградные по своим устремлениям (хотя и тоже национальные) круги баскского общества, которые противятся, в частности, всей работе Академии баскского языка по языковой унификации страны (а без такой унификации ни один язык, в том числе, конечно, и баскский, немислим как инструмент высокой современной культуры). С такими апелляциями Ш. Дзидзигури и Я. Брану были направлены письма, в которых их пытались убедить в том, что работа академии по унификации баскского языка представляет опасность для его будущего. Эти письма, естественно, были переданы в Оргкомитет симпозиума.

Уже из данного факта видно, что при всей массовости национального движения в современной Эускади здесь все же нет единства в выборе конкретных путей дальнейшего развития языка и культуры, как нет его и в других не менее важных отношениях (вообще о противоречиях в баскском обществе см. также ниже).

Тем поразительнее выглядит, на наш взгляд, все то, что уже достигнуто баскской национальностью в области восстановления и развития своего языка в эти последние годы. Уже в приветственном обращении председателя и одного из министров правительства Автономной Страны Басков к участникам симпозиума в этой связи, т. е. в связи с процессом языкового возрождения, имеющим место в современной Баскнии, было употреблено слово «чудо» (или «баскское чудо»), которое все более употребляют и некоторые иностранцы, приезжающие в страну. Еще до этой речи председателя мы собственными глазами могли убедиться в том, что вузовская интеллигенция в Бильбао постоянно и свободно пользуется родным языком, прибегая к испанскому или французскому только в общении с иностранцами, и это уже никак нельзя было согласовать с той язвительной шуткой, что, дескать, о своем языке баски спорят сегодня на любых языках, кроме самого баскского. Однако одно дело — речь вузовской интеллигенции, и совсем, конечно, другое дело — ощущение какого-либо языкового «чуда».

Но вот мы увидели и услышали баскских детей. Сначала на улицах Бильбао, затем в домах у некоторых наших друзей, на хуторах и т. д., причем первые дети, которых мы увидели и услышали, были очень маленькие: 5-6 лет. И эти дети плохо понимали иногда по-испански, но свободно лепетали на языке своих баскских предков! И вот это уже было, действительно, чудо. Оно, это чудо, бегало, прыгало, размахивало перед нами ручонками, трогательно лепетало во всей

своей непосредственности и естественности, и сомневаться в нем было невозможно. Но в то же время мы знали — в этом тоже не приходится сомневаться — что большинство родителей этих детей в своем собственном недавнем прошлом совсем не владели своим родным языком (хотя бы в такой же степени, как их дети сейчас), и, следовательно, перед нами было действительно (хотя бы и на своем начальном этапе) языковое возрождение.

Когда мы вспоминаем одного такого ребенка (причем, за эти воспоминания мы отвечаем читателю честным словом, подчеркивая даже, что это слово ученых, а не беллетристов), которого мы наблюдали в доме наших баскских друзей, то приходит на ум интересная симптоматичная деталь, мы бы сказали «деталь с будущим»: мальчишка дошкольного возраста, взяв одного из нас за руку, подвел к глобусу и на своем возрожденном баскском языке спросил:

— Откуда ты приехал?

Мы показали ему Тбилиси. Тогда он, прижав пальчик к Тбилиси; попросил нас показать ему на глобусе и Бильбао, что мы, конечно, тоже охотно сделали. Прижав другой пальчик к Бильбао и имея таким образом под одной рукой Тбилиси, а под другой Бильбао, малыш закричал:

— Айта, айта! Эторри она! (Отец, отец, иди сюда!)

Пришел отец, и мальчик объяснил и показал ему на глобусе, откуда мы приехали. Все это происходило на баскском языке, и мы не знали, чему больше удивляться: этому ли последнему обстоятельству или сообразительности малыша, или же, наконец, тому, что ему пришла в голову такая символическая (для связи наших стран и народов) мысль: показать Бильбао и Тбилиси на глобусе. Вот уж подлинно: «устами младенцев глаголет истина».

Делясь своими впечатлениями о стране, то же самое слово «чудо» («баскское чудо») мы попытались употребить и в нашем разговоре с директором управления икастолами, т. е. школами с обучением на баскском языке (фамилии его мы, к сожалению, не помним: могучий и основательный, симпатичный молодой баск по имени Чечу). Основательный Чечу, однако, не дал нам даже договорить:

— Нет никакого чуда, — отрезал он, махнув рукой, молниеносно оторванной от руля машины, которую он в это время вел. — Пустое слово. Есть просто мы, баскские родители. И мы просто очень упрямые люди.

Мы посмотрели на этого Чечу с его обыденной, реалистической нетерпимостью к чудесам: Мы подумали. Мы молча согласились, как будто, принять его поправку и говорить уже не просто о «чуде», а, скажем, об «обыкновенном чуде» баскского возрождения, но — странное дело — от такого делового подхода это чудо, приобретая прозаическую основательность, почему-то вовсе не утратило в наших глазах ни ореола таинственности, ни своего обаяния.

— Да, чуда, пожалуй, нет, — вдруг даже весело сдался Шота Дзидзури. — Тут никакого чуда нет, вот что. Есть просто вы — баски. А это одно и то же.

Массивный Чечу посмотрел на него как-то недоверчиво, подозревая тут, видимо, подвох. Он заговорил о сложнейших проблемах, стоящих на пути развития и расширения всей сети икастол.

— Впрочем, — заключил он свою прозаическую ламентацию, — совсем недавно ведь было гораздо хуже. Совсем еще недавно мы всем обществом выплачивали правительству немалые штрафы за обучение детей на родном языке. Разумеется, когда правительственные инспектора нас на этом ловили.

— А разве это можно было скрывать? — спросили мы.

— Да, можно. Мы внушали детям, что, когда в дверях класса покажется кто-либо чужой, они тут же должны прятать в парты одни учебники — на баскском языке и сразу доставать другие — на испанском. И обычно дети нас не подводили.

— !

— Да-да. Что ж тут такого? Ведь это наши, баскские дети. Но, конечно, и инспектора тоже были не дураки. Тут было: кто кого.

В следующий раз нас откуда-то вез в своей машине уже другой директор — государственного издательства (ибо наряду с частными здесь теперь существует и такое) — уважительный вдумчивый человек по фамилии Сабалета. С ним состоялся следующий разговор.

— Какие проблемы вы считаете основными по вашей линии?

— Проблему писателей для детей, — был ответ. — Нам нужен массовый баскский писатель для детей пусть он не хватает с неба звезд (последнее говорилось без запятых) для того чтобы у наших детей была постоянная книжная пища — книжная соска, жвачка — на родном языке: ведь если такой жвачки не будет, то для возрождения языка мало что даст и сама та школа (пусть даже лучшая из икастол), где они учатся.

— И эту проблему вы решаете, начиная с нуля?

— Нет, так считать сейчас было бы уже неверно. Для тех детей, которые ходили в первые классы икастол, мы в свое время создали и писателя, и книги. И это все у нас сейчас есть. Хотя и не в полной мере, конечно. Но ведь теперь те, кто ходил в первые классы, уже подросли, и им требуется уже более взрослая детская литература. И вот для создания как раз этой-то литературы у нас сейчас ничего нет. Точнее никого нет. Ведь прежде всего для ее создания нужны профессиональные писатели, а из тумана они, как вы понимаете, не возникают.

— А из чего, простите, они возникают?

— Из чего возникают? Ну, как вам сказать... Из специальной почвы, из заботы, выращивания, ухода... Вот возьмем как раз эту сторону дела. У нас нет до сих пор ни одного художественного журнала на родном языке, прозаического или стихотворного, для детских писателей или для взрослых — никакого вообще, ни одного. А ведь такой журнал,

как вы понимаете, больше всего нужен, конечно, как раз начинающему писателю, ведь прежде, чем он будет выпустить книги, он где-то должен печатать свои, допустим, рассказы, на которых он бы учился писать, которые обсуждались бы критиками; наконец, которые бы просто оплачивались, приносили бы ему доход и т. д. Такая трибуна уже была бы определенным питомником по выращиванию нашего писателя (на родном языке) для юности, но ее нет.

— А откуда же она возьмется, кто должен ее создать? Правительство может быть?

— Ну что вы, как может правительство заниматься подобными вопросами! У него своих дел по горло. Оно должно управлять. А в этом деле организации журнала, как и во всем остальном, мы все должны проявить свой общественный энтузиазм.

— Но кто-то должен быть инициатором?

— Вот я и должен быть инициатором, мое издательство. Правда, моими официальными обязанностями это, конечно, не предусмотрено, но ведь кто-то должен это на себя взять. Кстати, определенный энтузиазм, даже если хотите самопожертвование должны быть в этом деле проявлены (при любых гонорарах) и со стороны самих наших будущих писателей, потому что сочинять прозу нам, баскам, чуждо по духу, мы ведь народ непоседливый, быстрый, поэтому у нас всегда было и есть множество импровизированных стихов, народных песен и т. п., а художественная проза всегда составляла у нас просто ничтожный процент от поэзии, от переводов, от научной литературы и т. д. Мы люди действия, и сочинять прозу нам как-то скучно, противно как-то. Мучительное занятие.

— Вот вы сказали, что у вашего правительства много других забот. Что же, например, в эти заботы входит, какие вопросы стоят на его уровне? Что для вашего правительства достаточно, так сказать, масштабно?

— Ну, например, все, что касается наших отношений с Мадридом, с Испанией, с другими странами, да мало ли что! Есть и серьезные внутренние проблемы, чего только стоит одна охрана окружающей среды — вопросы экологии, иначе говоря. Особенно экологии леса.

— Позвольте, леса? Но ведь у вас вся страна — лес? И какой лес! Сплошные сосны!

— Вот именно. И вы думаете, что это хорошо?

— Подождите, а что ж вам надо, чем это плохо?

— Разумеется, нам нужен дуб. Кстати, это ведь, как вы знаете, и наше священное, историческое дерево. Вообще смешанный лес нам нужен. С учетом местности. Без такого леса и скот пастись негде.

— А почему же вы не насаждаете дуб? Смешанный лес почему не насаждаете? В чем тут сложность?

— Да в том, что леса-то ведь принадлежат фабрикантам-бумажникам, а им дуб невыгоден. Им выгоднее сосна: она быстрее растет и под бумагу больше дает древесины.

— И что же делает по этой части правительство?

Но тут мы подъехали к цели нашей совместной поездки — хутору художника Ибаррола, и возобновить этот разговор нам уже не удалось. Из разных источников впоследствии выяснилось, между прочим, что лес в новой Эускади — не просто одна из проблем, но и объект борьбы, приобретающей очень острые формы, доходящей, в частности, до умышленных поджогов и уничтожения целых участков. В отношении состава леса баскское правительство стоит за сохранение сосны, и многие считают, что это объясняется его классовой принадлежностью. Впрочем, — подумали мы, узнав обо всем этом, — ведь для книг-то баскским детям требуются не только писатели, но и бумага, притом во все возрастающем (и быстро возрастающем) количестве, а бумага — это все тот же лес и в первую очередь лес сосновый... Вот и разруби этот гордиев узел.

Хутор художника Ибаррола, которого я уже упоминал, в недавнем прошлом был тоже сожжен — пятью налетчиками из ультраправых, которые этим способом отплатили Ибаррола за то, что он — патриот Эускади, демократ, член компартии, за то, что он талантливый мастер и каждая из его больших вещей (а они независимо от размера все большие) дышит его убеждениями и его правдой; наконец, они отплатили ему и за то мужество, с которым он выступает в защиту этих убеждений.

Между прочим, у Ибаррола тоже есть картина «Герника», приступая к которой автор не побоялся вступить, так сказать, в тематическое соревнование (своего рода) с Пабло Пикассо, и это соревнование (во всяком случае, на наш взгляд) не проиграл, т. е. сумел осветить ту же тему по-своему и по-своему впечатляюще. Репродукция с этой картины печаталась еще в подпольном журнале баскской компартии «Аррагоа» («Горн»), через который Ю. В. Зыцарь и познакомился в свое время с этой картиной и с самим художником. Узнав об этом, Ибаррола был тронут, как он был тронут и даже растроган вообще нашим посещением. Он подарил нам несколько своих работ, в том числе ту, где он изображает пятерых своих поджигателей. Поскольку работы его очень ценятся, хутор он себе купил новый и, между прочим, очень похожий внутри на горский грузинский дом.

Чтобы попасть к Ибаррола, нам пришлось отступить от программы, предусмотренной для членов симпозиума, оторваться от всей нашей интеркомпании, но в дальнейшем нам это уже ни разу не удавалось, и слава богу, как говорится, потому что при всей ее плотности, превышающей человеческие силы, эта программа была составлена не просто удачно, но даже талантливо и с таким дальним прицелом, что мы оценили ее (о чем приходится сожалеть) только по окончании симпозиума.

Скрытой пружиной, позволявшей выполнять основную часть этой программы, было затаенное и благодушное коварство басков (основанное на их чрезвычайной выносливости) — коварство самое настоящее, хотя и в гуманных целях. Это коварство состояло в следующем. Каждый день

по окончании утомительных заседаний вся наша многочисленная «интербригада», включая таких «просыпающихся» стариков, как, положим, дон Одон де Апрайс, одушевленной труппой и в счастливом предвкушении предстоящего обеда ^{семейства} к автобусу (на котором нас на эти заседания, проходившие в баском университете, и привозили). Автобус трогался. Через некоторое время обеспокоенные конгрессисты обнаруживали, однако, что едет он вовсе не в гостиницу, и начинали с некоторой тревогой спрашивать: «Куда мы едем?» С баским коварством им отвечали: «Обедать». Это, естественно, сразу успокаивало, и, благодушно обмениваясь улыбками, все ехали дальше. Ехали час, второй, вольно или невольно обозревая развертывающуюся за окном Эускади, но постепенно благодушие начинало куда-то улетучиваться, а улыбки — приобретать какой-то даже деревянный оттенок. Вот-вот, казалось, быть бунту на автобусе, но ничего не случилось, потому что, видимо, все утешались мыслью, что с минуты на минуту, вот сейчас, за тем поворотом перед восхищенными взорами и желудками откроется, наконец, застолье. Если кто-нибудь не выдерживал и кричал: «Когда же будет обед?», его сейчас же успокаивали: «Сейчас». А когда все же наступал этот выстрадавший, этот страстно желанный миг высадки из автобуса, то иногда оказывалось, что к столу-то надо еще отмаршировать куда-нибудь в гору добрых пять километров, но это обстоятельство преподносилось тоже так ловко и мягко и обнаруживалось так не сразу, что одно удовольствие: «Вон, видите, хутор там, наверху?» — вкрадчиво спрашивал, например, голос гида.

— Видим, видим! — отвечал ему хор конгрессистов, дружный, как в детсаду.

— В этом хуторе, — обольщал гид, — уже столы накрыты. И напитки разлиты по бокалам.

— Ура! — срывающимися голосами верещали докладчики и просто члены, и надо было видеть, как с резвостью, забытой с детства, их цепи бросались после этого в лоб на хутор, охватывали его и с флангов, и с тыла и карабкались на груды камней. Когда же, наконец, они брали его с бою, то добрая половина членов, оглянувшись назад, сама, видимо, не понимала, как ей удалось это сделать. «Заставь меня все повторить, — приходили они к мысли, — особенно на сытый желудок, ей-богу, ничего не выйдет. Как ни хорош этот хутор и все виды отсюда, а пошел бы спать» (а спать действительно хотелось ужасно, потому что на сон оставалось все время не больше пяти-шести часов). А между тем и этот хутор и столы в нем, и музыка, и само восхождение, и даже сама езда сюда подобным способом, и все это вместе взятое было действительно прекрасно, и все это стоило и гораздо больших усилий, и молодцы были баски, когда они стремились со всем этим нас познакомить. (А ведь надо сказать, что таким-то образом мы незаметно для себя сумели изнутри и снаружи познакомиться со всей Басконией).

— Зачем, казалось бы, такое знакомство лингвистам и другим «книжным червям» сидячих специальностей, включая

и авторов этих строк? Стоило ли организаторам симпозиума тратить (в этом смысле) силы? Лишь вернувшись домой и прокручивая мысленно весь кинофильм воспоминаний, осознали, насколько не напрасны были эти усилия, насколько все это было важно хотя бы и для «чистой» науки. Важно, например, для ответа на такой чисто научный вопрос, почему баски не были в свое время романизованы, в какой степени за это ответственен сам ландшафт их страны и т. п. И действительно, как оказалось, большинство обитаемых мест в Басконии — а они лежат вне и ниже орлиных массивов — представляет собой пятачки (расчищенной) земли, окруженной всегда лесистыми каменными россыпями (каменными, хотя и ниже скал; камень всюду), а на такую приманку, независимо от доступности или недоступности этих мест, конечно, не очень-то должны были клевать, не очень-то зариться римские колонисты* — ввиду особого плодородия других, равнинных земель Испании и Франции. И возникает вопрос, — можно ли было понять это, не видя самой страны с этими ее «пятачками»? Не увидев ее хотя бы через окно автобуса?

Здесь нам вспоминается, кстати, интересный разговор, который был у нас с одним очень умным и большим человеком — Георгием Владимировичем Степановым, директором Института языкознания Академии наук СССР, членом нашей и почетным членом испанской Академии наук. Разговор этот состоялся уже давно — за несколько лет до описываемого симпозиума, и начался он с того, что Георгий Владимирович как-то заметил, что кому-то из наших баскологов давно уже пора поехать в Басконию, т. к. это очень помогло бы всем нам в наших исследованиях, очень продвинуло бы все дело.

На это Ю. В. Зыцарь заметил, что, конечно, поехать бы не помешало, но что вряд ли от этого следует ждать пользу для самой лингвистической работы, для которой полезней всего было бы получить нужное (а нужно очень большое) количество книг, статей и т. п. И вот тогда, подумав, Георгий Владимирович ответил Ю. В. Зыцарю следующими, навсегда запомнившимися словами:

— Вы проявляете, — сказал он, — нехороший и вообще не свойственный вам, к счастью, практицизм (даже прагматизм какой-то). Конечно, если бы мы были не людьми, а лингвистическими киберустройствами и могли питаться только книжной информацией, то вы были бы во всем правы... Но мы — не киберы. Я, например, каждый год приезжаю из Испании в целом обогащенным, а это оплодотворяет и всякую связанную с Испанией пусть самую отвлеченную, самую теоретическую мою работу. Человеческий мозг очень сложен, и общее представление о стране, пройдя неизвестно через какие извилины, пути, каналы, не может не повлиять на качество любой

* С аналогичными мыслями (о романизации) мы столкнулись по возвращении, при чтении книги Альера «Баски», Париж, 1978.

интеллектуальной человеческой работы, посвященной этой стране. И чем лучше человек ту или иную страну знает, тем больше будет такое влияние. Ну, а в остальном, — продолжал он, — я не допускаю мысли, чтобы баски оставили нас без книг.

Правду этих слов нельзя было не почувствовать уже сразу, но как уже видно из предыдущего, только в Басконии мы начали понимать это все практически. Что же касается книг, то мы начали с того, что вручили Академии баскского языка большой набор капитальных академических изданий, главным образом поэм Руставели. Кстати, надо сказать, что перед отъездом в Испанию мы позвонили и Г. В. Степанову, чтобы поставить его в курс дела, и по возвращении встретились с ним для обмена впечатлениями.

Разумеется, было бы неправильно думать (и если такое впечатление сложилось у читателя, то оно ошибочно), что в наших поездках по Стране Басков (описанным способом) мы познакомились с ней только через окно автобуса и за обеденным столом. Мы, минуя стекло, видели, например, игру в пелоту с участием команд самого высшего класса (и в присутствии того же председателя баскского правительства). В приморском городке Гетария возле памятника сподвижнику Магеллана Эль-Кано мы проходили сквозь строй баскских школьников под скрещенными над нашими головами шпагами, здесь мы могли составить и общее представление о жизни баскского рыбацкого побережья. Наконец, в один из дней в местечке Очандиано для нас был устроен целый праздник, на котором мы видели и бой баранов, и соревнования айсколари (спортсменов-дровосеков), и национальных тяжелоатлетов, играющих каменными шарами, и местный вариант знаменитого танца со шпагами*, а также другие танцы..

Среди других видов спорта здесь же было показано нам и перетаскивание по земле волоком каменных колод, привязанных за веревки к поясу (специальному кожаному поясу) спортсмена. Как и все другие, это проходившее здесь соревнование широко и шумно комментировалось из специально оборудованной здесь же радиоточки. Вскоре после начала этого соревнования один из соавторов данного очерка, между прочим, отошел от места, или, точнее — поля действия, другой, не отвлекаясь, остался и продолжал проявлять к соревнованию самый острый интерес. Через несколько минут возвращаясь к полю, первый соавтор слышит, что и без того шумливая баскская публика пришла в совершенное неистовство, а радиокомментатор, забыв о своих обязанностях, кричит: «Ура грузинам!» Причем остается совершенно непо-

* Этот вариант исполняли человек двадцать молодых и пожилых бискайцев в красочной (белой с красным) одежде и танец в их исполнении был, безусловно, очень интересен, ритмичен, но вовсе не имел того бурного характера, который обычно придают ему в описаниях (см. П. Лоти «Танец со шпагами» — Литературная Грузия, 1980, № 2, см. также цит. книгу Альера, стр. 36).

нятым, почему ура кричат именно грузинам (мелькает соавторская мысль), когда выступают баски?

Что же обнаруживает этот возвращающийся соавтор в пределах, так сказать, видимости? В этих пределах он видит другого своего соавтора (читатель догадался уже, что то был Шота Дзидзигури), запряженного в каменную колоду, опоясанного спортивным поясом и самими своими попытками (колоду сдвинуть) вызывающего у басков бурю восторга, — видимо, потому, что они усматривают здесь проявление такого же темперамента, как и их собственный.

Впрочем, по-настоящему Шота Дзидзигури повел на басков свое «мирное наступление» уже не по линии переноса тяжести и даже не только по линии того своего доклада, о котором рассказывалось выше (а ведь на симпозиуме распространялась еще и книга Ш. Дзидзигури «Баски и грузины»), но также (в последний день нашего пребывания, за последним совместным дружеским столом) по линии своих стяжавших славу тостов, т. к. хотя эти тосты были прощальные, но в течение получаса они сопровождались взрывами смеха. И, надо отметить, что в этом была и заслуга Ш. Кинтана, который переводил здесь речь Ш. Дзидзигури прямо с грузинского на баскский, притом переводил, донося до своих соотечественников юмор.

Замечательные баскские организаторы симпозиума постарались во всем блеске показать нам и свою национальную кухню (со множеством видов рыб и способов их приготовления, с народными рыбацкими блюдами, но также и с такими блюдами, которые в почете у самого аристократического общества Испании, с редкостными напитками и т. д.). Поэтому, скажем прямо, даже через призму стола, не отрываясь от него, и то можно было бы многое практически узнать об этом замечательном, так беззаветно принимавшем нас народе.

Как ни хорошо в гостях, а дома все-таки, конечно, лучше. И вот совпадение: уже в самый день, в самый вечер перед отъездом встречаем мы одного испанца, баска по происхождению, живущего и работающего в Бильбао, который, оказывается, вырос в СССР, жил и учился в Москве, бывал в Тбилиси, свободно говорит по-русски и т. д., и он признается, что нам завидует: «Как бы мне хотелось туда вернуться!»

— В каком смысле — вернуться? Совсем? — спрашиваем.

— Да хотя бы и совсем.

— А почему? Плохо живется здесь? Малая обеспеченность? Личная жизнь не сложилась?

— Нет, — говорит, — с этим-то все в порядке. Просто там вырос. В другой обстановке — в обстановке душевности.

Мы посочувствовали ему и простились. Путь предстоял неблизкий и еще не очень знакомый, так как в Бильбао летели мы через Лондон, а возвращаться предстояло через Мадрид.

КЛОД САВАРИ О МАМЛЮКАХ ГРУЗИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Сочинение французского просветителя XVIII века Клода Савари «Письма о Египте» очень скоро стало весьма популярным в Европе. Хотя основная часть политической истории (описание похода Святого Людовика в Египет, системы Селима I и восстания Али-бея) в этой книге не имеет самостоятельного характера, некоторые сведения из этой ее части представляют для нас несомненный интерес с точки зрения грузино-египетских связей. Дополнительная часть политической истории, являющаяся «продолжением истории Али-бея»¹, по существу вполне самостоятельное произведение, которое будет, главным образом, предметом нашего внимания.

Основная часть книги Савари содержит весьма интересные указания относительно происхождения египетских вождей: «...Важно предложить Вам ясное и точное понимание того, кто такие мамлюки. Так называют (Вы же знаете значение этого слова) детей, которых сначала похищают разбойники или же вывозят купцы из Грузии, Черкезии, Анатолии и из разных других провинций Оттоманской империи, а потом продают в Константинополе и Большом Каире. Высокопоставленные люди Египта, имеющие подобное происхождение, воспитывают этих детей в своих домах и готовят их в качестве своих преемников на высоких должностях. По исторической давности этот обычай, возможно, уходит своими корнями в глубину веков, предшествовавших рождению Иосифа, проданного таким же образом Путипару — великому жрецу Гелиополиса и потом сделавшегося правителем Египта. Сегодня одним этим иноземцам дано право получать титулы бегов и занимать государственные должности. Закон так требователен, что сыновья какого-нибудь бега не могут быть назначены на высокие посты. Они вправе лишь служить в армии того или иного сановника. Диван определяет им приличные доходы и дает титул Абд-эль-Балада, то есть сына страны»².

Почти все мамлюки — из христианских фамилий. После покупки их заставляют приобщаться к магометанской вере и совершают над ними обряд обрезания. Учителя-языковеды

¹ Клод Савари. Письма о Египте (на франц. яз.). I. Париж, 1785, с. 256--273.

² Слово «абд» означает раба, лишенного права занимать должности. Мамлюки же имели право занимать самые высокие посты.

обучают их турецкому и арабскому. После того как они в совершенстве овладевают искусством чтения и письма на этих языках, они приступают к изучению корана, который представляет собой кодекс и магометанской религии, и светских законов магометанских народов. Знание этих ясных, простых и точных законов позволяет мамлюкам быстро решить любой вопрос. Магометанин, в совершенстве владеющий кораном, делает то, что нравится богу и людям. Он в состоянии исполнять обязанности всех гражданских, военных и религиозных должностей. С самого юного возраста мамлюков обучают мастерству верховой езды, метанию копья, искусству владения мечом и огнестрельным оружием. Мамлюков постоянно приучают к капризам и изменчивости климата пустынь. Этому они обязаны крепким физическим здоровьем и несравненной храбростью. В возрасте пятнадцати-восемнадцати лет они уже — искусные наездники. В этом возрасте мамлюки разговаривают и пишут на многих языках, имеют глубокие познания в вопросах культов и законов страны и вполне пригодны к тем должностям, которые для них предназначены. Они последовательно проходят через все ступени служебной карьеры в «Доме бегов». Обычно в основе их продвижения лежат личные достоинства и заслуги. Достигнув должности кашефа¹, они управляют городами, зависящими от их повелителей. В этот период им разрешают покупать мамлюков, которые, в свою очередь, делаются их компаньонами. В эту пору кашефу не хватает лишь одного шага, чтобы стать бегом. Звание бега дает ему право стать членом дивана, или совета республики². Но и после этого мамлюк сохраняет глубокое уважение к своему бывшему господину и полное послушание ему».

Указание Клода Савари на кавказское, в частности — грузинское, происхождение египетских мамлюков подтверждается многими европейскими источниками. Любопытное сообщение находим и в капитальном лексикографическом труде автора начала XVIII века Жака Савари де Брнльона: «Только в Константинополь ежегодно вывозится три тысячи грузинских пленников». Ближайший же сподвижник легендарного Алибея — Савьюр Лузиниан писал: «Право сделаться бегами принадлежит только мамлюкам или рабам. Рабы эти по преимуществу — грузины, мингрельцы и черкезы». Известный ориенталист Карстен Нибур, побывавший в странах Ближнего Востока в 50 — 60-х годах XVIII века, отмечал, что подавляющее большинство мамлюкских вождей по рождению христиане, привезенные в Стамбул, а оттуда в Каир еще в детском возрасте из Грузии или Мингрелии. Таким образом, концепция Савари относительно кавказского вообще, и грузинского в частности, происхождения египетских вождей XVIII века, по сути дела, — повторение и подтверждение традици-

¹ К а ш е ф — заместитель бега.

² Республикой Египет провозгласил турецкий султан Селим I (1512 — 1520). (Речь, конечно, идет о феодальной республике — Д. Дж.).

онного взгляда, твердо укоренившегося в европейской литературе.

Традиция эта сохранялась и в последующее время. По словам замечательного энциклопедиста, крупного путешественника Константина Франсуа Вольней (1757 — 1820), верховные сановники Египта предпочитали жениться на красавицах, привезенных из Грузии. Дети этих мамлюков грузинского происхождения не выдерживали египетского климата и умирали в младенчестве. Поэтому отсутствие у мамлюкских вождей устойчивых потомственных линий было явлением обычным. Вольней прожил в Египте и Сирии шесть лет. И поэтому у нас нет основания не верить его словам.

Другой француз — Шарль Клод де Пейссоннель (1727 — 1789), дипломат и историк, долго живший на Ближнем Востоке, сообщает, что крымские купцы прибывали в Грузию, Черкезию и Калмыцкие степи, где покупали людей, которых потом перепродавали в Крыму, Кафе (Феодосия) и Стамбуле. Для покупки пленников в Грузию приезжали торговцы из Анатолии, Константинополя и городов Румелии.

Известный дипломат, хороший мемуарист и превосходный знаток Ближнего Востока Ферьер Совбеф указывал, что «мамлюки — это те пленники, которых османские турки, татары и лезгины похитили из Грузии».

Автор интересных двухтомных записей о Турции Элиас Абеши — грек по национальности — тоже подчеркивает грузинское происхождение ряда крупных сановников Турции и Египта.

Аббат Бино, итальянец, утверждал, что египетские вожди — все христиане: их в детском возрасте покупают в Грузии, Колхетской земле и Армении.

В своем известном манифесте о мамлюках (июль 1798 г.) Наполеон Бонапарт заявил, что он прибыл в Египет освободить народ от бывших грузинских пленников, привезенных когда-то с Кавказа. (К сожалению, известный советский историк Луцкий почему-то неверно излагает содержание манифеста. Он опускает, в частности, те строки, где говорится о грузинском происхождении египетских мамлюкских вождей, при этом не оговаривая своей модификации важного исторического документа. Как это ни удивительно, но неверно излагается манифест и у такого крупного историка, как академик Евгений Тарле — грузинские мамлюки подменены у него «турецкими узурпаторами», что противоречит и букве и духу документа).

Турки не жаловали мамлюков, они задерживали грузин в Стамбуле и отрубали им головы. Как указывает Ферьер Совбеф, такие же меры по предписанию султата принимались и в иракской столице — Багдаде.

Но нам известно одно — и едва ли не единственное — исключение. В Константинополе в 1785 году был весьма благосклонно принят имеретинский князь Гавриил Тарбаисидзе (Тарбаидзе), который возвращался на родину из Египта после того, как пробыл в этой стране несколько месяцев, встре-

чаясь со своим родным братом — мамлюкским вождем лейман-бегом, а также со своим дядей (по материнской линии) — Ибрагимом Шинджикашвили и с другими бегами своими родственниками. Гавриилу Тарбаисидзе устроил фактический властелин Османской Турции кафудан-паша Гази Хассан (родом из Грузии). Между ними возник душевный диалог, во время которого хозяин беседовал с гостем на чистом грузинском языке без переводчика. Кафудан-паша признался гостю, что был похищен из одного из горных районов Грузии в девятилетнем возрасте. Разговор в основном касался политических вопросов. Гази Хассан порицал Ираклия Второго за то, что тот пригласил в Грузию русские батальоны и связал себя договором с Екатериной Второй. Гавриил Тарбаисидзе, как убежденный сторонник русской ориентации карталино-кахетинского царя, стал оправдывать Ираклия Второго, подчеркивая враждебную Грузии политику ахалцихского паша Солеймана Джакели и нападение на нее лезгинских феодалов, направляемых оттуда же. Хозяин выразил надежду, что дружеские отношения между Грузией и Турцией будут восстановлены. Гази Хассан предложил гостю остаться в его дворце, где ему будут созданы все условия для приятного времяпрепровождения. Однако Гавриил Тарбаисидзе вежливо уклонился от этого предложения. Но и вернуться в Грузию через Ахалцихе, куда ему Гази Хассан обещал дать сопровождающий отряд, тоже не пожелал. Тарбаисидзе решил возвратиться на родину через Крым...

За поездку в Египет Тарбаисидзе не заплатил жизнью. Более того, в турецкой столице для него было сделано редкое исключение. Причиной этого, видимо, явился тот интерес к примирению с Грузией, который проявлял тогда кафудан-паша Турции Гази Хассан («Победоносный Хассан»), грузин по происхождению.

В основной историко-политической части труда Савари весьма любопытно сообщение о пребывании в Египте отца прославленного мамлюкского вождя Али-бея — грузина Давида, с внуком и дочерью. «Достигнув вершины власти, Али вспомнил тех, кому он обязан был жизнью. После заключения перемирия с Портою¹ Али поручил Тантави² сопроводить казну в Константинополь. Такая казна ежегодно отправлялась из Египта в столицу Турции. Одновременно Тантави получил от Али-бея задание поехать в Анатолию и привести его отца с семьей. Узнав о том, что они прибыли в Булак³, Али-бей в сопровождении многочисленного кортежа выступил им навстречу. Как только он увидел старого Давида, сошел с коня, побежал к старику, пал ниц перед ним и назвал его своим отцом. Старик заплакал от радости. Этот день был самым счастливым в его жизни. Али-бей обнял свою сестру и своего племянника, которых привез с собой старый Давид.

¹ Порта — европейское название Совета визиров в Турции.

² Один из мамлюкских вождей — грузин по происхождению.

³ Предместье Каира.

После этой сердечной встречи Али-бей взял своих родных во дворец... Мамлюки немедленно обмыли ноги отцу своего повелителя, затем переодели его в богатый наряд и отвели в гарем, где за стариком стала ухаживать супруга Али-бея. Давиду дали превосходную лошадь, и он верхом направился в зал дивана. Здесь беги, и даже сам паша, обратились к старику с вежливыми словами и преподнесли ему подарки. Пробыв семь месяцев в Египте, Давид захотел вернуться на родину. Али отправил его в свой родной город на корабле, нагруженном богатствами. Сестру и племянника Али-бей оставил у себя. Вы видите, сударь, что события, подобные тем, которые тесно связаны с историей Иосифа¹, часто повторяются в Египте. Когда Яков прибыл в Египет, Иосиф сел в колесницу и поехал встречать отца. Как только заметил издали своего родителя, сошел с колесницы, пешком устремился к отцу, подошел к нему и горячо обнял его, обливаясь слезами. Новый Иосиф был не менее нежен и сердечен к своему родителю. Али-бею хотелось дать новое доказательство своей дружбы к Магомеду Абу-Дахабу и сделать свой союз с ним нерушимым. В этих целях он выдал за него свою сестру. Три дня продолжалась свадебная церемония с иллюминацией, скачками и роскошными пирами. Так Али-бей осыпал своими милостями человека вероломного, втайне готовившего гибель своему благодетелю.

Сообщение Савари о пребывании отца, сестры и племянника Али-бея в Египте категорически отклонил Вольней. Он провозгласил эту версию неправдоподобной и даже высмеял ее.

Однако, по нашему мнению, Вольней ошибался. Дело в том, что версию Савари поддерживает русский архивный источник, опубликованный Николаем Дубровиным в конце XIX века. В нем говорится, что «бывшие в проливе десять военных кораблей командированы были... для усмирения в Сирии бунтующего алибеева племянника»². Под племянником можно подразумевать сына брата или сестры. Ни у Савари, ни у Дубровина не уточняется — о каком именно племяннике идет речь. Однако грузинским ориенталистом Бениамином Силагадзе выдвинута основательная, на наш взгляд, гипотеза, согласно которой в 1768 году грузин Давид привез в Египет сына своей дочери, то есть сестры Али-бея (гипотезу свою Б. Силагадзе выдвинул в связи с анализом книги Савьюра Лузиниана, которая, как правильно утверждал еще Вольней, является основным источником повествования Савари об Али-бее). Таким образом, архивный документ, приведенный Н. Дубровиным, подтверждает версию Савари и Лузиниана о приезде в 1768 году в Египет грузинского свя-

¹ Имеется в виду библейский персонаж, ставший героем исторического романа Томаса Манна.

² Присоединение Крыма к России. Под ред. Н. Дубровина. СПб. Том I, 1885, с. 698.

щенника Давида с целью повидаться со своим знаменитым сыном — правителем Египта Али-беем.

Эту же версию косвенно подтверждает одна важная деталь в рассказе Карстена Нибура, который сообщает, что Али-бей — уроженец Грузии был похищен в возрасте тринадцати лет. Мы же выше видели, что, как уверяет Клод Савари, Али-бей, приблизившись к старику Давиду, быстро и легко опознал в нем своего отца. Значит, он был похищен в таком возрасте, когда способен был запомнить многое из своего детства и особенно — черты лица любимого отца.

Антитурецкое восстание в Сирии племянника Али-бея было акцией довольно крупных масштабов. Об этом свидетельствует факт отправки сильного отряда турецких военных кораблей на его подавление. О довольно крупном масштабе того же события говорит и тот факт, что первоначально для расправы с повстанцами планировали организовать карательную экспедицию во главе с великим адмиралом Турции — кафудан-пашой Гази Хассаном. На такой первоначальный план указывает доклад русского резидента в Стамбуле Стахиева от 31 мая 1777 года¹ князю Прозоровскому.

К сожалению, мы не знаем, что случилось в конце концов с племянником Али-бея. О его судьбе ничего не сообщается ни в книге Джабарти, ни в других известных нам источниках. Исследователям предстоит еще раскрыть тайну этой загадочной личности.


А теперь обратимся к той части книги Клода Савари, где ее автор выступает вполне самостоятельно, как наблюдатель-очевидец. Здесь излагаются события, происшедшие после гибели Али-бея, дается любопытный материал из биографии четырех знаменитых мамлюкских вождей грузинского происхождения — Исмаила-Шейх Балада, Ибрагима Шинджи-кашвили, Мурад-бега (уроженца Тбилиси) и Хассана Гедави (Хассана из Джидды — Д. Дж.). Предлагаем вниманию читателя выполненный нами с французского подлинника перевод этого интересного сообщения французского просветителя-путешественника. Приводимый ниже текст Савари касается исключительно событий 1776 — 1779 гг.

РАССКАЗ САВАРИ О ХАССАНЕ ИЗ ДЖИДДЫ²

«Я думаю, сударь, что Вам может доставить удовольствие рассказ о событиях, которые последовали за смертью Али (Али-бея — Д. Дж.). Я был очевидцем большинства из них (курсив наш — Д. Дж.). После смерти этого храброго вождя и Магомед Абу-Дахаба плодами измены последнего спокойно стал пользоваться Исмаил, которого возвели в ранг шейха эль-Балада. Исмаил управлял Египтом как суверенный повелитель, поставив исключительно свои креатуры на посты правителей провинций. В окружении своих близких

¹ Присоединение Крыма... т. I. 1885, с. 718.

² Клод Савари. Указ. книга. Т. I, П. 1785, с. 256—273.

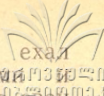


людей Исмаил царствовал в Большом Каире. Для того, чтобы обеспечить свое господство, он вкрался в доверие человека ловкого и предприимчивого. После этого Исмаил снискал себе уважение и янычарских офицеров. В результате его распоряжения и пожелания получили силу законов по всему Египту. Воспитанник Али-бея, он владел военным искусством, обнаруживая при этом качества делового человека и отличаясь незаурядной храбростью. Но скупость бросала тень на все его достоинства. Собирая золото отовсюду, Исмаил ни гроша не тратил на общественные нужды, всецело заботясь о личном обогащении. Мурад и Ибрагим горели желанием отомстить ему за смерть своего господина¹, а он ничего плохого для своей власти не подозревал. Мурад был усердным, храбрым человеком с горячим и открытым сердцем. Но ему не хватало осторожности и расчетливости². Ибрагим же характер умеренного и сдержанного человека сочетал с качеством ловкого политика, умеющего формировать партию. Они поклялись друг другу в верной дружбе и выступили из Сирии во главе горстки преданных им мамлюков. Преодолев пустыню, прибыли в Саид³. Исмаил, не давая им времени на передышку и приобретение сторонников, отправил против них армию. Мурад хотел сразиться с противником малым числом имевшихся у них бойцов, но Ибрагим не дал ему на это своего согласия, после чего они поехали в самый отдаленный уголок Египта, куда враги не решились их преследовать. В этой провинции Мурад и Ибрагим вступили в соглашение с одним арабским эмиром, который самостоятельно управлял своей областью. Они обещали последнему территориальные приращения, если тот поможет им снова овладеть столицей Египта. Арабский эмир с восторгом ухватился за это предложение, тем более, что беги-изгнанники стремились уничтожить Исмаила, который намеревался получить контрибуцию и с его владений. Эмир поклялся оказать бегам-изгнанникам содействие, немедленно послав повеление арабам, бывшим в его подчинении, взяться за оружие. Очень скоро шесть тысяч всадников эмира встали под знамена бегов-изгнанников. Плечом к плечу с этой конницей армия бегов проследовала по побережью Нила и, захватив основные прибрежные города, наступила к Каиру. Нанеся сокрушительный удар по различным группировкам, которые противопоставил им Исмаил, Мурад и Ибрагим в 1776 году расположились лагерем близ Каира. Шейх эль-Балад (Исмаил — Д. Дж.) выступил во главе многочисленной армии, чтобы остановить Мурада и Ибрагима и прервать им доступ к Нилу... Исмаил через уполномоченных предложил им снова занять свои места среди членов (верховных сановников) совета республики. Между ними было подписано соглашение. Мурад и Ибрагим вступили, таким об-

¹ Магомеда Абу-Дахаба.

² Эта характеристика Мурада — мамлюкского вождя грузинского происхождения — вполне совпадает с указаниями других источников.

³ Южный Египет.



разом, в столицу; перед ними на превосходной лошади ехал арабский эмир. За ним следовала вооруженная мечами и копьями кавалерия. Пробыв в столице три дня и посчитав свои намерения достигнутыми, арабский эмир возвратился в свою провинцию. Для него не пожалели ни богатых подарков, ни радужных обещаний. Примирение сторон, однако, было лишь мнимым. Исмаил заманил своих врагов в столицу, чтобы уничтожить их... Новые беги (Мурад и Ибрагим — Д. Дж.) ходили по краю пропасти. Им нужно было соблюдать исключительные меры предосторожности, чтобы избежать расставленных сетей. Пока они отсиживались в своих крепостях и были на чеку, шейх эль-Балад (Исмаил — Д. Дж.) опасался предпринимать атаку против них — народ мог поддержать последователей Али-бея. Исмаил договорился с турецким пашой и со своими сторонниками убить Мурада и Ибрагима при первом же их появлении на заседании дивана. Но те узнали о готовящемся заговоре и ночью спаслись бегством в Верхний Египет. Здесь они укрепились в Джирдже¹ и, призвав к себе на помощь арабов, без особого страха ожидали вражеского нападения. Исмаил отправил в погоню за ними кавалерийское соединение. Два вождя дали бой последнему и обратили его в бегство. После этого сразиться с ними прибыл сам Исмаил во главе тридцатитысячного войска. Исмаил рассчитывал на верную победу, но ловкий и умный Ибрагим пошел на ту же самую хитрость, которую так хорошо использовал Абу-Дахаб в отношении Али-бея. Превосходно зная о скупости Исмаила и о том, как плохо он вознаграждал труд своих солдат, Ибрагим предложил им большее жалование, а офицерам посулил быстрое продвижение по службе. Чего еще надо было продажным наемникам, всегда готовым примкнуть к тем, кто больше платит! Часть их предала Исмаила и перекинулась на сторону Мурада и Ибрагима. Как только Исмаил увидел себя оставленным на произвол судьбы, он немедленно бежал с поля битвы и прибыл в Каир. Спасаясь бегством, погрузил на 50 верблюдов золото, серебро и другое имущество и прибыл в Сирию, преодолев с самого начала устье Нила. С тех пор этот трус, справедливо наказанный за свою измену по отношению к другу и повелителю, влачил жалкое существование, скитаясь по разным провинциям Оттоманской империи. Меня уверяли, что Исмаил прибыл в Константинополь, приободренный обещаниями Порты... Мне говорили также, что диван (правительство Турции — Д. Дж.) отобрал у Исмаила все богатства и потом предоставил его воле судьбы.

Бегство Исмаила оставило Египет в руках Ибрагима и Мурада. Они с триумфом вступили в Большой Каир. Народ встретил их возгласами беспредельного восторга. Ибрагим был провозглашен шейхом эль-Баладом, а Мурад — эмиром Хаджи². Первым делом они свергли с престола турецкого пашу,

¹ Город и крепость в Верхнем Египте.

² Предводитель мамлюкских отрядов, сопровождавших мамлюкских паломников в Мекку.

который имел неосторожность поддерживать их соперника и объявить Ибрагима с Мурадом врагами Великого ^{сеньора} Эмиссар этих двух мамлюкских вождей, одетый в ^{черный наряд} ряд, явился во дворец паши и поднял кончик ковра, лежавшего на полу, после чего паша немедленно ретировался в Булак, где должен был дожидаться получения распоряжений из Константинополя и решения своей судьбы. Наконец, когда из Турции в Египет был послан новый паша, Ибрагим и Мурад взялись возвести своих мамлюков в ранг бегов, а я присутствовал на церемонии их возведения благодаря тому, что был одет по-турецки. Санджаки² сидели в начале зала Совета, близ перил, где восседал паша. Остальную часть помещения заполнял народ. После того как секретарю передали список тех, кого должны были возвести в ранг бегов, он прочитал этот документ, надел на кандидатов верхнюю одежду, вручил им фирман санджака и провозгласил бегами. По окончании церемонии шейха эль-Балада и эмира Хаджи торжественно препроводили в их дворцы. Марш этот был весьма блистательным. Ибрагим и Мурад, едущие верхом на конях, утопающих в золоте и серебре, приветствовали народ, высыпавший на улицы и ставший шеренгами по обе стороны следования высочайшего кортежа. Толпа, скандируя имена двух вождей и выражая свою радость, посыпала им пожелания всевозможных благ, а они непрерывно кидали в народ звонкие монеты — медины, пиастры и цехины. Толпа с великой алчностью набрасывалась на деньги. Перед вождями шествовало шестьсот мамлюков, богато одетых, восседавших на боевых конях, спины которых были устланы сказочными попонами. За ними следовали, с соблюдением изумительного порядка, янычары, азабы³ и соединения разных родов войск. Триумфальное шествие длилось два часа. За ним следили больше чем **четыреста тысяч человек** (курсив наш — Д. Дж.). Я удивлялся тому, что такая огромная масса добровольно подчинялась семи-восьми тысячам иноземцев, **жестоко эксплуатировавших их** (курсив наш — Д. Дж.)⁴. Но коренное население Египта, от природы смиренное и, помимо этого, лишенное силы и энергии, было, казалось, обречено на вечную неволю. Оно веками изнывало под ярмом деспотизма и было в состоянии вынести все невзгоды, не поднимая головы. Если бы им управляло умеренное и благоразумное правительство, счастливее народа не было бы на земле. Несмотря на бедствия и страдания, это население горячо любит свою страну.

Изгнав Исмаила из Большого Каира, Ибрагим и Мурад решили полностью истребить всех последователей его дома. Особенно опасались они Хассан-бея, который благодаря лич-

¹ Так называли в Европе турецкого султана.

² Здесь: беги, а вообще это слово означало «область» — «садрошо» по-груз.

³ Часть регулярной армии, предназначенная для разведки и подкопных работ.

⁴ Это — поверхностное суждение. Мамлюки имели великие заслуги в истории Египта — Д. Дж.

ным качествам — великодушию, чувству справедливости и мужеству — снискал дружеское расположение народа и великих мужей. Не будучи в состоянии разделаться с ним посредством коварства и хитрости, Ибрагим и Мурад применили вооруженную силу. Укрывшись в одной крепости, они открыли огонь из шести орудий по дворцу Хассан-бея. Атакующим удалось рассеять по окрестным местам соединения вооруженных отрядов, защищавших дворец Хассан-бея, после чего они плотным кольцом окружили резиденцию соперника. Хассан защищался мужественно, и ему плечом к плечу со своими мамлюками удалось отбить все атаки. Грохот артиллерии навел ужас на жителей города. Бои завязывались на улицах и даже на крышах. Со всех сторон слышались шум сражения, лязг оружия, треск рушившихся зданий и крики людей, павших жертвами этих распрей. Банды убийц, пользуясь моментом, врываются в дома во всех кварталах, предавая все огню и мечу; французских купцов охватил ужас и оцепенение. Каждую минуту они ожидали катастрофического разорения своих кварталов и гибели. Я присутствовал при этой трагедии и решил вкупе с некоторыми молодыми людьми до последней капли крови защищать вход в нашу улицу и, по крайней мере, умереть, сражаясь. Наши тревоги не были лишены основания. Примерно двести разбойников, вооруженных топорами, секирами и всеми видами оружия, пришли ломать единственную дверь, за которой мы укрывались. Однако дверь не поддавалась, и головорезы, зная, что им здесь окажут сопротивление, принялись грабить соседние дома. Сцены ужаса длились два дня и две ночи; за все это время ни на секунду не затихала артиллерия, не прекращалась канонада мушкетов, непрерывно слышались крики отчаяния. Мы можем верно судить обо всем этом, так как никто из нас не смыкал глаз во время вооруженных столкновений. Когда наступил третий день сражения, мы с высоты террас увидели, как Хассан-бей в сопровождении двухсот мамлюков с мечом в руках прокладывал себе дорогу среди врагов, спасаясь бегством из Большого Каира. Направляясь в сторону Сирии, он натолкнулся в пустыне на воинские соединения соперников в составе трех тысяч арабов. Завязался неравный бой. Хассан попытался было прорваться через арабские эскадроны и сражался с безумием отчаяния. Все его мамлюки погибли в бою. Израненный и весь в крови, Хассан защищался в течение часа. Наконец арабы схватили его и отвезли в столицу Египта. Когда победители прибыли с ним в Булак, Хассан попросил их, заклиная всеми святыми ислама, разрешить ему нанести минутный визит одному шейху, своему другу, чтобы проститься с ним. Арабы согласились. Вместе с тем они отправили курьера к Мурад-бегу с известием, что везут к нему в качестве пленника Хассана, его соперника. Получив радостную весть, эмир Хаджа (Мурад-бег — Д. Дж.) послал двести своих соратников с приказанием отрубить голову пленнику. Эти люди, окружив дом шейха, громко потребовали выдачи Хассана. Шейх отказался, заявив, что никогда не нарушит законов гостеприимства и не выдаст своего друга. Люди Му-

рад-бега решили силой забрать пленника. «Я не могу из-за себя подвергнуть вас насилию этих бешеных молодчиков. Они убьют вас, вашу жену и ваших детей. Дайте мне уйти от вас», — сказал Хассан своему хозяину и, едва закончив эти слова, вышел на террасу. Заметив, что двери дома охранялись одним единственным солдатом, Хассан без шума приоткрыл эти двери и немедленно убрал сторожа, выхватил меч из его рук, вскочил на коня и, натянув поводья, вихрем пронесся в сторону Большого Каира. Это неожиданное зрелище привело в изумление людей Мурада. Придя в себя, они открыли огонь по беглецу, а затем бросились вдогонку. Два всадника настигли Хассана. Последний ударом меча опрокинул обоих и снова ринулся вперед. Все улицы Большого Каира имеют ворота. Это — ради общественной безопасности. Хассану удалось добиться того, что ворота многих улиц закрыли. Ключи Хассан взял с собой и остановил врагов.

Он вошел во дворец Ибрагима через гарем, закрыв лицо шалью, чтобы никто не мог его распознать. Жена шейха эль-Балада (Ибрагима — Д. Дж.) была его родственницей (курсив наш — Д. Дж.). Хассан попросил ее выступить посредницей в переговорах с ее мужем. Жена пала ниц перед Ибрагимом и попросила подарить жизнь ее двоюродному брату (курсив наш — Д. Дж.). Ибрагим уступил настояниям жены и, взяв Хассана под свое покровительство, вылечил его от ран и оказал длительное противодействие Мураду, требовавшему казни соперника¹. В конце концов Ибрагим, видя, что эмир Хаджи объявит ему войну, если он не выдаст гостя, заключил соглашение с Мурадом. В силу этого акта Хассан должен был найти убежище в Джидде². Его отвезли в Суэц, где отдали в распоряжение владельца маленького судна с приказанием препроводить Хассана до пункта изгнания. Два раба, добровольных спутника несчастного Хассана, не покидали его. Вдруг они узнали, что капитан корабля имел секретный приказ Мурада убить Хассана, как только тот сойдет с корабля в Джидде. Рабы сообщили новость своему господину-изгнаннику. Последний, делая вид, что ничего не знает, попросил капитана разрешить ему высадку на египетское побережье. Тот наотрез отказался выполнить просьбу изгнанника. Тогда Хассан ночью прибрал к рукам находящееся на борту оружие, после чего с помощью двух верных невольников отрубил голову капитану и трем матросам и, сбросив остальную часть экипажа в море, сам взялся за руль корабля и высадился в Коссейре³. Отсюда Хассан направился в провинцию Саид, имея с собой сумму в количестве четырехсот

¹ Рассказом Савари подтверждается наш архивный источник, опубликованный в «Цискари» в 1959 г., № 6.

² В нашем архивном источнике отмечается, что Мурад пришел во дворец Ибрагима и добился личной встречи с Хассаном. Савари проходит мимо этого факта.

³ Порт на восточном побережье Египта.

тысяч ливров¹, захваченных им на корабле. После этого Хасан начал набирать сторонников. Может быть, в один прекрасный день он добьется возвращения и вступления в Каир, куда его зовет голос народа.

Смерть шести бегов, сторонников Исмаила, и бегство других сделали Ибрагима и Мурада абсолютными хозяевами положения в Большом Каире². Эмир Хаджи, следуя обычаю, принял за свое дело — препровождение паломников в Мекку. Паломники со всех концов света собрались в долине Хелла. Она расположена близ города. В тот день здесь поставили примерно десять тысяч шатров. Лагерь паломников раскинулся на большой территории. Шатры вождей и офицеров, изнутри обшитые шелковой тканью и атласом, были сделаны из живописного холста и убраны драгоценными подушками, украшенными золотыми и серебряными нитями. С наступлением ночи перед шатрами зажгли маленькие цветные фонари. Родственники и друзья паломников проводили эту ночь вместе с ними. Как только занялась заря, эмир Хаджи дал сигнал к подъему — раздался бой барабанов и заиграли трубы. Паломники, убрав свои шатры, погрузили все имущество на верблюдов и пустились в путь. Раньше всех тронулась передовая колонна, сопровождаемая кавалерийским соединением в богатых нарядах. Затем показался верблюд с ковром на спине, предназначенный для Каабы³, или Божьего дома. Голову верблюда украшал пышный султан, а спина была покрыта позолоченным сукном. **Верблюда окружали моллы, распевające гимны из корана.** (Курсив наш — Д. Дж.). Примерно сорок тысяч паломников следовало за ним кто пешком, кто на коне, кто на верблюде. Пять тысяч всадников под предводительством эмира Хаджи ехали по флангам каравана паломников. Эта кавалькада была разделена на части. Среди путешественников находилась малочисленная группа дам. Последних везли в носилках. Трудно представить себе более великолепную картину, чем выступление каравана паломников из Египта. Мужчины, чисто и прилично одетые, казались полны силы и здоровья, кони пылают огнем и задором. Однако по возвращении все предстали перед глазами очевидцев в корне изменившимися: животные — тощими, изнемогающими; паломники — бледными, исхудавшими, выжженными солнцем, похожими на скелеты. И в самом деле, это путешествие, исключительно тяжелое, продолжалось сорок дней. Паломники были лишены самого необходимого. Пыль из-под ног огромного числа паломников и животных, затмевая воздух, слепила глаза, забивала горло. Иной раз юго-восточные ветры, зараженные чумой, поднимали страшные вихри, триста-четырееста человек умирали за день. Это бедствие приносило великие доходы эмиру Хаджи, который считался наслед-

¹ Примерно сто тысяч рублей.

² Таким образом, в борьбе за власть группировка Абу-Дахаба одержала верх над приверженцами легендарного Али-бея.

³ Кааба — здание в Мекке, в котором хранится гроб с телом Мухаммеда — основателя ислама.

ником всех паломников, умирающих на пути в Мекку. Таким образом, эмир Хаджи вообще часто возвращался в Большой Каир с одной третью материального достояния паломников, ехавших под его же защитой в Мекку.

Караван, который шествовал под покровительством Мурад-бега, обогнув побережье Красного моря, вступил в Аравийскую пустыню. Тогда явились арабы и потребовали традиционной дани. Мурад отрубил головы вождям арабов. Рядовые арабы, будучи не в состоянии закрыть проход каравану, вернулись к своим шатрам, затаив в сердце желание отомстить Мураду. Караван благополучно прибыл в Беддер¹, где, согласно обычаю, присоединился к другому каравану, следовавшему из Дамаска, и после шестидневного перехода оба прибыли в Мекку. В течение четырнадцати дней магометане, стекавшие сюда со всех концов света, оставались в этом городе для выполнения религиозных обрядов. Здесь развернулась торговля. Часть паломников приезжала сюда для выполнения завета, диктовавшего им хоть раз в жизни посетить Божий дом. Но были и такие, которых влекла сюда нажива. Эти люди привозили в Мекку наиболее редкие вещи из своих стран. Здесь продавалось огромное количество драгоценных тканей, индийских алмазов, прелестных жемчугов Персидского залива, бальзама, столь изысканного у восточных народов, стального оружия Дамаска, кофе... Может быть, меккская ярмарка самая богатая на земле. **Здесь собирается больше, чем сто тысяч купцов.** (Курсив наш — Д. Дж.). Из-за краткости времени не может быть установлено, на сколько миллионов здесь продается товаров в течение четырнадцати дней. Очень желательно, чтобы какой-нибудь европеец, владеющий арабским языком и одетый по-купечески, смог бы присутствовать на этом празднике и дать детальное описание всего происходящего...

Мурад-бег не был при возвращении столь же счастливым, сколь при отъезде. Арабские племена объединили свои усилия, чтобы отомстить ему за кровь своих вождей. Они стали ждать появления каравана в горных ущельях и успешно атаковали его, как только тот появился. Сначала атака вызвала беспорядки и смятение в рядах многочисленных паломников. Много людей погибло. Эмир Хаджи собрал войска в один кулак и под артиллерийским обстрелом врага поднялся в горы и дал кровопролитный бой нападающим арабам. Он потерял много народу, самого его ранило в бедро и руку. Но он принудил арабов обратиться в паническое бегство. Арабы больше не показывались. Эмир Хаджи прибыл в Каир выбившимся из сил, усталым и почти умирающим. К нему был приглашен врач-француз, который лечил его не без серьезных тревог и опасений за себя. Это и понятно: он головой отвечал за больного.

Все жители Большого Каира вышли из города встречать своих родственников и друзей. Одни оплакивали братьев, другие — отцов, третьи — супругов, всюду раздавались рыдания.

¹ Пункт на Ближнем Востоке.

Убитые горем матери рвали на себе платье, осыпая голову пылью. Другие, увидевшие своих дорогих близких в целости и сохранности, возгласами восторга сотрясали воздух, благодаря небу за счастливый оборот судьбы. Не поддаются описанию чувства, которые испытывал наблюдатель со стороны. Каждого паломника, возвратившегося в свой дом, встречала, в меру его состояния, готовая комната и совсем обновленная бытовая обстановка — разрисованные стены, замененная или отремонтированная мебель. Ковры, диван, подушки — все выглядело по-новому, так как люди глубоко верили в то, что ветхие вещи уже неприличны для человека, вернувшегося из святого путешествия. Эти штрихи, сударь, свидетельствуют как о сыновней нежности египтян, так и об их набожности, и о той прекрасной идее, которая живет в их воображении относительно собственной религии. Люди, посетившие Мекку, после этого всю жизнь носят в качестве почетного титула прозвище «хаджи».

Богатые люди, не желая подвергаться усталости и невгодам путешествия, посылают вместо себя в Мекку других, покрывая все издержки пути из собственного кармана.

Я покинул Египет в конце 1779 года. Поэтому не могу дать детальное описание событий, происшедших после меня в этой стране. Благодаря письмам, полученным из Большого Каира, я узнал, что пылкий Мурад, который рвется к посту шейха эль-Балада, объявил войну Ибрагиму, что они сражались и снова примирились. В 1784 году вновь возник конфликт и каждый из соперников во главе своих армий был готов сразиться снова. Я не знаю, кому сопутствовал успех. Однако, кто бы ни вышел победителем, он попытается возвести в ранг бегов свои креатуры и истребить всех бегов враждебной группировки. И предательство, и победа приводят к одним и тем же результатам.

Вы можете судить, сударь мой, какова должна быть судьба Египта, предоставленного изуверству восьми тысяч иностранцев, безжалостных и неумолимых грабителей его богатых провинций, непрерывно подвергавших его ужасам войны. Но каково бы ни было ваше представление об этих бедствиях, действительность все-таки превзойдет его. Сельское хозяйство разорено, каналы, служившие некогда источниками изобилия, приведены в негодность, государственные налоги взимаются посредством применения силы. Из состоятельных людей одни лишились своих материальных благ, другие — перебиты. Разбойники на высоких постах, война, морозы поветрие — вот обычные результаты разногласий мамлюкских вождей! Таковы бедствия, на которые обречен египетский народ».

¹ Осуждая мамлюков, Савари обходит молчанием отрицательные последствия почти трехсотлетнего турецкого господства в Египте, принесшего народу неисчислимые бедствия и страдания, вызвавшего перерождение самого мамлюкского института.

Михаил БАРАНОВ

ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ

ДМИТРИЙ Эристави — один из тех художников, искусство которых, несмотря на высокое профессиональное качество, воспринимается не легко, не просто и не сразу.

Он находит прекрасное в мире синтеза яркого воображения и острой наблюдательности. И все же образы станковой графики мало похожи на то, что предоставляет художнику обыденная действительность. Большинство их — произвольные картины воображения, они отличаются особой «грубозримой» весомостью и монументализмом выражения. Притягательны хорошо нарисованные фигуры. Но мастерство рисовальщика в них не подчеркивается — отточенность формы бывает зачастую замаскирована то штрихом, то ломающейся прерванной линией, то трепетной вибрацией фона. Вся структура анатомического костяка, обросшая мощной живой оболочкой тела, предстает образно законченной и цельной человеческой фигурой. Это результат высокого мастерства художника.

Вообще же для Эристави важнее всего выявить глубинную суть человека. Он представляет его во всей полноте физических и духовных качеств. Отсюда постоянное внимание к обнаженной человеческой натуре. Идеальное совершенство женщины, земной и мифологической, он подчеркивает постоянно и выработал для этого целую систему графически-образительных принципов. И этот мир красоты идеальной («Сатир и нимфа», «Адам и Ева», «Суд Париса», «Весенний день» из серии «Старый Тбилиси», «Танец», «Набережная в Батуми», «Бег» и многие другие) оказывается одинаково причастным к миру прекрасного и художнической фантазии, часто одобренным острым юмором. Это впечатляющие картины о человеке физически здоровом, духовно цельном. И это выражено в простом графическом ключе: грубовато-колючей манере штриха, в линиях, далеких от изящества, но единственно верных и художественно точных.

Творчество Эристави трудно подразделить на какие-то формальные разделы. Несмотря на разнообразную тематику и некоторую эволюцию развития, оно представляется удивительно цельным по мировосприятию и эстетическим принципам. Вероятно, в силу этого ему свойственны многогранность, образное богатство и активность жизненной позиции.

В семидесятые годы большое место в нем заняли публицистические по своей направленности рисунки — «Музыкальные развлечения». Это работы: «Беседа», «Тир», «Хинкальная», «У газетного киоска». Каждый из этих сюжетов подмечен в жизни и решен художественно убедительно. Лучшие из рисунков поднимаются до уровня высокого социального обобщения. Особо острый сатирический настрой ощущается в листе «Хинкальная». Вообще же его работы отличаются тонкостью нюансировки, богатством смыслового подтекста, известной мягкостью выражения.

Вот группа подростков в тире тренируется поражать цель с первого выстрела («Тир»). И плакат, призывающий учиться метко стрелять, и большие холодные глаза подростков с ружьями, ритмы масс, пятен черноты и света — все это создает сложнейшую архитектонику образа.

Восхищение художника вызывают люди, которых он изображает в серии «Трудящиеся». В сложной кружевной структуре листа «Часовщик» художник сосредотачивает внимание на часовщике. У этого человека «ничего нет в голове», кроме часов. Но это только кажущаяся простоватость мастера. Как богато разрабатывается тоновая градация вокруг его фигуры! Графический прием как бы раскрывает противоречивые и сложные обстоятельства его жизни. Как-то Нодар Думбадзе справедливо заметил художнику, что девушка, бегущая мимо, является олицетворением и образом быстротечного времени. Однако сам художник, как он признался, об этом не думал.



Танец.

В насыщенной композиционной структуре открываются много различные стороны бытия, хотя и найдены они художником чисто «инстинктивно».

В картинах «Дворник» и «Ученый», «Прядильщица», «Часовщик», «Скрипач» и «Сапожник» все образы равнозначны в своем трудовом подвижничестве. И очень показательно, как из обыденных жизненных явлений художник разворачивает целую картину жизни.

Особую страницу творчества Эристави составляют графические портреты. Их отличает не только большое сходство с портретируемыми, но и умение художника отбросить все второстепенное. Запоминаются его мужские портреты Амашукели Р., Бадридзе Г., Каладзе К., Лордкипанидзе О., Хечуашвили Т., монолитные и динамичные по формам.



Семечки.



Эскиз плаката к фильму «Жил певчий дрозд».

Портретист обладает большими возможностями в выражении характера. Эристави привлекает только лицо — он создает незабываемый по своей выразительной силе и красоте человеческий облик. Стилистая графическая манера делает их одинаковыми в том смысле, что они принадлежат руке одного мастера. В то же время художник находит и оттеняет разные грани человеческой личности, что и делает их образами высокой художественной значимости.

Как привлекательны его женские портреты, в которых раскрывается удивительно трогательная женственность и духовная красота. Эристави всегда создает портреты конкретных людей. И в этом оправданное стремление художника отдать дань восхищения красоте образов наших современниц. Таковы портреты Мачавариани М., Мхидзе М., Карцивадзе М.,

Кикнадзе Э., Эристави Н. и других — и в каждом из них мастерство художника проявляется какой-то новой неповторимой гранью. В портрете Исакадзе цветовая палитра масляной фактуры усилена раскраской сверху по маслу цветным карандашом, получился яркий, колористически насыщенный образ.

Вообще же цвет в графике Эристави несет многозначные, часто неожиданные функции выражения. Иногда это жизне-нерадостные и просветленные краски — «Зима», «Воды Лагидзе», «Музыкальная школа», «Продавец фиалок» и другие, в которых с особой силой еще раз проявляется оптимизм мироощущения. В других случаях художник использует подцветку рисунка для усиления драматизма, как, например, в иллюстрациях к «Гамлету».

Иллюстрирование — это та область работы, которая претерпела значительную эволюцию в творчестве художника. Мне хочется остановиться на двух рисунках к рассказу А. Франса «Кренкебиль». Это была дипломная работа. Хорошо исполненные, они мало напоминают Эристави — иллюстратора современного. Достаточно беглого сопоставления последних иллюстраций к рассказам И. Чавчавадзе «Человек ли он?!», Я. Корчака «Король Матиуш I» и в особенности к трагедии Шекспира «Гамлет», чтобы увидеть, как изменился не только характер рисунков, но и сам принцип иллюстрирования. Они выполняются не вплотную по тексту, здесь Эристави выступает не только как замечательный рисовальщик, но главным образом как режиссер-постановщик — как организатор того разного материала, который доставляет ему литературное произведение. В этих работах художник предстает значительно обогащенным опытом искусства и жизни. Как соавтор писателя он создает поистине впечатляющий мир, подвергнув его переработке, наполняет иллюстрации острым чувством современности.

Многие художники, иллюстрируя Шекспира, создают пышные костюмы, блистательные интерьеры, античные профили действующих лиц. Как далек от этого Эристави! Грубая топорная линия перового штриха тушью, могучая мятущаяся масса форм, необычная тоновая подкраска воссоздают дьявольскую атмосферу интриг, борьбы и накала страстей. И на фоне этого какими впечатляющими характерами наделены художником герои Шекспира!

Творчество Эристави — художника кино и журнального иллюстратора — совершенно специфическая область деятельности. И здесь он проявляет истинно большое дарование и замечательный художественный вкус.

Работы Дмитрия Эристави могли родиться только в Тбилиси, настолько они неповторимы по своему сугубо городскому изобразительному строю и национальному колориту. «Музыканты», «Спор», «Семечки», «Винный подъем» и другие — все они говорят о том, что Эристави — поэт своего города, написавший о нем замечательную песню любви.



ЛАУРЕАТЫ НАЗВАНЫ

ПРЕЗИДИУМ Союза писателей Грузии присудил ряду литераторов ежегодные премии.

Премии имени Г. Табидзе удостоена поэтесса А. Каландадзе за стихотворение «У фрески королевы Марии».

Премии Союза писателей Грузии также удостоены поэт-академик И. Абашидзе за цикл стихотворений, писатель Д. Джавахишвили — за повесть «Завтра», драматург Г. Батнашвили — за пьесу «Долг», критик Дж. Гвинджилия — за литературные заметки и публицист М. Хергиани — за очерки о Джавахети и «Горю — хозяин своего слова».

НА РОДИНЕ ПИСАТЕЛЯ

В СЕЛЕ Кавтисхеви Каспского района Грузии был открыт мемориал известному грузинскому писателю, уроженцу этих мест Георгию Шатберашвили.

В связи с этим событием в Кавтисхеви состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие представители Каспского района, соседних районов республики, писатели и ученые.

Авторы мемориала — жители села — скульптор Д. Тушурашвили и архитектор Ю. Кавтешвили.

ПЕВЦУ ДРУЖБЫ И БРАТСТВА

КАЖДОЕ лето в Тбилиси тысячи жителей этого древнего города собираются на площади Горгасали, чтобы почтить память сына трех закавказских республик, певца дружбы и братства — великого ашуга Саят-Новы.

Около тысячи гостей приехало в Тбилиси из Армении и Азербайджана в этом году. Со всех сторон слышалась разноречивая речь, и эта встреча стала еще одним ярким свидетельством нерушимой дружбы народов трех республик Закавказья.

Митинг вступительным словом открыл секретарь правления Союза писателей Грузии Г. Цицишвили.

О непреходящем значении творчества ашуга говорили председатель правления Союза писателей Грузии Н. Думбадзе, председатель правления Союза писателей Армении В. Петросян, армянские поэты и писатели Г. Эмин, Р. Ованесян, А. Григорян, Л. Дурьян, А. Овнатян, грузинские поэты Дж. Чарквиани, М. Поцхишвили, В. Горганели, поэт и переводчик Г. Шахназар, лирик из Азербайджана М. Бахтиярли и другие.

Перед собравшимися выступили Государственный ансамбль песни и танца Грузии «Рустави», самодеятельный коллектив «Саят-Новы», ансамбль дудукистов, художественные коллективы и певцы трех республик.

62/124



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Гурам АСАТИАНИ (главный редактор),

Заза АБЗИАНИДЗЕ, Реваз АСАЕВ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Гурам ДОЧАНАШВИЛИ, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Натела КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Эмзар КВИТАИШВИЛИ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ, Отар НОДИЯ, Лия СТУРУА, Эммануил ФЕЙГИН, Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

На первой странице обложки: деталь резьбы по дереву церкви с. Мелеен (XI в.).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

„ლიტერატურული კრებული“

— სოვეთური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივ პოლიტიკური ჟურნალი (რუსულ ენაზე)

საბჭოს 1957 წლის იანვარი. № 7, ივლისი, 1981 წ.

Сдано в набор 4.VI.1981 г. Подписано к печати 16.VII.1981 г. УЭ 01545. Формат 84×108^{1/32}. Высокая печать. Печ. л. 7,0 — усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 9,4. Тираж 7.700 экз. - Заказ № 1575. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«Художественная литература»

ШАНШИАШВИЛИ С. Избранное. Стихотворения. Поэма. Драматическая поэма. Пер. с груз. Вступит. статья Н. Тихонова. Москва, 1981. 223 с. 25.000 экз. 1 р. 40 к.

ТАРБА И. Избранные произведения. В 2-х т. Пер. с абхаз. Вступит. статья Н. Тихонова. Москва, 1981, т. I. Стихотворения. Поэмы. 295 с. 25.000 экз. 1 р. 80 к.

«Советский писатель»

РИЖИНАШВИЛИ У. «Дом». Повести и рассказы. Москва, 1981. 239 с. 30.000 экз. 75 к.

«Мерани»

ХАЛВАШИ Ф. «Мольба». Стихи. Пер. с груз. Тбилиси, 1981. 190 с. 10.000 экз. 75 к.

«ДОМ ПОД ЧИНАРАМИ», 1980. Сост. М. Лохвицкий. Тбилиси, 1980. 284 с. 20.000 экз. 1 р. 60 к.

ВАЧНАДЗЕ М. «О музыке». Статьи, рецензии. Тбилиси, 1981. 381 с. с ил. 3.000 экз. 1 р. 90 к.

«Мецниереба»

ШЕРВАШИДЗЕ Л. «Средневековая монументальная живопись в Абхазии». Тбилиси, 1980. 500 с. с ил. 1.500 экз. 1 р. 60 к.

«Ганатлеба»

ДЖОХАДЗЕ Д., СТЯЖКИН Н. «Введение в историю западноевропейской средневековой философии», Тбилиси, 1981, 315 с., 1.000 экз. 3 р. 30 к.

«Хеловнеба»

БАГДАВАДЗЕ Э. Альбом репродукций. Ред. О. Эгадзе. Тбилиси, 1980. 166 с. с ил. 10.000 экз. 8 р. 70 к. Текст на груз. и рус. яз.

0603650
2020000000

ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ

Второе издание, переработанное и дополненное.
 Издание второе, переработанное и дополненное.
 Издание второе, переработанное и дополненное.
 Издание второе, переработанное и дополненное.
 Издание второе, переработанное и дополненное.

Издательство «Высшая школа»
 Москва, М-109, ул. Мясницкая, д. 20
 Тел. 251-15-15

Содержание
 1. Введение
 2. Глава I
 3. Глава II
 4. Глава III
 5. Глава IV
 6. Глава V
 7. Глава VI
 8. Глава VII
 9. Глава VIII
 10. Глава IX
 11. Глава X
 12. Глава XI
 13. Глава XII
 14. Глава XIII
 15. Глава XIV
 16. Глава XV
 17. Глава XVI
 18. Глава XVII
 19. Глава XVIII
 20. Глава XIX
 21. Глава XX
 22. Глава XXI
 23. Глава XXII
 24. Глава XXIII
 25. Глава XXIV
 26. Глава XXV
 27. Глава XXVI
 28. Глава XXVII
 29. Глава XXVIII
 30. Глава XXIX
 31. Глава XXX
 32. Глава XXXI
 33. Глава XXXII
 34. Глава XXXIII
 35. Глава XXXIV
 36. Глава XXXV
 37. Глава XXXVI
 38. Глава XXXVII
 39. Глава XXXVIII
 40. Глава XXXIX
 41. Глава XL
 42. Глава XLI
 43. Глава XLII
 44. Глава XLIII
 45. Глава XLIV
 46. Глава XLV
 47. Глава XLVI
 48. Глава XLVII
 49. Глава XLVIII
 50. Глава XLIX
 51. Глава L
 52. Глава LI
 53. Глава LII
 54. Глава LIII
 55. Глава LIV
 56. Глава LV
 57. Глава LVI
 58. Глава LVII
 59. Глава LVIII
 60. Глава LIX
 61. Глава LX
 62. Глава LXI
 63. Глава LXII
 64. Глава LXIII
 65. Глава LXIV
 66. Глава LXV
 67. Глава LXVI
 68. Глава LXVII
 69. Глава LXVIII
 70. Глава LXIX
 71. Глава LXX
 72. Глава LXXI
 73. Глава LXXII
 74. Глава LXXIII
 75. Глава LXXIV
 76. Глава LXXV
 77. Глава LXXVI
 78. Глава LXXVII
 79. Глава LXXVIII
 80. Глава LXXIX
 81. Глава LXXX
 82. Глава LXXXI
 83. Глава LXXXII
 84. Глава LXXXIII
 85. Глава LXXXIV
 86. Глава LXXXV
 87. Глава LXXXVI
 88. Глава LXXXVII
 89. Глава LXXXVIII
 90. Глава LXXXIX
 91. Глава LXXXX
 92. Глава LXXXXI
 93. Глава LXXXXII
 94. Глава LXXXXIII
 95. Глава LXXXXIV
 96. Глава LXXXXV
 97. Глава LXXXXVI
 98. Глава LXXXXVII
 99. Глава LXXXXVIII
 100. Глава LXXXXIX
 101. Глава LXXXXX

